



Бельские просторы

Учредитель
Правительство
Республики
Башкортостан

Соучредитель
Союз писателей
Республики
Башкортостан

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с декабря 1998

В номере

№ 7 (116) Июль, 2008 г.

ПРОЗА

- Тансулпан Гарипова. БУРЕНУШКА. *Роман* 9
Алексей Наумов. КАК ПРОСТО БЫТЬ СОЛДАТОМ. *Рассказ* 56
Юрий Коваль. ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И ФАНТАЗИИ. *Повесть* 82

ПОЭЗИЯ

- Александр Касымов. ОЩУТИТЬ, УЖЕ НЕ ОЩУЩАЯ 3
Ирек Киньябулатов. И СНОВА МИР ЗАПОЛНЕН ДОБРОТОЙ 52
Татьяна Адигамова. ВО ВСЕЙ КРАСЕ 77
Из поэтической почты 97

ДНЕВНИК

- Сагит Агиш. «ЭТИ СТРАНИЦЫ ТАК МАНЯТ...» 103
Валентин Александров. НЕПАРАДНЫЕ ПОРТРЕТЫ. *Записки спичрайтера* 117

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Александр Касымов. НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ К СОСНЕ! 125
Иосиф Гальперин. КРИТЕРИЙ КАСЫМОВА. *Послесловие к жизни* 126
Айдар Хусаинов. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК КАСЫМОВ 129
Александр Залесов. СЛОВО О КАСЫМОВЕ,
КУЛЬТУРТРЕГЕРЕ И ЛИТЕРАТУРНОМ КРИТИКЕ 133
Георгий Кацерик. ШАЙТАН-ТРАВА 137
Газим Шафиков. В ТЕЛЬНЯШКЕ — НА АРГАМАКЕ 140

КУЛЬТУРА

- Марат Ямалов. ЕВАНГЕЛИЕ И ВОЖДЫ БОЛЬШЕВИЗМА.
О некоторых поучительных уроках прошлого 143
Эмма Соловкова. НАВСТРЕЧУ СВЕТУ.
О творчестве художника Михаила Спиридонова 153
Борис Черняков. МОНТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ.
О сельском хозяйстве, национальной идее и великих писателях 159

КРАЕВЕДЕНИЕ

- Юрий Узиков. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 164

ПУБЛИЦИСТИКА

- Альбина Бикбулатова. НЕ РАЗУМОМ, А СЕРДЦЕМ 168
Рустем Вахитов. МИФ О «ЕСТЕСТВЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 171
Мурат Рахимкулов. ДОКТОР ОТ БОГА 175

КРУГ ЧТЕНИЯ

- ДВА ПОЭТА 178

ГОД СЕМЬИ

- Татьяна Семенюк. СТРАСТИ ПО ЛИСИСТРАТЕ 186

ДЕТЕКТИВ. ФАНТАСТИКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ

- Анвар Алмаев. МАЛЬЧИК И ДЕЛЬФИН. *Легендетта* 192

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

- Фарзана Губайдуллина. *Стихи* 197

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

- Хроника «Бельских просторов» 201
Литература. Культура. Имена. 203
Календарь. Праздничные и памятные даты Республики Башкортостан на 2008 год 207

Уфа.

Редакция журнала «Бельские просторы»
2008

Главный редактор
Горюхин Ю. А.

Редакционная коллегия:

**Баимов Р. Н., Бикбаев Р. Т., Евсеева С. В., Карпухин И. Е., Паль Р. В., Сулейманов А. М.,
Фенин А. Л., Филиппов А. П., Фролов И. А., Хрулев В. И., Чарковский В. В., Чураева С. Р.,
Шафииков Г. Г., Якупова М. М.**

Редакция

Приемная

Иванова Н. Н. (347) 277-79-76 (факс)

Главный бухгалтер

Давлетшина М. А. (347) 277-79-76

Заместители главного редактора

Чарковский В. В. (347) 223-64-01

Чураева С. Р. (347) 223-64-01

Ответственный секретарь

Фролов И. А. (347) 223-91-69

Отдел поэзии

Грахов Н. Л. (347) 223-91-69

Отдел прозы

Фаттахутдинова М. С. (347) 223-91-69

Отдел публицистики

Чечуха А. Л. (347) 292-77-61

Семенюк Т. В. (347) 292-77-61

Технический редактор

Иргалина Р. С. (347) 223-91-69

Корректоры

Казимова Т. А.

Выпускающий редактор Фаттахутдинова М. С.

Подписной индекс 50751.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации № 792, выданное

Министерством печати и массовой информации РБ
26 декабря 1998 года.

Подписано в печать 3.07.08 г.

Формат бумаги 70x100/16. Бумага офсетная.

Гарнитуры «FreeSet», «Петербург».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9.

Уч.-изд. л. 19,45. Тираж 2300 экз.

Заказ № 2.0140.08 Цена договорная.

Адрес редакции:

450001, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 2

E-mail: bp2002@inbox.ru

<http://www.hrono.ru/proekty/belsk/>

Отпечатано с готовых файлов на
ГУП РБ «Уфимский полиграфкомбинат».

450001, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 2

Телефон (347) 223-97-00

*Рукописи не рецензируются
и не возвращаются, принимаются
только в напечатанном виде.*

Электронная версия ускорит обработку рукописи.

*Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения
того или иного автора.*

При перепечатывании материалов

ссылка на «Бельские просторы» обязательна.

Ощутить, уже не ощущая

КОММЕНТАРИЙ К ЖИЗНИ (В РИФМУ)

Наша общая жизнь – это мед вперемешку с горчицей.
Как косит глаз татарской степной кобылицы!
(Я не знаю, откуда я взялся в степи.
Сквозь туман проплывали красивые кони.
А потом – солнце лупит в глаза, ослепит,
И старуха бредет то ль в платке, то ль в попоне.)

Наша общая жизнь состоит из клочков-лоскутков.
Мне казалось вчера – я как будто бы к смерти готов.
А сегодня я злюсь и про степь говорю,
То ль себя отбирая у Вас, то ль, отнявши, обратно дарю.

И где горечь горчицы, где сладостный мед,
Я не знаю уже. И никто не поймет,
Что не знаю, поскольку забыл, каков вкус.
Или, может, сознаться, что знаю, боюсь.

* * *

Мы во власти у Бога –
И ты, дорогая, и я.
В этом мире убогом
Тайны нет бытия.

Быт так ясен и страшен,
Что некого за руку взять,
Мир скворешен и башен,
Проживающих рать.

Быт отдельно от Бога.
Жильцы – это люди иные.
Завести, что ли, дога,
Чтобы лаял во все выходные?



Касымов Александр Гайсович родился 7 октября 1949 года в Минске. Поэт, журналист, критик. Автор книги «Улетающий Обломов», публиковался в журналах: «Октябрь», «Знамя», «Волга». Дипломант конкурса газеты «Культура», лауреат премии журнала «Знамя» «Критик года». Умер в июле 2003 года.

гидеон



Патефон завести, Щедрина ли?
О тебе ли заплакать, отдельной?
Мир – почти без реалий,
Где жизнь протекает бесцельно.

И люблю ли – уже непонятно.
И на Солнце имеются пятна.

* * *

Еще я помню, что я Вас люблю.
Но то воспоминание все глуше.
И я иду по краю мертвой суши
Почти вослед чужому кораблю.

Волна поет у самых моих ног.
Кричу: «Харон!» – и мне спускают шлюпку.
Как облачно! Всевышний курит трубку.
Как ослепителен сегодня Бог!

* * *

Течет акварель по бумаге зеленой.
Лиловая краска. Там зацветает сирень.
С душою, в суровости прежде холеной,
Летит пешеход, и над ним зацветает сирень.

И суд постановит: свободен. Прощайте, галеры!
Но к черту вердикты, когда парки фабулу ткут.
Пока не потеряно чувство безумное меры,
Два тела спокойно и мирно живут.

* * *

Прижмитесь ко мне, моя скрипка,
Очарование мое!
Медленны струны, и зыбко
Ночи холодное литье.

Медленно-медленно луны
Светят сквозь лед на окне.
Снежные темные дюны
В снежном же толокне.

Горечь скрипичных капризов
Льда не растопит, но все ж

Плавность ее экзерсизов
Вызовет в стеклышках дрожь.

Этот неслышимый отзвук,
Этот случайный ответ...
Скрипку швырнувши – на воздух,
Где никого уже нет!

* * *

Не надо нищим подавать.
Мы сами – голытьба.
Дом – это стол, очаг, кровать,
С бессонницей борьба.

Дом – это дети, и жена,
И гулкий ход часов,
Луна в окне, когда луна,
И на двери засов.

Дом – это место, где умру,
Но есть еще запас...
За то, что это говорю,
Благодарю я Вас.

* * *

Ходили гости к нам
И говорили речи.
Осенний тарурам,
Чтобы расстаться – встречи.

(Рабочие мостят
Брусчаткой тротуар,
Легчайший листопад,
Прозрачный, будто пар.)

Ходили гости – и
Придут еще другие,
Как холода лихие!
Как календарь, тихи.

* * *

Если не пишешь – читай,
Или считай, считай,



Старому наперекор,
Лучшей страной Китай,
Ясным стертый узор.
Кисть аккуратно в тушь –
Шелк уже жаждет букв.
Играет пространство туш
Всей мощью губ и рук.

Если не пишешь – пишешь,
Скрипа пера не слышишь.
Если не думаешь – знаешь.
Если не знаешь – мыслишь,
Боже, не сохрани!
Гаснуть должны огни.

Если не пишешь – живешь.
Если живешь – то пишешь.
Святое писание – ложь
И правда, если услышишь.
Грешное дело – слова.
Брось составлять в ряды!
Еще есть пробел до беды.
Еще цела голова...

* * *

Одному с письмом Бахыта
Или с левинской кассетой
Жить, не следуя сюжету
Иль решениям кнессета.

Одному с письмом от Димы
Иль с газетой устаревшей
Жить, чтоб фабулы извивы
Извивались надоевшей,

Одному с женой любимой
Или нелюбимой тож
Думать о добра причине
И точить на злобы нож.

Госсобрание, иль Дума,
Иль израильский кнессет,
Мэрия Каракорума –
Канет все в один пакет.

«Кара» – «черный», «белый» – «ак»,
Выше оптимизма стяг!

Выше крыши и заборы,
Чтобы не украли воры.

* * *

К чему привык, к тому приник.
Проникновение – до дрожи.
Как мир вокруг неосторожен,
Когда я проверял тайник.

И только жест, что отдаляет
И вызывает немоту...
Событья Бог переставляет
Вот с этой полки вот на ту.

* * *

Кто-то книгу напишет, а кто-то надпишет.
Жизнь проходит, и жалко ее.
Только небо, возможно, земное услышит
Перед тем, как охватит леса забытье.

Города – как леса. И пожары, пожары!
Дым Отечества горек, а сладок дымок.
И душа взлетает наподобие шара
Между черным и белым, то есть между строк...

Так и срок подойдет не совсем календарный.
Вот зарубка на стенке превращается в крест.
Распахнувши глаза, человек благодарный
Приземлится, как ангел, на вечный насест.

* * *

Есть речи – нет речей, –
Значение темно.
Потушено окно –
Одно, другое, третье –
Туда, в тысячелетье...

Есть речи – нет речей, –
Ничтожно их значенье.
Зачем мне поученье
Твое, мой друг, мой страх?
Читай себе в сердцах!

Есть речи, речи есть,
Но лучше пересестъ



Со сквозняка сырого,
От прошлого такого,
Что в стих не перевесть...

* * *

Это – бездна. Это – хаос.
Ничего уж не осталось
От того, что наполняло чистотою – пустоту,
Мыслью светлой – простоту.

Ничего иль что-нибудь?
Как прекрасен долгий путь,
Если есть, куда приехать
Иль хотя б – к кому заехать.
По ошибке, наобум,
Безо всяких трудных дум.

* * *

Мелкость жизни стоит многих денег.
Без конца заказывать ключи,
Покупать то сахару, то веник,
То бесплатно жалобы строчить...

Сахарная пудра не осядет –
Станет облаком, что заберет с собой.
Каковы замочки в райском саде?
Все ль в порядке с краном и трубой?

Биться здесь о быт, а там избыток
Ощутить предметов и идей...
Ощутить, уже не ощущая...
Пахнет липой снежность площадей.

* * *

Когда я стану умирать,
Не стану умирать.
Друзей не надо созывать.
Пора уж перестать
Хотеть чего-то от других,
Хороших иль плохих.
Я жил, а после перестал.
Иссякла музыка. Финал.

Буренушка*

Роман

В сентябрьском и октябрьском номерах журнала за 2005 год была опубликована в переводе на русский язык первая часть романа Тансулпан Гариповой «Буренушка», удостоенного впоследствии Государственной премии имени Салавата Юлаева. Наша публикация вызвала живой интерес у читателей: в адрес автора, редакции журнала и Республиканской библиотеки имени З. Валиди поступило много писем с вопросом, где можно найти продолжение романа. Но тогда остальные его части еще не были переведены на русский. Сейчас перевод завершен, и мы получили возможность продолжить публикацию этого эпического повествования, занявшего видное место в башкирской прозе последнего времени.

Напомним: первая часть «Буренушки» заканчивается пожаром в Тирыклах. Обитатели сгоревшего дома — Фаузия-Барсынбика, Ихсанбай и его жена — загадочно исчезают. В ауле считают, что они погибли. Но они после пожара остаются в живых. В романе прослеживаются их дальнейшие судьбы и судьба повзрослевшей Мадина.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАДЕЖДА РЯДЫШКОМ С ПЕЧАЛЬЮ

Глава первая

В квартиру, в которой жила после выселения из общежития, Мадина вернулась припозднившись. Хозяйка квартиры, симпатичная, разговорчивая татарка Нафиса, встретила молодую квартирантку укоризненным взглядом.

— Миленькая, не то уж ты в Бутырках собираешься родить?

Мадина, с трудом нагнувшись, расстегнула промокшие боты. Сказала с досадой:

— Ох уж эта московская зима!..

* Перевод с башкирского Марселя Гафурова.

Тансулпан Хизбулловна Гарипова родилась 22 сентября 1947 года в деревне Кусеево Баймакского района Башкортостана. Окончила Башгосуниверситет, работала в Институте истории, языка и литературы (г. Уфа). В 1975 — 1977 гг. — учитель в Баймакском, затем в Учалинском районах. Впоследствии переходит на журналистскую работу в учалинскую районную газету «Яик». Руководила Сибайским отделением СП Башкортостана. Первый сборник рассказов «Полевая вишня» был издан в 1978 году. Затем вышли книги рассказов и повестей «Песнь голубя» (1987), «Луна и солнце — единственные» (1990) и другие произведения. Лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева.

— Батюшки, у тебя же чулки мокрые, хоть выжимай! — всполошилась Нафиса. — Снимай скорей, вот сухие носки, надень их.

Пока Мадина — у нее зуб на зуб не попадал — снимала чулки и натягивала на отекавшие ноги носки, Нафиса успела поставить около нее поднос с чашкой чая.

— Ну, повидалась?

— Нет.

— И что же думаешь делать дальше?

Мадина оставила вопрос без ответа. Что она могла сказать? Сколько уж пережито, думано-передумано после того, как арестовали Абдельхата, а ничего не добилась. Вдобавок ко всему лишилась места в общежитии, ладно еще эта женщина, работающая там комендантом, привела ее к себе домой. Временно, до возвращения мужа из дальнего плавания...

— Пей чай, пока горячий. — Голос Нафисы вывел Мадину из глубокого раздумья.

— Давид... не приходил?

— Ай, память моя дырявая! Заглянул в общежитие, просил передать, что вечером сюда придет. Чтобы ты, значит, в это время не ушла куда-нибудь. Ах, вроде бы стучат в дверь? Должно быть, он...

В самом деле, это был Давид Гредель. Из сокурсников Абдельхата он один остался верным дружбе.

— Добрый вечер! Я вам не помешаю?

— Нисколько! — Приветливая Нафиса тут же поставила на поднос еще одну чашку чая. — Озяб, наверно, присаживайся! Наша красавица только что пришла, еле живая. Скажи ей... разве можно в ее положении, а?

Давид присел напротив Мадины.

— Ну как?

Мадина отрицательно качнула головой. Нафиса ушла на кухню. Воспользовавшись этим, Давид достал из кармана листочек бумаги, протянул Мадине. Когда она увидела знакомый почерк, буквы запрыгали перед глазами.

«Любимая! — прочитала она. — Как только получишь эту записку, соберись и уезжай домой, в аул. Сбереги ребенка. Останусь жив — встретимся. А пока прощай!»

Взглянула сквозь слезы на Давида. На его смуглом лице, в черных глазах — нетерпеливое ожидание: что она скажет?

— Как тебе удалось?..

— Я продал свою скрипку. Деньги понадобятся тебе на дорогу.

— Значит...

— Да, ты должна уехать.

Когда Нафиса вернулась в комнату, они безмолвно стояли у окна, глядя на Москва-реку. Лица у обоих печальные. Нафиса понимает Мадину: большое горе пало на молодую головушку. Но и этот еврей горюет. Успел так крепко подружиться с ее мужем?

В квартире царила тишина. Слышно было только, как тикают настенные часы и на кухне из крана капает вода. За окном, словно отражая настроение стоявших возле него людей, вдруг крупными хлопьями повалил мокрый, тяжелый снег. Мадине почудилось, что сейчас сверху рухнет еще что-то огромное, придавит ее трепыхающуюся в тисках безысходности душу.

— Жаль твою скрипку... — Ей хотелось закричать, а произнесла это шепотом. Давид сходил в прихожую, принес оставленный там сверток, развернул.

— Вот новая скрипка, о которой я говорил. Скоро я ее доделаю.

Мадина прикоснулась кончиками пальцев к шершавому грифу.

— Доделай скорей... Эх!..

Неожиданно она стиснула рукой ручку окна, прижалась лбом к холодному стеклу и негромко запела:

*Ушел мой муж, мой милый на охоту,
У Ашкадара норок добывать,
И там погиб, молоденькой оставил
Меня в печали век свой вековать...*

Печаль героини старинной песни, перекликаясь с переживаниями Мадины, словно бы обернулась непроглядным бураном, застигшим охотника на норок у Ашкадара, и унесла ее к далеким, покрытым глубокими снегами полям и лесам. Не только печаль была в этой песне. Она хранила память о страстном чувстве, возносившем два молодых сердца в заоблачные выси, вобрала в себя и восторг, присущий любви, и скорбь, вызванную невосполнимой утратой.

— Спасибо! Спасибо тебе, Мадина! — Голос Давида дрожал, в глазах стояли слезы. — Такую мелодию... такое исполнение... мне больше ни от кого не доводилось слышать. Может, я сделал не все, чтобы тебя оставили в консерватории, может, нужно еще что-то предпринять...

— Нет, Давид, Абдельхат велит мне уехать. Значит, так надо. Как мне тут жить... с ребенком, без квартиры, без работы, без денег? Об одном тебя прошу: не оставляй Абдельхата без помощи. Он должен жить!..

* * *

В закопченном подобии избы, сооруженном из жердей в пещере, ничем снаружи не напоминавшей человеческое жилье, у чувала — сложенной из камней печи — сидел волосатый, диковатого вида мужчина, чинил что-то из одежды. Это был Ишмухамет.

— Сегодня ты сильно бредил, — проговорил он, глянув в сторону жердяных же нар, на которых спал второй обитатель пещеры, живший в ней на правах гостя. Тот на миг проснулся, невнятно мыкнул в ответ и снова заснул.

— Из чего, интересно, эти твари зарождаются? — пробормотал Ишмухамет, раздавив меж ногтей вошь. Придвинул одежду ближе к огню, опять посмотрел в сторону «гостя». — Ты выкрикнул имена Сабилы, Гульбану, кажется, еще Мадину упомянул. Вот я и говорю: не то уж... — Услышав храп, Ишмухамет замолк. А может быть, замолк оттого, что вновь резанула по сердцу мысль: не Ихсанбай ли этот обезображенный до неузнаваемости человек? Не просто резанула — бросила в дрожь.

В письме из Тиляклов, полученном на фронте, Ишмухамету сообщили, что его Зарифа спуталась с Ихсанбаем. Сама Зарифа написала, что своих мальчишек Гульбану нажила, оказывается, от того же Ихсанбая. Ишмухамет сообщению об измене Зарифы не поверил: она ведь любила его и он ее на руках носил. И все же зародились в душе сомнения. Жгучее желание узнать правду, — мог ведь «доброжелатель» возвести поклеп на его любимую, — побудило Ишмухамета выпрыгнуть, не подумав о последствиях, из эшелона, шедшего в Сибирь за воинским грузом. Он воспользовался тем, что был прикомандирован к вооруженной охране эшелона.

О том, как стал дезертиром, как добирался до родных мест, как набрел на пещеру и жил в ней, таясь от людей, Ишмухамет откровенно рассказал этому одноглазому, с обожженными веками калеке, живой головне, случайно обнаруженной им в лесу. Появился рядом такой же, как сам, несчастный человек, было с кем теперь словом перемолвиться, облегчить душу в разговоре. «Гость», не назвавший своего имени, стал единственным свидетелем бессонных ночей и долгих, как годы, дней Ишмухамета.

Пуганая ворона, как говорится, и куста боится. Обреченный судьбой на одиночество, Ишмухамет должен был опасаться любого человека, но нет-нет да возникавшие подозрения относительно «гостя» гнал прочь. Побывать в родном ауле, где каждая собака его знала, он так и не решился. Однако о событиях, происшедших в Тиряклах, знал. Ошеломила его рассказом о них живущая на окраине райцентра старуха Муглифа, с которой встретился тоже случайно. Через нее Ишмухамет сбывает добытые им шкурки пушных зверей. Не верить услышанному от Муглифы у него нет оснований. Старуха отнеслась к нему с искренним сочувствием. Каждый раз, когда Ишмухамет условленной ночью крадучись приходит к ней, его ждут истопленная баня и свежеиспеченный хлеб.

Ишмухамет, потеряв заслезившиеся от дыма глаза, обвел взглядом свое жилище. Да, более удобного логова днем с огнем не сыскать. Лаз в пещеру расположен сбоку, к тому же его прикрывают оголенные корни огромной лиственницы. И вот что удивило Ишмухамета: и до него в этой пещере жили люди. Судя по оставленной ими утвари, обитало в ней не одно, а по меньшей мере два-три поколения. Последний обитатель умер здесь же. Скелет пожилого, надо думать, человека лежал на нарах, где сейчас спит «гость». Прежде Ишмухамет к понятиям «душа», «дух умершего» относился скептически. Но после того, как он предал скелет земле, случилось с ним нечто странное.

Помнится, и тогда в чувале мерцал огонь. Наевшись тушеной зайчатины, отяжелев, он прилег на нары. Хотя и не привык еще к этому жилищу, дала знать о себе усталость — задремал. И вдруг слышит:

— Ну-ка, мусафир*, подвинься немного...

Открыв глаза, вроде бы сразу узнал подавшего голос бородача: хозяин того скелета!

— Да, — подтвердил бородач, — я — дух похороненного тобой сегодня человека. Спасибо тебе, божье создание, наконец-то я обрел покой, кости мои лежат там, где им надлежит лежать.

Странно, Ишмухамет сознавал, что разговаривает с пришельцем с того света, но ни малейшего страха не испытывал.

— Что заставило тебя жить в этой пещере? — спросил он, стараясь разглядеть лицо духа.

— Человек превращается в беглого не от хорошей жизни. В свое время я украл коня ради того, чтобы повидаться с любимой.

— А я... — На глаза Ишмухамета навернулись слезы. — Я тоже... ради нее... А она...

— Рано или поздно все в этом мире проходит. Узнав, что любимая умерла, я тоже решил умереть. Сорок дней ничего не ел, на сорок первый душа отделилась от тела.

— Эх, если бы я знал, что у меня получится так! Если бы знал, что она — сука!

* *Мусафир* (араб.) — путник, прохожий.

— Я любил замужнюю женщину. Она не смогла переступить установленное обычаями. Но я не виню ее.

— Значит, ты счастлив...

— Духи не могут быть ни счастливыми, ни несчастными. Ну, мне пора в свой мир, прощай!

— Постой, не уходи! Объясни, как Всевышний навел меня на этот укромный уголок?

— Помнишь серую белочку?

— Да-да... — Ишмухамет смутился, вспомнив, как нацелил на пушистого зверька винтовку, предназначенную вовсе не для этого. А белочка, добежав до корней одинокой ливеньницы, исчезла. Полез по склону горы посмотреть, куда она подевалась, и обнаружил лаз в пещеру.

— Так вот она волею Всевышнего и помогла тебе найти приют. — Дух поднялся, отошел к чувалу, возле которого стоял чугунок с остатком тушеной зайчатины. — А ты без жалости убиваешь лесную живность...

— Но как же мне иначе добывать пищу и одежду? Я нашел здесь старое ружье с припасами. Выходит, и ты охотился. Разве не так? Молчишь? Ладно, скажи тогда, ради бога: долго ли еще мне жить в этой пещере?

— До конца жизни. Но недолго.

— Почему недолго?

— Около тебя появится еще один человек...

— И что же?

Дух не ответил. Направился к лазу, намереваясь уйти из пещеры.

— Дух! Ответь! — отчаянно закричал Ишмухамет и очнулся.

Картина в его пристанище была все та же: в чувале мерцал огонь, рядом стоял закопченный чугунок. Лаз был закрыт каменной плитой — как Ишмухамет поставил, так она и стояла...

Что же это было? Бред наяву или сон? Не его ли, Ишмухамета, лицо напоминало истомленное одиночеством лицо духа? Почему у него, Ишмухамета, не хватило силы воли своевременно явиться в военкомат и признаться в своем преступлении? Боялся тюрьмы? Но тюрьма, наверно, не страшней его теперешнего безвыходного положения.

Хорошо еще, что судьба свела его с Муглифой. Он носит ей свою охотничью добычу, она, сбыв шкурки, покупает для него порох, кое-что из одежды, еду. Старуха помогла поставить на ноги и этого вот «гостя». Когда Ишмухамет нашел его в лесу, это был почти мертвец. Заживо гнил, зачервивел, черви обвели нос, губы, одно ухо. Ишмухамет спас его, подумав, что будет рядом живая все-таки душа. Правда, «гость» не очень-то разговорчив, о своем прошлом предпочитает молчать. Но в этом каменном мешке долгими зимними ночами слышать рядом дыхание хотя бы такого убогого существа — и то ведь счастье, верно?

* * *

Камалетдинов — теперь он первое лицо в районе — вечерами надолго задерживается в райкоме, любит посидеть-подумать, отрешившись от дневной колготы. Если не принимать во внимание позвякивание ведра Гульмарьям-апай, занятой уборкой в коридоре, можно сказать, что в здании райкома воцаряются на ночь глядя тишина и покой. Правда, еще часы надтреснутым звоном напоминают о том, что с момента сотворения мира начало и конец всего сущего в нем определяет Время.

Таким образом, Аюп Камалетдинов после окончания рабочего дня остается в одиночестве. Жизнь остального населения подчинена не одной лишь работе: люди общаются с родней и друзьями, кто-то женится — идут на свадьбу, кто-то умирает — прощаются с ним...

У Камалетдинова дело обстоит иначе, и он к этому привык. Народ в районе смотрит на него, он, в свою очередь, смотрит на народ, но никого, кто полностью владел бы его сердцем и умом, до последнего времени у него не было. Да так оно и лучше: руководитель действует свободней, если не опутан нитями родственных и дружеских связей. Он никому, и ему никто ничем не обязан. К сожалению, кого из председателей колхозов, местных уроженцев, ни возьми, у каждого насчитывается сорок-пятьдесят родственников и свойственников. Спросишь иного, почему поступил так, а не этак — сто причин выложит: этот у него болен, у того горе, сам в расстройстве... Может быть, оттого что вырос в детдоме, Камалетдинов родственные отношения считает помехой делу. Если бы это было возможно, поставил бы во главе всех учреждений и хозяйств района бывших детдомовцев. Айда, командуй как на фронте. Там порядок был прост: хорош приказ, плох ли — обсуждению не подлежит, исполняй!

Привычка Сталина работать по ночам приучила к ночным бдениям и нижестоящих руководителей. Вождь мог неожиданно позвонить главе республики или области, а тот, в свою очередь, — главе района. Камалетдинов засиживался в райкоме и по этой причине. Сегодня тоже не спешил домой. Но причина на сей раз была другая.

Уже наплывал сон, черная коробка телефонного аппарата расплывалась в глазах, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Какую еще весть принесут телефонные провода? Умер Сталин. Сколь бы напряженной ни становилась работа при нем, на душе, оказывается, было спокойней. Народ взбудоражен, как потерявший матку улей. Кто придет на смену Сталину? Не верится, что кто-то другой сможет повести страну дальше так же уверенно, как он.

Тревожное, смутное наступило время.

* * *

Перед пещерой нет тропинки. Ишмухамет и летом и зимой поднимался к своему приюту по каменным уступам. Поднявшись выше и присев под скалой, можно было оглядеть окрестные дали, докуда достанет глаз, в ясные дни справа увидеть дымы Таулов, напротив — тиряклинские крыши. Поблескивала вдалеке река, напоминая серебряные позументы на праздничной одежде, блики на излучине вспыхивали золотыми серьгами. И щемило сердце у Ишмухамета: там, у Тиряклов, покоятся его деды-прадеды, там его дом, там живет его, пусть и убогий умом, сын Шангарей...

На матери Шангарея он женился потому, что подошло время жениться, да и нравилась она ему, но после того, как родила сына не на радость, а на горечь, опостылел ей Ишмухамет, лишила его близости в постели. А он ведь был мужчина в самом соку, оттого, что жена холодна, мужскую страсть не утратил. Вот и прибрала его вскоре к рукам игривая сестра жены. Не познавший, живя с женой, бурной женской ласки, Ишмухамет растаял в объятиях Зарифы, как масло на солнце. Проворней волосатика* проникла она в его сердце и утвердилась в нем. Если бы

* Волосатик — обитающий в водоемах тонкий, как нитка, червь. Считается, что при купании может легко проникнуть в тело человека.

жена не умерла, угорев в бане, Ишмухамет все равно развелся бы с ней и женился на Зарифе. Лишь для того, чтобы хоть один раз погладить ее упругое тело, стоило родиться и жить в этом проклятом мире. Желание опровергнуть сообщение об измене Зарифы овладело всем его существом, помutilo разум. Однако вернуться домой он не смог, законы, установленные для военнослужащих, были сильнее его желания.

Сидя на камне у полюбившейся скалы, Ишмухамет вспоминал, как впервые за время своего отшельничества увидел внизу, у подножья горы, человеческую фигуру. Присмотревшись, угадал в ней женщину. Вряд ли она пришла из Тирыков: во-первых, далеко, во-вторых, дороги с той стороны поблизости не было.

Ишмухамет, забыв в дорогах прихватить ружье, спустился вниз, осторожно, скрываясь за деревьями, приблизился к женщине, понаблюдав за ней. Оказалась она древней старухой, лицо было изборождено глубокими морщинами. Старуха собирала какие-то травы. Сорвав растение, внимательно его разглядывала и, пробормотав что-то, совала в мешок. Вдруг в памяти Ишмухамета всплыло имя: Муглифа. Да-да, старуха Муглифа, как же это он сразу ее не узнал?! Еще до войны, до вступления в законный брак с Зарифой, видел однажды эту старуху. Жила она в Таулах, в крайнем доме Кривой улицы, слыла знахаркой и прорицательницей. Прослышав о ней, Зарифа пристала, что называется, с ножом к горлу: давай съездим к старухе, пусть погадает, что нас ждет! Он, влюбленный и послушный, как щенок, хотя и не верил в гаданья, взял Зарифу с собой, когда поехал в Таулы по своим делам.

Муглифу они застали сидящей на краю нар, — толкла что-то в маленькой ступке. Первое, что удивило Ишмухамета в ее доме, — множество книг. Знахарки представлялись ему темными, невежественными личностями, а эта, выходит, много читает.

— Да, сынок, как видишь, и так бывает, — улыбнулась Муглифа, отставив ступку в сторону.

— Ты о чем, инэй?*

— О том, о чем ты подумал...

Тут и Зарифа, успевшая оглядеться, вступила в разговор:

— Мы, инэй, я и вот мой езнэ, ай, Ишмухамет, хотим, чтобы ты погадала — суждено нам или не суждено быть вместе...

— Садитесь, — предложила Муглифа и вытащила из-под сложенной по-старинному горкой постели небольшой кисет, развязала его, высыпала на постланный на нарах палас горсть гладких разноцветных камешков. Ишмухамет присел на лавку у входа, Зарифа — на нары напротив знахарки.

Длинные узловатые пальцы старухи замерли над камешками, и сама она замерла, закрыв глаза, словно задремала, придавленная усталостью.

Посидела так некоторое время, затем коснулась пальцами камешков, начала передвигать их. Посмотрела, как они расположились, приложила руку к груди, тяжело вздохнула. Зарифа, теряя терпение, заерзала. Наконец старуха заговорила:

— Ты, сынок, терзаешься оттого, что единственный твой ребенок родился с ущербным разумом. Не ты в этом повинен — род ваш помечен печатью возмездия за несправедные дела. Далее он не продолжится, твой сын — последний в нем, не будет больше мальчиков.

Огорошенный ее словами Ишмухамет вскочил с места:

— И девочки не родятся?

— Родились бы... но суждена тебе жизнь в стороне от твоего дома.

— А я? Что мне суждено? — Зарифа тоже поднялась.

* Инэй — вежливое обращение к пожилым женщинам.

— Тебе, дочка... — Старуха помолчала в раздумье. — Тебе не даст жить в радости тяжкая обида, нанесенная тобой близкому человеку. Не сердитесь на меня за правду — я не вижу, где вы обретете последний приют и проводят ли вас туда с почестями. Это — все, что я могу сказать вам.

Ишмухамет растерялся, красивое лицо Зарифы исказилось.

— Не верю я тебе! — выкрикнула она.

— Не обрадовала ты нас, инэй. Все же прими на чай... — Ишмухамет достал из кармана деньги.

— Не надо... Купи на эти деньги гостинец для сына. Не обижайте его, старайтесь почаще радовать. Сказано в Священной книге: тому, кто обидит убогого, гореть в аду.

Зарифа вышла из дома знахарки первой, в сердцах громко хлопнув дверью. Ишмухамет ненадолго задержался.

— Побеспокоили тебя, инэй, извини нас, не кори, — попросил он. — Не думал я, что все так обернется... Живешь и не знаешь, что тебя ждет.

Муглифа усмехнулась.

— Кабы и знал, одна лишь красная книжечка, которую носишь в нагрудном кармане, изменить судьбу не в силах.

Ишмухамету стало не по себе. Только в эту минуту осознал, что совершил, придя к знахарке, непростительный для члена партии поступок. Пробормотал обеспокоенно:

— Это... соседи твои не болтливы? Не подвели бы меня... Время такое...

— Не волнуйся, нет их сейчас дома, рядом — две избы, обе на замке.

— Ладно, инэй, может, еще встретимся. Если помощь какая понадобится...

— Может быть... Только гора с горой не сходится.

— Да, вот еще о чем хочу спросить. Много разговоров о войне. В самом деле она может начаться?

Муглифа, ссыпавшая камешки в кيسет, глянула в окно, обращенное на запад. Ответила на вопрос иносказательно:

— Тучи давно уже сгустились. Двигутся в нашу сторону...

И вот снова увидел Ишмухамет перед собой эту старуху. О силы небесные! Во сне или наяву? С тех пор, как поселился в пещере, еще ни разу не довелось ему встретиться с живым человеком, пригрезившийся дух — не в счет. Колени Ишмухамет ослабли. Предстань перед ним кто-то другой — не решился бы обнаружить себя. Старуху окликнул:

— Инэй! Муглифа-инэй!

Старуха, склонившаяся над каким-то растением, резко выпрямилась, обратила лицо в сторону дерева, за которым притаился Ишмухамет.

— Ты кто?

— Беглый. Жизнь моя — в руках Всевышнего. Ты одна? Нет поблизости других людей?

— Не беспокойся, нет. А я не из душегубов. Можешь мне довериться — так покажись, не можешь — дело твое.

Ишмухамет вышел из-за дерева. Старуха, глянув на его заросшее черным волосом лицо, ничего не сказала, ждала, что еще скажет он. Должно быть, не узнала его. Он засыпал ее вопросами:

— Как ты дошла досюда? Путь от Таулов немалый. По-прежнему живешь там? Помнишь, я еще до войны побывал у тебя с молодой женщиной? Ты сказала тогда: только гора с горой не сходится...

— Помню. Ты знаешь, где я живу. Приди через недельку, если есть нужда ко мне, — сказала старуха, закинула мешок с травой за спину и ушла. Ишмухамет,

боясь вздохнуть, уставился ей вслед, пришло вдруг на ум: впрямь ли это была Муглифа, не привиделась ли?

А вскоре судьба свела его с полуживым калекой. «Моя тюремная кличка — Барсук», — сообщил он, когда немного оклемался. Но Ишмухамет нарек его просто «гостем». Лечил его ожоги и раны снадобьями, приготовленными знахаркой. Жизнь в пещере заметно изменилась. Из добытых Ишмухаметом шкур Муглифа шила шапки и продавала на базаре, к его приходу припасала хлеб, топила баню. Но привести «гостя», даже осведомить его, кто она, где живет, не разрешила. Помня впечатление, произведенное ее давним гаданием, Ишмухамет несколько раз пробил старуху опять погадать насчет его будущего, но ответ был один:

— Судьбу не изменить, а раз так, зачем гадать?

— Не хочу, инэй, умереть беглым. Я сшил шапку из собольих шкурок, хочу своими руками надеть ее на голову сына.

— Это уж как судьба распорядится. Никто не может умереть ни раньше, ни позже предназначенного ею срока и носить на себе то, что не суждено носить.

Разговор этот состоялся недавно, при последней их встрече. Отправляя Ишмухамет в баню, старуха вручила ему нижнюю рубашку и штаны, сшитые из белого миткала.

— О, в таком белье неплохо бы очутиться в объятиях молодухи, — пошутил он и добавил, посерьезнев: — Впрочем, и умершего хоронят в чистой одежде, завернув почему-то в белую ткань...

Воспоминания Ишмухамет прервал оклик:

— Ишмамат!

Услышав свою аульную кличку, он вздрогнул, вскочил на ноги, и тут же прогремел выстрел. Не успел Ишмухамет сообразить, откуда, кем послана смерть, — как оторвавшийся от скалы камень, покатился он вниз, к занесенной сугробами речке, однако не докатился до нее — подкинутое последним уступом горы безжизненное тело застряло в ветвях стоявшего чуть ниже старого вяза.

* * *

Таулы остались далеко позади. Мадина шагала, ничего вокруг не замечая, подгоняемая унижением, пережитым в квартире Камалетдинова. Не знала она, что Аюп Газизович женился. Хоть бы, прежде чем толкнуться в знакомую дверь, поспрашивала о нем у здешних людей. Нужна она тут как прошлогодний снег! Поняла это, едва переступив порог, по брезгливому взгляду женщины в роскошном атласном халате. Надо было сразу повернуться и уйти — не ушла. Стояла, чувствуя, как съеживается ее душа перед высокомерием этой женщины, назвавшей себя Маликой-ханум.

— Говоришь, ты — жена Абдельхата? — Малика прищурилась, словно хотела разглядеть через Мадину неведомого ей человека. — Мой муж ни разу ни о каком Абдельхате не упоминал.

— Мы уехали в Москву... уже два года прошло... — Теперь Мадина почувствовала, что язык плохо ее слушается. — Они дружили...

— Хы... Отец Флориды, — так Малика-ханум дала понять, что у них родилась дочь, — нередко ошибается в людях. Да, ошибается.

— Аюп-агай и Абдельхат... они вместе прошли войну...

— Ах уж эти ссылки на войну! Как будто там можно было выбирать друзей! Знай Аюп, что этот... Абдельхат станет бандитом, разве подпустил бы его близко к себе?

— Как вы... можете?! — Мадине трудно стало дышать. Не нашла больше слов, чтобы выразить возмущение. Вцепилась одной рукой в дверную ручку, другой пошарила у ног, отыскивая свой узелок. В голосе Малики, понявшей, что попала в цель, в самое болезненное место Мадины, зазвенел металл:

— Как, как... У меня-то, слава Аллаху, совесть чиста, а вот как вы... как твой муж докатился до этого — стал врагом поставившего его на ноги народа?!

— Абдельхат не враг! И не был им никогда!!! — То ли ей, Малике, это выкрикнула Мадина, то ли уже на улице — выбежала не помня себя. Ноги словно бы сами понесли ее к дороге, ведущей в Тирыклы, и вот уже порядочное расстояние отшагала по ней. Наверно, даже после исключения из консерватории и выселения из студенческого общежития не было ей так тяжело, как сейчас. Тогда согревало душу сознание, что есть родные места, куда она в крайнем случае может вернуться, есть люди, которые ее знают и приветят, в том числе Аюп Газизович, очень хорошо относившийся к Абдельхату и к ней. Приехав в Таулы, к нему первым делом и решила зайти, думала — встретит как прежде, поможет добраться до Тирыклов. Да не оправдалась надежда.

Неожиданно ребенок в ее чреве задергался, поясницу пронзила боль.

— Ах, не то уж... — Не зная, что делать, Мадина перевела взгляд с убежавшей вдаль пустынной дороги на простирившееся рядом заснеженное поле и свернула туда. Поняла, что малыш — до сих пор единая с матерью душа, единая плоть — может в любой момент в любом месте явиться в этот мир, отделиться от нее. Сердце Мадины зачастило, ноги подкосились от страха. Что она наделала! Зачем вместо того, чтобы постучаться в Таулах к добрым людям, отдохнуть, сразу отправилась в нелегкий путь? Сорок с лишним километров по зимней дороге — не шутка, тем более в ее положении.

— Помогите! — закричала она, хотя видела, что поблизости никого нет и можно надеяться только на чудо. — А-а-а!..

Немного погодя, несколько успокоившись, подумала: как же теперь быть? Повернуть назад? Но далеко уже ушла от Таулов, да и помогут ли ей там? Решила: надо во что бы то ни стало дойти до Тирыклов, до родного дома!

* * *

Мартовское солнце ослепляло, нанизывая на лучи крупинки зернистого снега. Хашим хотел было мимоездом постоять у могилы Гульбану, но глубокие, рыхлые сугробы не дали добраться до нее. Ладно, придет сюда, когда растает снег, проклонется травка и вспыхнут цветы горицвета — глаза весны. У Гульбану глаза были такие же чистые, притягательные, да на беду и жизнь оказалась короткой, как у этих самых ранних цветов...

Ехал Хашим за сеном, взялся привезти сразу два воза, — вторая лошадь с саними шла сзади в поводу. В конце Глубокого лога повернул по санному пути, проложенному вдоль ручья Тенгрибирде, в сторону стога, который прошлым летом завершал он сам.

Нагружал сани торопливо, думал лишь о том, как побыстрее управиться с этой работой. А не спеша разматывать клубок мыслей он примется на обратном пути, лежа на высоком возу. Думам Хашима конца-краю нет, и бездонны они, как синее небо над головой. Каждого человека, каждую живую душу, каждую травинку старается понять Хашим, но чем больше старается, тем сложнее становятся вопросы, требующие ответа. В последнее время не дают ему покоя судьба Шангарея и разговор с Мирхайдаровым.

К слову сказать, вспоминается Хашиму случай, происшедший в его раннем детстве. Это был, кажется, праздничный день — у взрослых закончился мусульманский пост. Он вышел на улицу в обнове, сшитой матерью из ярко-желтой с горошком бязи рубашке, зажав в руке сваренное вкрутую яйцо. Набежали его сверстники.

— Ого, новая одежда!

Двое-трое больно ущипнули Хашима. Он молча стерпел это. Таков порядок: раз надел обнову, день-другой терпи щипки.

— А что у тебя в руке?

— Яйцо, — Хашим раскрыл ладонь.

— Хе! Это же картошка! — Мальчики, чтобы подразнить его, прикинулись разочарованными. Хашим обиделся:

— И вовсе не картошка! Не верите, так нате посмотрите.

Никто и глазом не успел моргнуть — яйцо очутилось во рту Шарика, то есть Шангарея. И тут же, напрягшись так, что глаза выпучились, Шарик проглотил его целиком, в скорлупе.

— Обжора! — Уже готовый подраться Хашим недолго думая дал дурачку зуботычину. Тем временем вышла, оказывается, на улицу мать.

— Ты что это, Хашим, себе позволяешь?!

— А зачем он проглотил мое яйцо?

— Он не виноват. Это нужда вас, сынок, ссорит. Идем домой. Курица еще снесется, я тебе другое яичко сварю. А ты, Шангарей, подожди здесь, дам тебе теплого хлебушка.

— Не давай ему! Он же дивана*.

— Ш-ш! — Мать ладонью прикрыла рот Хашима. — Того, кто обижает дивану, счастье обходит. Он — божий человек.

Слова матери Хашим быстро забыл. И не счесть, сколько раз потом обижал Шангарея. Высмеивал его дурацкую любовь к Гульбану. Эх, если бы можно было исправить то, что натворил в прошлом!.. После возвращения в аул с войны взглянул Хашим на беднягу другими глазами, по мере возможности старался помогать ему, да что толку. Одним доставляло удовольствие потешаться над безответным дурачком, другие, словно комары или мухи, готовы были укусить, ужалить. Зарифа низвела пасынка до положения собаки, для Ихсанбая он был не более чем вошь. Не для того ли Всевышний создал этого несчастного, чтобы служил он мерой добропорядочности других?

... Лошади, пофыркивая, натужно потащили тяжелые вozy в гору. Хашим, ехавший на переднем возу, изредка оглядывался на Гнедуху. Умная скотинка. Если бы она умела разговаривать, Хашим поговорил бы с ней о том, о чем не может столковаться с людьми. Когда он отправляется в путь с этой лошадей, душа у него спокойна. Вот как сейчас.

Вокруг тихо. Иногда только сороки застрекочут, шумнут крыльями, перелетая с дерева на дерево. Нет, оказывается не одни сороки тут обитают. Вон, будто выпавшие из чьих-то саней яблоки, сбились в кучку красногрудые снегири.

Откуда-то издадека, сзади вроде бы, донесся крик: «А-а-а!..» Хашим натянул вожжи. Гнедуха запрядала ушами. Крик повторился, на этот раз еще более пронзительный. Похоже, кричала женщина. «Волки, что ли, кого-нибудь напугали?» — мелькнуло в голове Хашима. Он довольно долго всматривался в оставшийся позади Глубокий лог, но никто там не показывался...

* Дивана — юродивый, сумасшедший.

* * *

Увидев скорчившуюся у придорожного сугроба женскую фигуру, Ихсанбай остановился в замешательстве. Ба, это же Мадина! Не раз представляла она перед его мысленным взором, когда он, вытащенный Ишмухаметом почти с того света, мало-помалу поправился и мужское естество вновь стало давать знать о себе. Но не ожидал Ихсанбай такой встречи. И вот она сама перед ним — виновница его ссоры с матерью той окаянной ночью, ниспосланное ему Божье наказание. Чего только мать не напридумывала, чтобы он отказался от намерения увезти Мадину с собой: дескать, Гульбану — ха-ха! — его родная сестра, а Мадина, стало быть, родная племянница.

— Ы-ы-ых! Умру сейчас...

Ихсанбай безмолвно наблюдал, как Мадина корчится, хватаясь за гребень сугроба, пока она не обернулась к нему.

— Помоги мне, помоги, агай!

— А как?

Сбросив лыжи, Ихсанбай попытался приподнять ее, но Мадина забилась в его руках и вновь вцепилась в гребень сугроба.

— Не-е-ет! Лошадь... в аул...

Слова, срывавшиеся с посиневших губ Мадины, требовали решительных и быстрых действий. Но где ему взять лошадь? Она, наверно, приняла его за охотника, а он не охотник, скорее призрак. Во всяком случае, для Тиряклов — давно умерший человек.

Мадина неожиданно выпрямилась, должно быть, боль на какое-то время отпустила. Но стоять ей было тяжело, обессилела. Села на твердый бугорок у дороги, спросила, отведя взгляд от его страшного лица.

— Ты кто, агай?

— Не узнаешь? — Ихсанбай в душе порадовался тому, что и голос у него не похож на прежний, сипит-хрипит обожженная гортань. — И не догадываешься?

— Нет.

— Я — Ишмухамет, муж сестры твоего отца.

— Да?! — В черных глазах Мадины застыло изумление. — Тебя на войне так?..

А Ихсанбай сам своих слов испугался. По спине побежали мурашки, на лбу выступила испарина. Не опрометчиво ли с его стороны назваться Ишмухаметом? Хорошо если покойник числится в пропавших без вести, а не в дезертирах. Сказанное обратно не вернешь, придется продолжать игру, и может она закончиться по присловью: бежал от волка — набежал на медведя...

— Да, сестренка, на войне, — выдавил из себя Ихсанбай. — Вот только-только возвращаюсь, можно сказать, из ада. Адские муки пришлось мне перетерпеть. И ты немного потерпи...

— Шангарей... — начала Мадина и побелела: опять начинались схватки. — М-м-м... бедняга обрадуется...

Ихсанбай растерянно глянул по сторонам, не зная, как ей помочь, и вдруг сообщил, что они находятся примерно в том месте, где на Гульбану напали волки. Он и сам тогда едва не нарвался на стаю. Стоит пройти лог и подняться на гору — до аула уже рукой подать.

— Ты посиди здесь, Мадина, а я — в аул. Быстро обернись!

Ихсанбай встал на лыжи и заскользил в сторону горы.

Итак, испытание первой встречей с человеком из Тиряклов прошло для него гладко. Если успеет спасти беременную Мадину, будет еще один, притом немалый, выигрыш в пользу его предстоящей жизни в ауле.

Поднявшись на гору, он увидел два воза с сеном, остановленные, видимо, для того, чтобы дать передышку лошадям. А вон и возчик идет навстречу ему. Ах ты, это ведь, кажется, проклятый Хашим? Да, он самый...

Глава вторая

Малике частенько приходится ждать возвращения мужа с работы до глубокой ночи. Ладно еще есть у нее доченька, Флорида. Гугукнет она, протянет к маме ручонки, и все тревоги, беспокойные мысли, неприятные воспоминания уступают место радости. Сейчас девочка спит. Малике нравится сидеть в это время, оглядывая преобразенную ее стараниями мужнину холостяцкую квартиру, — теперь она выглядит райским уголком. Темная полоса жизни Малики осталась в прошлом. Если не принимать в расчет поздние возвращения и вообще перегруженность Аюпа работой, отличного мужа удалось ей подцепить. Вдобавок к высокому положению в районе он не пьет, добросердечен по отношению к ней, не скуп, даже не спросит, на что она потратила деньги. А уж к Флориде как привязан! Если позвонит домой, первым делом спрашивается, как она, не заболела ли. Всегда бы так им жить!

Малика сладко потянулась, халат распахнулся, приоткрыв налитые груди, она потрогала их рукой, подумала: останутся ли такими же тугими, когда перестанет кормить ребенка? В Москве, в общественной бане, Малика навидалась всяких женских тел — и молодых, крепких, и обвислых, старушечьих. Тьфу, тьфу, пока она на свое тело не может пожаловаться, только... Только вот Аюп редко балует его ласками, в постели сдержан. Впрочем, Малика на него не в обиде. Еще до замужества обрыдли ей и похотливые мужские взгляды, и похотливые руки, уж и не надеялась встретить порядочного человека...

— А-а... — мысли Малики прервал голос дочки.

— Что, доченька? Баю-бай, спи, моя красавица!

Но девочка уже широко открыла глаза. Такая вот она: просыпается в полночь и до утра не спит. Можно подумать, будто что-то у нее болит, так редко когда заплачет. Показывала ее докторам — без толку, никто из них к какому-либо определенному выводу не пришел.

— Ой, деточка... — Малика подняла дочку с постельки, прижала ее к груди. — Маешься, не спишь в самую пору, когда спать бы тебе да спать. Сказать, что ли, папе твоему, что надо бы тебя к московским врачам свозить?

Упомянув Москву, вспомнила Малика и молодую женщину, которая приехала оттуда и хотела встретиться с ее мужем. Фактически выставила она несчастную на улицу, и сама не сразу поняла, почему обошлась с ней так сурово. Об аресте Абдельхата Малика знала, печалился о нем Аюп. Конечно, не очень-то обрадуешься, если в твой дом придет жена человека, угодившего в тюрьму, но главное не в этом. Только сейчас, когда в окна смотрела бесстрастная ночь, вдруг осознала Малика причину своей суровости: в этой беременной молодой женщине, искавшей, где бы приткнуться, она узнала себя — прежнюю, жалкую. Да-да! Не женщину, в черных глазах которой таилась мольба о помощи, выгнала она из этой хорошо обставленной, уютной квартиры, а свое прошлое!

Зазвонил телефон, заставив вздрогнуть и Малику, и ее маленькую дочку. Наверно, Аюп звонит...

* * *

Фаузия-Барсынбика, осматривая дом старухи Муглифы и снаружи, и внутри, делала для себя все новые и новые открытия. Дом стоял в конце когда-то оживленной, а теперь порастерявшей хозяев улицы. Разросшиеся осокори и два кособора заслоняли его, так что при взгляде со стороны не бросался он в глаза. Под одним из кособоров бил родник, в него была вставлена труба, и там, где вода вытекала из трубы, стояла баня, а почти впрыток к дому — летняя кухня, аласык. Встарь такие лачуги обычно ставили поодаль от жилья. Был во дворе и сарай, старуха прежде, видимо, держала в нем какую-то живность. На кольях плетня, ограждавшего двор, белели три конских черепа.

По лиственничным бревнам трудно определить, когда построен дом, но можно было не сомневаться, что он, крытый смолистым тесом и обшитый такими же досками, простоит еще долго. Пол внутри — тоже из лиственничных досок; если его хорошо вымыть, проступит, засияет розоватый окрас древесины.

Удивила Фаузию-Барсынбику в доме старинная утварь. Кадки, бадейки, большие и малые чаши, плошки, ковш, поднос, ручная мельница — все деревянное. Была и глиняная посуда — восточный кувшин, кружки, должно быть привезенные когда-то из Бухары или Мекки. И, похоже, в дом, в котором хранится такое богатство, с тех пор как хозяйка ушла, никто не заходил, ничего не тронул.

Среди посуды увидела Фаузия — будем для краткости называть ее этим именем — точно такую же неглубокую плошку, какая была у самой в детстве, — любила она разглядывать нанесенные на нее узоры. На глаза навернулись слезы: красивая посудинка соединила ее нынешнюю жизнь с той частью, что оторвалась подобно хвосту ящерицы и осталась на другом берегу потока, именуемого Временем. Вспомнилось: она, маленькая Барсын, стоит перед бабушкой, сбивающей в пахталке масло. Глаза у бабушки добрые, от них веселыми лучиками разбегаются морщинки. Бабушка кладет деревянной ложкой в ее посудинку пену с пахты: «Поешь-ка, внученка, будешь такой же нежной». — «А от топленого масла не буду?» — «Топленое масло приедается, много не съешь, — затошнит...»

Нежный возраст Барсынбики прошел быстро, словно опал и исчез, как та пена, которой угощала бабушка, а от оставшейся части жизни затошнило похлеще, чем от топленого масла. Но хватит думать об этом, нет уже мочи вспоминать о пережитом. Сегодня повеяло на нее покоем, как будто от этой старой утвари, от старых стен передалась ей сила духа людей, живших здесь, и защищает ее.

Однако снаружи слышались какие-то звуки, заставив ее напрячься, как тогда, когда сыночек Ихсанбай нацелил на нее наган. Кто-то ходит, что ли, во дворе? Посмотрела в окно — ничего там не видно, темно. А звуки повторились — будто кто-то поскребся в дверь сеней. Ну, будь что будет — Фаузия с лампой без стекла вышла в сени, открыла дверь и разинула рот в удивлении: на крыльце стояла собака, вперив в нее прямо-таки по-человечьи умоляющий взгляд усталых желтых глаз.

— Ах-ах, чего тебе, божья тварь?

Собака, не услышав в голосе Фаузии недоброжелательности, обрадованно завильяла хвостом.

— Ладно, раз пришла, айда заходи. Особых угощений у меня нет, но чем голод утолить найду.

Собака в ответ на приветливые слова словно бы вздохнула с облегчением и осторожно, как человек, впервые входящий в чужой дом, последовала за незнакомой женщиной.

* * *

Камалетдинов заснул, сидя за своим столом, а когда проснулся, не сразу всплыло в затуманенном сознании, что приснилось. Ощутив в руке карандаш, тоже не сразу сообразил, откуда он взялся. Ах да, забыла его на приставном столике хирург Лидия Николаевна Башкирцева. Приходила днем с жалобой на неудовлетворительную организацию питания больных. Эта смуглая женщина с озёрно-синими глазами, майор медицинской службы в запасе, прошедшая войну от начала до конца, никак не может поладить с главврачом районной больницы Лукманом Талиповичем. Тот, в свою очередь, жалуется на нее: из-за ее резкого характера нервничает весь медперсонал больницы, что, естественно, не лучшим образом сказывается на лечебном процессе. Вот и такими делами приходится заниматься Аюпу Газизовичу. В сердцах вызовет к себе Башкирцеву, решив как следует отчитать, но натолкнется на ее взгляд, грустноватый, как бы безразличный по отношению к самой себе, и вся его решимость пропадает. Кажется, когда-то где-то этот взгляд ему запомнился. Впрочем, мало ли дорог он прошел, с кем только не встречался...

Вот сейчас заснул с карандашом Лидии Николаевны, а приснилось ему, что тихонечко подошел к кровати Флориды. Нравится ему стоять около спящей дочки. То ли ничем не замутненная душа ребенка его притягивает, то ли ищет он на безгрешном личике свои черты и такие далекие теперь черты своей матери.

— Флорида, доченька... — прошептал он. Девочка услышала, открыла глаза. Но... у нее на голове черные кудряшки, глаза — синие! Это не Флорида, хотя отдаленно похожа на нее. — Ты кто?

— Твоя сестренка, Хатира. Не помнишь меня?

— Хатира?! — Аюпа Газизовича разбудил его собственный голос. Молнией во тьме блеснуло в памяти это имя. Хатира! Да-да, была у него сестренка! Была! Вспомнил: мама металась на нарах, вскрикивая: «Ай, умру!..» У нее опухли груди, не могла кормить ребенка. «Малышка с голоду умрет...» — это опечаленный голос отца. Потом за окном остановилась подвода. В дом вошла женщина в тулупе. Вспомнилось еще, что она взяла ребенка из колыбели на руки, и цепочка событий тех дней в памяти оборвалась.

Аюпу Газизовичу захотелось рассказать об этом жене, позвонил домой. Сонный голос с другого конца телефонного провода пригасил его волнение. Да, поняла. Вспомнил, и что дальше? Грустно, но что поделаешь, в такое время живем...

И то правда — не одного только Аюпа жестокое время осиротило, не одну лишь его семью пропустило через свою мясорубку. В память о тех, кому он обязан жизнью, осталась фотокарточка. На ней — его отец, мать и сам он, ростом чуть выше отцовского сапога. А сестренки нет, должно быть, к тому времени, когда сфотографировались, еще не родилась. Карточка — единственное, что досталось Аюпу от родителей, сумел ее сберечь, пронести через суровые годы.

Выпив воды из графина, Камалетдинов окончательно успокоился. Взглянул на часы. Третий час ночи. Повертел в руке карандаш Башкирцевой. Надо будет вернуть его хозяйке. Карандаш необычный, в серебряной оправе, скорее всего — трофейный. Видимо, кто-то на фронте ей подарил. Да, жизнь и эту женщину не баловала, может быть, Лукман зря к ней придирается...

* * *

Мадина открыла глаза. Понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что лежит она в просторной комнате. Через большое окно всюду светила

луна, высвечивала поставленные рядами кровати. Кровати... Тут рядом с ней что-то зашевелилось, что-то живое. Мадина протянула руку, коснулась маленьких влажных губ и окончательно вернулась в реальность. Она, Мадина, стала матерью! У нее родился сын! Абдельхат говорил: если родится дочка, назовут ее Нафисой* — будет она в соответствии с именем красавицей, а если сын, то в честь его друга-скрипача — Даутом, так по-башкирски звучит имя Давида.

Мадина и не подумала вытереть слезы, покотившиеся по ее щекам. Это были счастливые слезы, потекли они оттого, что рядом сопел малыш, выношенный под ее сердцем и благополучно явившийся в этот мир. «Господи! — Возглас, сорвавшийся с потрескавшихся горячих губ, никто в погруженной в сон палате не услышал. — Я бесконечно благодарна тебе за моего малыша! Теперь, Господи, огради его от бед и горя!»

Нельзя сказать, что Мадина веровала в полном значении этого слова. Она росла, когда в стране насаждалось безбожие. Но религия уже глубоко проникла в сознание народа, особенно в аулах, наложила свою печать на обычаи, на весь жизненный уклад. К тому же во время войны власти стали терпимей к вере. И бывает, что и неверующий искренне обращается к Богу, вот как сейчас Мадина. Она почувствовала себя обязанной счастьем обретения ребенка небесам, поверила, что судьба каждого — в руках Божьих. Иначе могло ли случиться так, чтобы в отчаянный для нее момент, когда она и ребенок были уже на краю гибели, будто с неба свалился ее отец, Хашим? Он положил ее, завернув в тулуп, на кучу сена в саях и, нахлестывая кнутом саврасого жеребца, помчался в райцентр...

... Малыш беспокойно зашевелился, повернул голову, открыл рот. Пососать просит? Мадина еще не кормила его, не научилась. Как начать?

Посмотрела на спящих соседок. Хорошо, что никто не видит ее в минуту растерянности. Растегнула верхние пуговицы платья, выпростала набухшую грудь, чувствуя, что краснеет из-за своей неловкости. Примет ли малыш грудь и не будет ли ей больно? А он, учуяв то ли запах молозива, то ли ее тепло, тут же нашел сосок, и по телу Мадины пробежала сладостная дрожь. Ребенок зачмокал, принялся за первое в жизни дело. Мадина, ощущая удовольствие оттого, что напряженная до боли грудь мало-помалу расслабляется, смежила веки.

* * *

Ихсанбай не мог нарадоваться: с тех пор, как он вышел на дорогу, обстоятельства складывались в его пользу. Верно сказано: если Всевышний решит чем-то наделить раба своего, то выставляет это на его пути. Во-первых, встреча с Мадиной, притом в момент, когда она отчаянно нуждалась в помощи, — ему, Ихсанбаю, зачтется. Он не бросил ее одну на погибель, постарался помочь. Во-вторых, в аул он вернется не с пустыми руками, а на возу сена. Правда, разговор с Хашимом был неприятен, но на более теплую встречу и сам Ишмамат, вернись он в аул, вряд ли мог бы рассчитывать.

— Лошадь-то я тебе оставлю, но кто ты? — сказал Хашим, буравя Ихсанбая взглядом.

* Нафиса (араб.) — красивая, прелестная, нежная.

— Кто бы ни был, не бойся, не сбеги. Не то что на лошади — на аэроплане мне не скрыться, видишь: весь в метках, — просипел Ихсанбай.

— Да уж... Что, в танке горел?

— Было дело. Но сейчас, Хашим, не до разговоров. Мадину надо спасать.

— Откуда ты нас знаешь?

— Как не знать! А ты езнь своего, Ишмухамета, не узнаешь?

— Хы... — Хашим не нашел что сказать в ответ, только удивленно хыкнул.

— Я тоже думал, что живым тебя не увижу, но хватит об этом, давай поторопись!

— Отгони воз на ферму...

Сено с переднего воза еще до этого разговора они свалили на обочину дороги. Хашим вскочил на сани, взмахнул кнутом, и Саврасый налегке рванулся с места в карьер.

Ихсанбай, вскарабкавшись на воз, сунул руку за пазуху, ощупал нагрудный карман — проверил, на месте ли документы Ишмухамета. Если удастся благополучно поставить покойного на учет в военкомате, эти документы и новое обличье станут для него, Ихсанбая, надежной защитой от прошлого.

— Н-но, скотинка!

Гнедуха охотно потянула воз в сторону аула, где ждало ее теплое стойло, а Ихсанбай улегся поудобней, расслабив усталые ноги, и предался мыслям о Мадине. Представились ее расширившиеся от боли глаза, искусанные до крови губы, но и такой ее образ вызвал вожделение: Ихсанбай почувствовал напряжение в паху, по телу разлилось сладострастное томление.

* * *

Став продавщицей сельповской лавки, Рауза первым делом поставила перед собой задачу изменить свою походку. Прежде, когда была уборщицей сельсовета, могла ходить как угодно, — теперь так нельзя. Теперь она важная фигура, наделена знаком власти — связкой ключей, и весь аул на нее смотрит. Поэтому-то стала она ходить гордо вскинув голову, выпятив грудь и не спеша. Зачем спешить, не срочное председателево поручение бежит выполнять. Конечно, к ее приходу у двери лавки уже толкуются нетерпеливые покупатели — ну и пусть толкуются. Небось дела у них не важнее, чем у Раузы.

Вон и сегодня топчутся возле лавки несколько мужчин и одна женщина — похоже, Галима. Прослышала, видать, уродка, что в лавку привезли духи «Сирень», за ними, наверно, и пришла. Какой из этого можно сделать вывод? Вот какой: слухи о том, что Галима путается с заведующим фермой, верны. Иначе зачем ей духи? А один из мужчин — ее, Раузы, сын Хусаин. Всерьез, непутевый, начал курить, за куревом явился. За тридцать уже перевалило, а по-прежнему ни жены у него, ни ребеночка нет, некого Раузе понычнуть. Хусаин опять домой не приходит, при лошадях своих живет, там и ночует.

Еще один мужчина, тот, что в лисьем малахае, — Касим, дядя Хашима. Этому, интересно, что понадобилось? Жена его Хусниямал обычно сама приходила за покупками. Хай, не берегут иные жены своих мужей! Это какую же душу надо иметь, чтобы могучего как дуб мужика гонять за всякой мелочью в лавку? Или уж вовсе нет души у Хусниямал?

Двое стоят особняком, если один из них — Галяу, то другой, конечно же, — Валяу. Они братья-близнецы. Галяу хочет выпить, а Валяу ходит следом, что-

бы не дать ему этого сделать. Но разве за выпивохой уследишь? Да и как бы Рауза без людей, которым наплевать на свое счастье, выполняла план? Выполнение плана не только ей, но и государству нужно. А раз так, она, разумеется, не должна обижать жаждущих выпить. В этом мире всяк по-своему с ума сходит. Вон Касим тину из речки на свой огород таскает: от этого, дескать, земля становится плодородней. Так вот, насчет выпивох: чем больше люди пьют, тем больше выручки у Раузы и пользы государству. Это политика. Уж Рауза-то, с молодых, можно сказать, ногтей работавшая в сельсовете, в политике разбирается.

Первым поприветствовал Раузу Галая, это ее насторожило: ясное дело, опять намеревается выпить в долг.

— Здравствуй, Рауза-апай! Как себя чувствуешь?

— Терпимо, Галаятдин-кустым, вашими, как говорится, молитвами, — отозвалась Рауза и обернулась к Хусаину: — Хоть бы за хлебом пришел, совсем от родного дома отбился.

— А я не голодаю. — Хусаин безмятежно осклабился. — И тебе экономия.

— Вот покажу я тебе экономию, дожدهшься!

— Ладно, приду сегодня.

— Касим, никак Хусниямал заболела?

— Не-е-ет, некогда ей, еще и за хозяйством Хашима присматривает.

— А где он сам? Уж не свататься ли куда уехал? — У Раузы, подумывавшей, не прибрать ли к рукам бобыля Хашима, голос задрожал.

— Не-е-ет, Мадину свою в Таулы, в больницу повез.

— Мадину?! — Неожиданная новость взволновала Раузу до такой степени, что у нее на носу капельки пота выступили. — Мадину, говоришь?

— Ну да. Встретил в Глубоком логу и тут же помчался с ней в Таулы.

— Ах-ах! А зачем? — Забыв обо всем на свете, насторожившись, как кошка, учуявшая мышь, Рауза смотрела Касиму в рот. — Зачем в Таулы?

— Говорю же — в больницу, у нее это... срок рожать подошел.

— Ыста-ыста!* Откуда знаешь? Кто тебе сказал?

— Бэй, не слышала разве, Ишмухамет вернулся?

— Ишмухамет?! — Услышав сногшибательную новость, Рауза вцепилась в рукав Касима. — Правду говоришь?

— Правду. Сам его видел. Шангарей давно не показывался, дай-ка, думаю, в дом Зарифы загляну. Заглянул, а там зять мой, Ишмухамет, стало быть, сидит. Он и сказал...

— Ата-а-ак! — Рауза поняла, что не успокоится, пока не увидит Ишмухамета своими глазами, — ведь такие события случаются в Тиряклах, может быть, раз в сто лет, — и заторопилась. — Ну, кому что нужно? Заходите поживей!

Но когда торопишься, тебе обязательно что-нибудь помешает. Дверной замок, будь он неладен, заупрямился, не отмыкался. Пока Рауза возилась с ним, топтавшийся рядом Касим сказал:

— Раз зять вернулся, сама знаешь что. И для Мадины нужное ей Хусниямал велела купить.

— Ах-ах, велела! Пускай сама придет. Не мужское это дело. Надо же — за такими вещами мужа послать! — Рауза глянула поверх голов собравшихся на

* Ыста-ыста (искаженное арабское «астафируллах» — «Боже мой») — возглас, выражающий так же, как «бэй», «атак», удивление или недоумение. В башкирской народной речи часто употребляется в форме «астагафирулла».

Хусаина: — Курево для тебя дома припасла. Ты не Галяу или Валяу, чтобы возле лавки крутиться. Так ведь, Галяутдин-кустым?

Наконец замок поддался, лавка открылась. Рауза прошла за прилавков, сняла варешки и выставила перед Касимом, стукнув доньшками, две бутылки водки с баночкой рыбных консервов. Протянутые им деньги не стала пересчитывать.

— Правильно подсчитал?

— Вроде бы правильно.

— Ладно. Галяутдин-кустым, ты мне четыре рубля задолжал. Пока с долгом не рассчитаешься, ничего не получишь.

— Четыре? — усомнился было Галяу, но Рауза быстро нашлась, ответила по-словницей:

— Не едок знает, сколько съел, а тот, кто кормит. Идите, идите, не торчите здесь! И ты тоже! — Кинула все же Хусаину пачку «Казбека».

Через несколько минут Рауза, заперев лавку, уже летела в сторону дома Ишмухамета. Да-да, летела, не чуя ног под собой, забыв о своей новой походке. Ее, проработавшую почти всю жизнь в органе государственной власти, то есть сельсовете, не устраивают новости, разносимые «мочальным телефоном», привыкла получать их свежими, видеть все своими глазами. Поэтому, пока она дослушала Касима и обслужила покупателей, сердце едва не выпрыгнуло из ее груди. Вот ведь, жив человек, сколько времени спустя вернулся, а ее Сибэгатушка лежит там, откуда не возвращаются. Лучше бы вместо страстной натуры достался ей хоть плохонький муж! Нет, не выпало женское счастье на ее долю. Как говорится, привалило нищему еды, да рот раскровавлен, жевать не может. Так и у нее. И у Ишмухамета вроде этого: сам вернулся — Зарифы нет. Не смогла она умерить свои дурные желания, оттого, зная, и пропала. Тьфу, тьфу, тьфу, упаси Аллах от такой участи!

Трижды плюнув через правое плечо, Рауза торкнулась в ворота двора, в который в последнее время, кроме Шангарея, можно сказать, ни одна собака не заглядывала.

* * *

Через оконце караулки на ферме света проникает мало. Шангарею, чтобы лучше видеть, приходится прищуривать глаза. Дел у него — по горло, готовится к свадьбе. Чьей? Мадины с Абдельахатом. В каждые сани он запряжет пару коней. Кони стоят наготове. Шангарей взглянул в угол подоконника на привязанных ниточкой за ноги тараканов. Вот Саврасый, он лучший из коней, но и остальные не подведут. Помчат с ветерком. Осталось еще одни сани сделать. Шангарей подтянул к себе клочок блестящей обертки от плиточного чая, заодно придвинул к тараканам хлебные крошки. Свадебные кони должны быть сыты. Так, сани тоже готовы. Теперь надо рассадить в них всех, кто поедет в свадебном поезде. В блестящую кошевку запряжем Саврасого в паре с Гнедухой, а поедет в ней бумажная фигурка по имени Шангарей. Красивая фигурка. Самая красивая. Так и должно быть, потому что посадит он рядом с собой Гульбану. А как же иначе, мужу с женой положено сидеть вместе. С ними поедут двое мальчишек, Янтимир с Биктимиром, они тоже — гости. Вот на эти большие сани сядет его отец, Ишмухамет, с мачехой — теткой Зарифой. А куда же посадить родную мать? Она к свадьбе сшила себе новое платье, купила новые белые валенки. Атак, пусть сядет с ним, Шангареем, места хватит!

Теперь очередь вот этих кособоких, сделанных кое-как саней. Ладно, сойдут для Ихсанбая с Сабилей. И лошади у них должны быть захудалые. Чтобы отстали от других. Тогда на них нападут волки (Шангарей взглянул на «волков» — двух посаженных в пузырьки клопов) и сожрут либо их, либо Ихсанбая, либо его жену. Нет, жену не тронут, зачем волкам костлявая Сабиля? А Ихсанбая пусть сожрут, так ему и надо!

И для старухи Фаузии с Сибагатом приготовил Шангарей сани. Узковатые, правда, получились. Фаузия поверх толстой шали то ли шапку на голову напялила, то ли тастар* намотала. Зачем ей надо было так наряжаться? У-у... Рауза еще стоит тут, плачет. Куда ее посадить? Коней маловато, и тех у Хусаина еле-еле выпросил. Айда садись на козлы Сибагата. Или уж пересадить на сани Ихсанбая? Нет, нельзя. Волки могут сожрать. Больно уж ты, тетушка Рауза, толстая, жирная, такую волкам только дай...

Ну, почти всех рассадил. Теперь посадит рядом с собой Гульбану с детьми и... Тут Шангарей будто бы увидел прислонившегося к печке долговязого человека, и между ними произошел такой разговор:

- Ты что там штоишь, Хашим?
- На свадьбу собрался...
- Ах-ах, а куда шьдешь?
- Рядом с Гульбану.
- Фиг тебе! Ш ней я поеду.
- Она — моя законная жена.
- Как бы не так! Ты ее мне жа бутылку водки продал? Продал!
- Дуй отсюда, Шарик!
- Ы!
- Дуй, тебе говорят!

Шангарей сложил в кукиш давно не мытые пальцы. В это время дверь открылась, и, согнувшись, чтоб не удариться головой о низкую притолоку, в караулку с залитого светом мартовского солнца крыльца шагнул сам Хашим.

- Фу, со света ничего не вижу. Шангарей!
- Не кричи, коней напугаешь!
- Какие еще кони? Слышь, Шангарей, есть новости.
- Не надо мне новостей.
- Ну, тогда... радостные вести. Ко мне Мадина моя вернулась, она сейчас в больнице, а к тебе — твой отец, Ишмамат...

Глава третья

Войдя в избу, Мадина остановилась у порога, как бы раздумывая, куда положить завернутого в одеяло ребенка. Какая маленькая, низенькая у них изба! А ведь жили в ней ее бабушка, мать, сама она с двумя братишками, отец. Нары, печь, стол со скамьей, чурбак у входа... Раньше на подоконниках стояли цветы, теперь их нет, остался один горшок от цветка, засохшего, должно быть, последним. И занавесей у входа нет, вообще ничего, что говорило бы о женской заботе, об уюте. И ничего нового не появилось, кроме двух увеличенных фотокарточек на стене

* *Тастар* — длинное полотнище, которое встарь пожилые женщины наматывали на голову, как чалму.

напротив входа, с них смотрят мать и отец, совсем еще молодые. Мать — в старинном девичьем наряде. Мадина его тоже надевала, и тогда была очень похожа на мать, запечатленную на фотокарточке. Только глаза у нее черные, а у мамы были синие, обрамленные густыми ресницами, — таких удивительных глаз Мадине больше нигде не доводилось видеть. Отец увеличил свою карточку, снятую на фронте. На карточке глаза у матери — как у заблудившегося олененка, у отца — задумчиво-суровые...

— Айдук*, дочка! — Хусниямал, жена Касима, протянула руки к ребенку. — Предлагала я мужчинам, чтобы тебя в наш дом привезли, а Хашим не согласился, у Мадины, мол, есть свой кров.

— Спасибо, апай, я и так, гляжу, много хлопот тебе доставила. — Передав ребенка в руки Хусниямал, Мадина расстегнула застёжки бот. — Согрела избу, пол вымыла...

— Э, пустяки! — Положив младенца на подушку на нарах, Хусниямал потянулась к заранее приготовленным чайным ложечкам. По обычаю, ребенка надлежит встретить угощением — дать капельку чего-нибудь вкусенького. — Это вот, детка, мед, чтобы речь у тебя была сладкой, а это — чтобы характер был мягкий, как масло...

Тем временем в двери показалась соседка Магинур.

— Ах-ах, с утра ждала, прилегла маленько отдохнуть и проглядела! Мадина, дочка, здравствуй!

У Мадины, когда увидела добрую женщину, сделавшую для нее столько хорошего, брызнули слезы.

— Вот, апай, опять я... одинока.

— Не говори так, дочка, у тебя есть отец.

— Да-да! — присоединилась к разговору Хусниямал. — Что людской суд против Божьего! Вон, раз суждено было, Ишмухамет, хоть и покалеченный, вернулся домой. Волею Аллаха, глядишь, и твой Абдельхат приедет. Брось, не плачь. — Встав перед Мадиной, Хусниямал принялась расстегивать пуговицы ее шубки. — Ты теперь мать, а мать должна быть терпеливой. Ты видела когда-нибудь, чтобы Гульбану билась, отчаявшись, головой о стену? Вот человек! Все свои горести, все печали в себе унесла. Хоть полон рот крови был, на людях не выплевывала. У тебя для утешения есть теперь дитя, дай ему Аллах здоровье и добрую душу!

— Верно, верно... — Магинур посадила Мадину на край нар. — Возьми, к примеру, меня: и дом есть, и бабай, и живность на дворе, а детей нет. Случись что с бабаем — останусь одна. Хоть и говорят, что среди людей и воробей не пропадет, боюсь одиночества. Я тебя так ждала! Может, согласишься, чтобы стала я тебе названной матерью, а, дочка?

Мадина ткнулась мокрым от слез лицом в грудь Магинур:

— Ах, Магинур-инэй!..

* * *

Не ожидала Рауза, что увидит Ишмухамета в таком обличье.

— Атак-атак!.. — Изумленно уставилась на пытавшегося разжечь печь одноглазого, с испещренным рубцами лицом человека. — Ты ли это, Ишмухамет?

* Айдук — добро пожаловать.

— Проходи, Рауза. Ну, давай поздороваемся... — Ишмухамет — назовем его так — поднялся, скособочившись, с корточек, протянул руку. Рауза подалась к нему и почувствовала в своей ладони подрагивающую кисть, такую холодную, будто перед ней стоял не живой человек, а мертвец, только что вылезший из могилы. — Вот... наверно, войну потому и называют бойней, что может человека так изуродовать... Извини, Рауза, угощение предложить не могу. Что нового в ауле? Как сами поживаете?

Рауза примерилась было, чтобы сесть, к чурбаку, но, решив, что он маловат для ее седища, примостилась на краю нар.

— Мы-то живем... потихоньку. Хусаин мой все при лошадях...

— Невестку тебе не привел?

— Невестку! Не то что жениться — в бане помыться его не заставишь. Да и не в том я пока возрасте, чтобы полеживать на нарах, переложив все на невестку. Хусайна-то я, Ишмухамет, молодой еще родила. Самое большее двадцать семь мне тогда было. И-и, какуй двадцать семь, наверно, около двадцати пяти, а?

— А сама где работаешь? — поспешил спросить Ишмухамет-Ихсанбай, зная привычку Раузы жевать одно и то же, пока вконец не измочалит.

— Я-то? Бэй, ты, раз только что вернулся, конечно, и ведать ничего не ведаешь. Я, Ишмухамет-кордаш*, большим ведь человеком стала. Спасибо бартии и быравительству, — это Рауза как бы по-русски ввернула, — сильно они женщин возвысили. Всим — полная воля. Кем я была? У поганца Ихсанбая, чтоб ему в могиле покоя не знать, в уборщицах ходила!

— А теперь? — У Ишмухамета-Ихсанбая в голове зашумело. Нервно пощипывая бороду, он присел на корточки перед разгоравшимся в печи огнем.

— Атак, к тому я теперь и подвожу, кто я сейчас. Раз жила пристойно, с соизволения Всевышнего приняли меня в бартию. А когда приняли, как тебя, Ишмухаметулла-кордаш, все путем пошло. Члены капирата** выдвинули меня в продавщицы. Ладно еще я в сельсовете, при этом пельменном жеребце Ихсанбае, научилась на счетах считать. Спицальность, значит, получила. Без нее не выдвнешься. Кабы у твоей Зарифы была спицальность, мужет, вместо того, чтобы блудничать день и ночь с Ихсанбаем, трудом себе на жизнь зарабатывала бы. Я ведь застала их за этим — тьфу, прости господи! — делом. Поставили беднягу Шангарея у ворот лаять, а сами блудной игрой занялись. Вижу в окно: Ихсанбай, гори он вечно в аду, голышом за Зарифой по дому скачет...

Не обращая внимания на тяжело задышавшего собеседника, Рауза продолжала:

— Вот так, кордаш. Жизнь — колесо, когда-нибудь да задавит... Скажи-ка, смог бы ты убить детишек, которых сам же породил?

— Брось, пустое несешь, — просипел Ихсанбай, почувствовав озноб, от которого расплывшийся в печи огонь не мог спасти его.

— Вовсе не пустое. Косточки пропавших мальчиков нашлись бы, кабы они как-то сами погибли, но ведь до сих пор не нашлись. Не иначе как этот Газраил, об Ихсанбае говорю, утопил их в болотной кокорке. Весь аул так считает. Будь Ихсанбай сегодня жив — забили бы его насмерть камнями!

— Пустое! С чего бы Ихсанбай зуб на детишек имел?!

— Ах-ах, какырас об этом говорю: близнецов-то покойная Гульбану родила от него. Вдосталь понадругались оставшиеся в тылу мужчины над сол-

* *Кордаш* — ровесник, сотрапезник, здесь — в значении «современник».

** *Капират* (искаж.) — кооператив. Имеется в виду сельское потребительское общество.

датками, а больше всех — проклятый Ихсанбай. Надо было ему следы замести...

— А сама ты... — Ихсанбай, стараясь скрыть злость, закурил. — Сама-то святая была?

— Ах-ах, что сама? Мужет, я никогда не заставила бы своего Хусаина смотреть в глаза отчима, хоть таким, как я, женщинам в соку мужики проходу не дают. Но тут кузнец Сибатулла, земля ему пухом, посватался.

— Посватался?

— Ну да. Замуж выйти меня попросил.

— Так у него ведь жена была.

— Не было у него жены! — Рауза, вывернув подол платья, громко высморкалась.

— Да была же! Кто старуху Фаузию не знал!

— А они вместе не спали. Бедняга Сибатулла сам мне об этом сказал. А коль вместе не спят, какая она жена? Зачем мужчину зря при себе держать, а?

Ихсанбай кинул уже начавший обжигать пальцы окурков в огонь.

— Как я понял, Сибат... агай... умер? А старуха Фаузия? Жива-здоровая? Где Ихсанбай?

— Атак, не писали, что ли, тебе? Все ведь они поумирали! Все! Хоть бы Сибатулла мой остался жив! И Фаузия, и Ихсанбай, и Сабия. Уй, ты уж о той ночи не спрашивай. И Зарифа той же ночью пропала. На месте Ихсанбаева дома только куча углей и золы осталась. Люди подходить к ней боятся. А твой Шангарей говорит: ночью приходит туда Фаузия, вся в белом, роется в золе, косточки Янтимира с Биктимиром ищет...

— Вышить бы, Рауза.

— Ах! — Рауза вытащила из-за пазухи бутылку. — Сама-то я непьющая. Но вот прихватила, чтобы горе твое разделить. Выпей, Ишмухамет, и Шангарей отыщи, приведи домой. Он без тебя, бедняжка, совсем измаялся. И Гульбану не может забыть. Посмотришь на него — безумный, а огонь любви, оказывается, и безумных не щадит, а?

* * *

Когда Рауза ушла, оставив запах карамели, пряников и еще чего-то вкусного, Ихсанбай прилег, подложив под голову думку Зарифы. Да, немало приятных ночей провел он на этих нарах. Зарифа дала ему то, чего другие женщины, с которыми он сходилась урывками, ненадолго, дать не могли. Правда, его отношение к Зарифе сильно отличалось от отношения к Гульбану. Гульбану вызвала жгучее чувство, словно бы опалявшее его и изнутри, и снаружи. Всего лишь раз испытал Ихсанбай телесную близость с ней, но ее испуганно-умоляющие глаза и солоноватый вкус губ преследовали его с тех пор, вызывая сердечную муку.

Нет, к Зарифе не тянуло Ихсанбая так сильно, но чего только она не делала, чтобы удовлетворить его мужское желание! Искусная в любовных играх, она обладала способностью пробуждать каждую клеточку его тела, превращала его в грубого зверя. Ее стоны сквозь зубы лишь сильнее распяляли Ихсанбая. Он уходил, оставляя ее предельно изможденной, но к следующему его приходу она опять была готова все повторить, встречала, обрызгав колышащиеся груди одеколоном, сияя, как полная луна.

Эх, жизнь! Где теперь кости Зарифы — шайтан знает. Что было бы сейчас, не встань она той океанной ночью на его пути? Наверно, сразу узнала бы его. Кто-то, а уж она бы не ошиблась.

Рауза наказала отыскать Шангарея. На кой ему, Ихсанбаю, сдался этот идиот? Он Ишмаматова выроodka всегда терпеть не мог, а теперь возись с ним, прикидывайся отцом! Как такое испытание выдержать?

После ухода Раузы прошло довольно много времени. Ихсанбай поднялся, подошел к окну. Вдали виднелась горная гряда с горой Куктау, внутри которой он скрывался. Его мучительное одиночество, неприкаянность остались там. Теперь, если что, могут привязаться только к его документам, а то и не привяжутся: кому захочется копаться в жизни потерявшего нормальный человеческий облик калеки?

Выпитая водка, что ли, подействовала — Ихсанбай почувствовал, что голоден как волк. Сходил в сени за своей котомкой, достал из нее замороженное барсучье мясо и, не дожидаясь, пока в казане вскипит вода и мясо сварится, отрезал кусочек, принялся его разжевывать.

* * *

Наевшиеся за ночь лошади встретили Хашима коротким радостным ржанием. — Что, скотинки, пить хотите? Сейчас...

На Саврасом, ведя Гнедуху в поводу, поехал к речке.

По должности Хашим — сторож молочной фермы, но частенько и подвоз сена ложится на его плечи. Скотники Ягафар с Сайгафаром, его двоюродные братья, пользуются покладистым характером старшего по возрасту родственника, находят всякие поводы отлынивать от выполнения своих хлопотных обязанностей. Вот Хашим и заботится о закрепленных за фермой лошадях, ездит за сеном. Скандалить с хитрыми братцами, выставлять их в невыгодном свете не хочется, не чужие ведь, родня все-таки. К тому же надо как-то улучшить отношения с заведующим фермой Саяфом, младшим братом Ишмухамета, задобрить его усердием в работе.

Саяф — своего рода неразгаданная загадка. Смотрит на Хашима косо, будто мстит ему за то, что Ишмухамет в свое время связался с Зарифой. Саяфу дела нет до того, что Хашим с Зарифой хоть и рождены одной матерью, характерами совершенно не были схожи. Хашим свою красивую на вид, но легкомысленную сестру не понимал. Теперь вспомнит иногда о ней и захочет о чем-то спросить, да нет уже ее. Ночь, поглотившая Ихсанбая с Фаузией, поглотила и Зарифу — пропала бесследно...

Когда Хашим запряг лошадей и отправился, завернувшись в тулуп, за сеном, снова нахлынули думы, от которых еще вчера вечером засаднило в сердце. В юности дал он себе волю, попробовал пожить бесшабашной жизнью, потом прошел войну — все равно что в аду побывал, и любви, и тоски отведал, а все-таки ни себя, ни людей, ни мироустройство до конца понять не мог.

Вспомнился недавний разговор с Мирхайдаровым. Председатель после утреннего наряда попросил его задержаться. Закурили. Затянувшееся молчание нарушил Мирхайдаров:

— От дочери есть вести?

— Мадина часто пишет.

— А зять? — Голос Мирхайдарова дрогнул. Почему? Знает, что Абдельхат арестован?

— А что, думаешь, зять не способен письмо написать?

— Да нет... — Председатель раздавил окурки в пепельнице. — Я просто так спросил. Сам как — жениться не собираешься?

— Это тебе тоже сверху велели выяснить? — разозлился Хашим. — Спросят — ответь: горячий больно, имел привычку бить жену, поэтому не склонен создавать новую семью.

— Брось, Хашим, я же по-дружески спросил!

— Разве начальники могут дружить с подчиненными?

— Опять двадцать пять! Станный ты человек, Хашим. В партию не вступаешь, от ответственной работы отказываешься. Дурачка Шангарея в караулке пригред, только с ним и ладишь. Не понимаю я тебя.

— Ты знаешь, Азат, сколько звезд на небесах? — неожиданно спросил Хашим и пожалел, что назвал председателя по имени, как-то по-панибратски это получилось.

— Кто их считал?.. Ты давай-ка не уводи разговор в сторону!

— А я и не увожу. Я это к тому, что никому не приходит в голову выстроить звезды, как солдат, в одну шеренгу и выровнять. Людей в мире тоже не счесть, и они разные, а вы почему-то стараетесь поставить всех в строй, сделать одинаковыми. — Сказал Хашим так и ушел, успев заметить на лице Мирхайдарова досаду. Должно быть, он что-то прослышал и хотел еще до чего-то докопаться. О зяте спросил...

Теперь вернулась Мадина, рассказала о своем горе навестившим ее женщинам, и арест Абдельхата уже ни для кого не секрет...

Хашим выехал с фермы на заре. И подобно тому, как звездный рой в небе поглощался пламенем зари, его мысли постепенно поглощались одной главной мыслью, вернее, все более усиливавшейся тоской. Если люди в песнях объясняют грусть-тоску Луны недостижимостью для нее самой яркой звезды небосклона, именуемой вечером Зухрой, утром — Сулпан*, то и тоску Хашима можно объяснить именем, имя это — Гульбану. Вот он поравнялся с ее могилой. Сердце забилось чаще, к горлу подступил комок. Хашиму стало жарко, он сбросил с плеч тулуп, выпрямился в санях. И подосадовал на себя: заволновался, будто подросток, впервые пришедший на свидание с любимой. Под сорок уже ему, не к лицу зрелому мужчине такое состояние. Но что поделаешь, сердцу ведь не прикажешь...

Лошадь, воспользовавшись тем, что хозяин ушел в свои мысли, плелась еле-еле. Хашим поддернул вожжи, приподнял кнут.

— Давай, скотинка!..

* * *

В окошке пристроенной к сараю каменной клетки обозначилось зимнее утро. Разукрашенные изморозью стекла становились все светлей, а потом порозовели и вспыхнули в лучах восходящего солнца.

У Сабилы вошло в привычку наблюдать за рождением дня через это единственное окошко, связывавшее ее с внешним миром. Солнце, играя в стеклах разноцветными узорами, поднялось выше, приняло в свои объятия весь окружающий мир, чтобы, как заботливая мать, купать в море света все живое — людей, скот, деревья, — пока не скатится, утомившись, за горные хребты.

Сабилы теперь — тоже мать. После стольких неудачных беременностей наконец-то вроде бы достигла счастья материнства. Ах, какие это минуты, когда ребен-

* Зухра и Сулпан — башкирские названия планеты Венеры.

нок, покинув чрево матери, возвещает отчаянным криком о своем рождении! Мечтала Сабия, что будет, как небесное светило, ласкающее мир, нежить своего малыша, своего Абубакира, ласково будить, ласково укладывать спать. Однако ребенка она лишь выносила и родила, дядя и его жена тут же отобрали его у нее. Правда, поначалу енгэ, Рашида, приносила малыша покормить материнским молоком. Глядя в окошко своего жилища, Сабия в нетерпении ждала, когда енгэ вынесет из дома белый сверток со спящим младенцем. Потом она прикасалась соском к его розовым губкам, мальчонка в полусне как бы нехотя брал сосок в рот. Почуввав вкус теплого молока, вздрагивал, окончательно просыпался и принимался торопливо, захлебываясь, сосать. Насытившегося ребенка две женщины, действуя одна осторожней другой, снова заворачивали в одеяльце.

И за эти счастливые минуты Сабия благодарна небесам. Оставшись одна, утешала себя мыслью, что в большом доме условия для ребенка лучше: там тепло, светло, есть кому за ним присматривать. Но спустя некоторое время Абубакир изменил свои повадки. Немного пососав, он отрывался от груди, гугукнул, будто вступив в разговор с матерью, разевал беззубый рот в радостной улыбке.

Рашида всполошилась:

— Астагафирулла! Так ведь он никогда не насосется. Еще простудит в этом каменном мешке легкие!

Соглашаясь с ней, Сабия сказала:

— Может, мне самой... ходить в дом... кормить моего сыночка там?

— Боже упаси! Как бы дядя не услышал тебя! — Енгэ опасливо глянула на дверь. — Ты для всех — просто кормилица, не забывай об этом!

— Забыть-то не забываю... — Сабия почувствовала, что кровь у нее прилила к лицу. — Нет, не забываю...

Рашида неожиданно взяла разнежившегося на коленях матери малыша и начала завертывать его в одеяльце, приговаривая:

— Сыночек у нас уже подросток... теперь ничего не случится, если перейдем на коровье молоко...

— Енгэ-э! — умоляюще вскрикнула Сабия. В ответ хлопнула дверь.

С тех пор прошло уже довольно много времени. Сабия по-прежнему встает на рассвете у окошка и ждет, надеясь, что откроется дверь большого дома и енгэ вынесет белый сверток с дорогим ей, Сабие, маленьким существом. Но енгэ ребенка к ней больше не приносит.

* * *

Мадина впервые приготовилась уложить своего младенца в подвешенную отцом на матице колыбель. В этой хранившейся на чердаке зыбке когда-то лежала она сама, потом качала в ней братишек. Сколько времени с тех пор прошло! Не сгнило ли у ней дно? Впрочем, оно же соткано из конского волоса, чтобы влагу не задерживало, и не гниет. Ах, мама ведь говорила, что бабушка Шахарбану заказала зыбку для нее, дочки своей, то есть для мамы Мадины. Она это, та самая колыбель...

— Бисмиллахи...*

* Восхваление Аллаха, первое слово мусульманской молитвы, которым верующие предвзвешивают важные дела.

Малыш зачмокал губами, как бы собравшись пососать, но глаз не открыл.

— Спи, сыночек, и пусть на четырех углах колыбели четыре ангела охраняют твой сон!

Что еще, касающееся младенца, знает Мадина? А... нож нужен! Если придется ненадолго отлучиться, оставив не достигшего сорокадневного возраста ребенка без присмотра, надо на него, произнеся «бисмиллу», положить нож. Иначе...

— Можно к вам?

Из-за занавеси на колыбели Мадина не сразу увидела, кто к ним пришел.

— Входите, входите!.. Галима, ты? Встреться в другом месте — я бы тебя не узнала. Как ты изменилась!

Заметно раздавшаяся в теле, округлившаяся Галима поздоровалась с Мадиной, протянув обе руки.

— А ты все такая же. Нет, еще красивей стала.

— Городские калачи, наверно, сказались. Ну, как поживаешь?

— Дочку ращу...

— За кого замуж вышла?

— Ни за кого... Не каждой достается приехавший из района начальник. Эх, счастливая ты. Хотя и арестован, а есть у твоего ребенка законный отец.

— Каждый ребенок, подружка, рождается со своим счастьем. Работаешь? Где?

— На ферме, где ж еще? Коров дою. А ты, наверно, в канцелярии или в клубе устроишься? Как-никак в Москве училась.

— Мне, Галима, ферма привычней.

За окном показалась въезжающая во двор подвода. Мадина схватила самовар.

— Отец приехал. Раздевайся, Галима, вместе чаю попьем.

— А ты знаешь, Ишмухамет в аул вернулся. Видела бы, какой он!..

— Знаю. Видела. — Внутри у Мадины будто что-то оборвалось, она содрогнулась, как от озноба. — В избе у нас вроде бы тепло, что это меня затрясло?.. Ты раздевайся, раздевайся. Вода у меня в казане вскипела, сейчас перелью в самовар...

— Я тороплюсь. По пути на вечернюю дойку зашла. Взглянуть на твоего... — Галима кивнула в сторону колыбели.

— Мальчик у меня. Даутом его запишу, так друга Абдельхата звать.

— Здорово!

— Почему здорово?

— Да я просто так... Слушай, если бы знала, что Абдельхат окажется... врагом народа, ты вышла бы за него?

— Галима! — Мадина задохнулась от гнева. — Ты мне... больше об этом...

— Все, все! Сболтнула с чужих слов. Ладно, я пойду. Не сердись, подружка!

Галима ушла так же внезапно, как пришла. Мадина обессиленно опустилась на край нар. Началось! Да, это только начало судов-пересудов в ауле... Ой, сейчас ведь отец войдет, лучше будет, если не увидит ее в расстройстве. Он радуется — дочь приехала, а она своим видом радость у него отнимет.

Мадина взяла себя в руки. Быстренько перелила кипяток из казана в самовар, насыпала в трубу жарких углей. Вытащила ухватом из печи чугунок. В избе вкусно пахло тушеной картошкой.

Спасибо Магинур-инэй, сметаны и масла занесла, будет заносить, пока корова не отелится... Налив в кумган теплой воды, Мадина повесила себе на плечо полотенце, — отец распряг лошадь, вот-вот войдет, руки вымоет...



Глава четвертая

Камалетдинов собрался с работы домой раньше, чем обычно.

Площадка перед двухэтажным, срубленным из сосновых бревен зданием райкома была очищена от снега. «Конюх Жиханур-агай и уборщица Гульмарьям-апай любят порядок», — удовлетворенно отметил Аюп Газизович.

К вечеру похолодало, но чувствовалось, что дни уже повернули на весну. С удовольствием вдыхая свежий, бодрящий воздух, Камалетдинов направился к райкомовской конюшне, чтобы приласкать своих любимцев. В конюшне — пять лошадей, две из них — из потомства тиряклинского Солового. Айкашка — жеребец с белой звездочкой на лбу — первым учуял приближение хозяина, заржал. Судя по овсу в кормушках, Жиханур-агай был где-то рядом. И в самом деле, скрипнула боковая дверь и в конюшню просунулась голова в лисьем малахае.

— А, Камалетдинов-кустым, оказывается, это ты. Надо куда-нибудь поехать?

— Сегодня — нет... Сена у тебя достаточно?

— Пока дороги не развезло, не мешало бы подтянуть трактором стог с Карагай-тубы.

— Завтра напомнишь мне.

— Ладно. — Старик долго разговаривать не стал, скрылся за боковой дверью.

— Да, скотинки, весна наступает, весна...

Камалетдинов приласкал лошадей: той лоб погладил, этой — холку... Жеребцу по кличке Чапай дал припасенный на такой случай кусочек сахара. Чапай к этому привык, не дашь, так начинает ощупывать чуткими губами его карман. Наверно, нет животных умней лошадей. Можно сказать, душа в душу с конем прошел Аюп войну. Как тогда сдружились его Чубарый и Игренька Абдельхата! Когда Игренька пал, сраженный осколком мины, из глаз Чубарого горошинами покатались слезы. Как он ржал, как бил копытом по земле, стараясь поднять дружка! Потом перестал есть, исхудал, а худой конь командиру не спутник, пришлось расстаться с ним.

Сколь бы ни старался Аюп Газизович не думать об Абдельхате, не выходит он из головы. Не верится, что парень, которого знал смолodu, к которому относился как к сыну, как к близкому другу, мог стать врагом народа. Но... Прислали из Москвы бумагу с указанием проверить благонадежность его семьи, родни. А откуда у выросшего сиротой Абдельхата взяться родне? Знает лишь его жену, пообщался с ней дважды. Первый раз в Таулах, когда они собирались уехать в Москву на учебу, второй — в Москве, в студенческом общении.

Камалетдинов побывал тогда в столице на совещании по сельскому хозяйству в числе приглашенных из республики секретарей райкомов партии и вернулся оттуда с Маликой. Красота Мадины его, что ли, раззадорила, — взял да скоропалительно женился там. Малика по-своему тоже красива. Познакомился с ней в ресторане при гостинице, был под хмельком после дружеского ужина, и этого хватило, чтобы недолго думая предложить понравившейся молодой женщине руку и сердце. Малика ответила согласием. Пришедшему на вокзал проводить их Абдельхату Камалетдинов сказал шутливо: «Между твоей Мадиной и моей Маликой разницы нет». Имел в виду, что обе красивые. Теперь-то он понял: между чистосердечной певуньей Мадиной и холодной, высокомерной Маликой разница — как между небом и землей. Но что теперь поделаешь: близок локоть, да не укусишь.

До своего дома, расположенного напротив райкома, Камалетдинов дошел быстро. Но не спешил зайти, закурил. Весна делает свое дело: во дворе образовалась огромная лужа. Прорыть бы канавку, отвести воду в сторонку, да в хозяйстве у них лопаты нет. Ладно, не беда. Завтра попросит Жиханур-агая заглянуть сюда, он такой блеск наведет, что двор словно заулыбается.

Пока, зайдя домой и раздевшись, мыл руки под рукомойником, опять нахлынули мысли об Абдельхате. Абдельхат не первая его утрата: много друзей потерял Аюп за свою жизнь, особенно на войне. Как еще сам остался жив в это кровопролитное время. Может, спасло его то, что после убийства родителей попал в детдом, научивший его не просто жить, а выживать. Потянувшись к полотенцу, он увидел в зеркале свое лицо. М-да, неважно оно выглядит. На лбу образовались складки, вокруг глаз — сеточки морщин, ямочки на щеках, придававшие ему в детстве миловидность, превратились в две глубокие борозды. Лишь почти сросшиеся над переносицей брови и острый взгляд остались от прежнего Аюпа.

Появилась в развевающемся халате Малика.

— Ну, как ты? — Запнулась, увидев недовольное лицо мужа. — Ужин... на столе.

Дочь не подавала голоса, поэтому Аюп, не заходя в соседнюю комнату, сел за стол. Было видно, что Малике, проведшей день в одиночестве, если не считать ребенка, хочется поговорить, но она не находит, с чего начать.

— Флорида спит? — спросил Аюп.

— Кажется. С час прошло, как закрыла глаза.

— Врач приходил?

— Я сама с ней сходила.

— К кому?

— К главврачу, Лукману Талиповичу. Он вызвал эту... русскую врачиху.

— Лидию Николаевну? Она же — хирург, а нужен, наверно, психиатр.

— Ну, не знаю. Она осмотрела Флориду и сказала, что нужно сделать анализы. Ребенок, говорит, вроде бы здоров, видимых причин нарушения сна нет... Добавить тебе супу?

— Угу...

— Я с лосятиной, которую лесник прислал, сварила.

— Угу...

— Заодно я и в дом Лукмана Талиповича, к его жене заглянула. Мальчонка у них уже бегает.

— Угу...

Разговор на этом прервался. Если бы дочка не маялась бессонницей, Аюп дома, может быть, вовсе ни о чем не разговаривал. Но Малика не из тех, кто быстро отказывается от намеченной цели.

— Как-то к нам зашла одна молодая женщина, тебя хотела повидать, — сказала она, чтобы продолжить разговор.

— Когда?

— Давно уж. Недели две-три назад.

— Кем назвалась?

— Женой этого... ты сказал, что бумагу о нем из Москвы прислали.

— Абдельхата?!

— Да, его женой. Вроде она беременна...

— И ты только сейчас мне об этом говоришь?!

— Бэй, я думала, тебя не интересуют случайно забредшие в твой дом женщины.

Аюп Газизович вскочил с места, в ярости швырнул ложку на стол.

— А ты сама здесь... не случайно?

Малика прикусила язык. Да, ей с ее прошлым лучше помалкивать.

Камалетдинов больше ничего не сказал. Снял с вешалки ватную телогрейку, перекинул через плечо и ушел во двор курить.

* * *

Оставив принявшуюся мыть пол Мадину и зашедшую понянчить ребенка соседку Магиру одних, Хашим отправился на ферму. Ехал по дороге, испещренной выступившими из-под ноздреватого снега комками конского навоза, клочками сена и соломы, предавшись мыслям, одновременно и радостным, и грустным. Радостным оттого, что стал дедом, а грустным оттого, что Гульбану не дожидла до рождения внука. Беспокоило еще и подавленное настроение Мадины. Уж не пришло ли ей в голову, что с таких лет останется вдовой?.. На работу, говорит, выйду. А какое сердце должен иметь он, Хашим, чтобы позволить ей оставлять ребенка без присмотра?!

Возле клетки, где хранился фураж, на куче соломы в санях что-то чернело. Вроде бы человек лежит. Хашим повернул туда.

— Эй, кто там?

— Не кто, а я!

Оказалось — Шангарей. Греется под мартовским солнышком. Вон и коровы с удовольствием подставили спины под его долгожданные лучи. Шангарей боится быка по кличке Гифрит, поэтому, видать, зарылся в солому.

— Что ты тут делаешь? — спросил все же Хашим.

— Шмотрю. В небе война идет.

— В небе? А кто там воюет?

— Белые и черные ангелы.

— Говорят, все ангелы — белые, откуда черные могли взяться?

— Они из нашей трубы вылетают. Их шегодня больше.

— Выдумываешь ты все!

— Не выдумываю.

— Я думал, ты дома с отцом сидишь.

— У меня нет отца.

— Ты что, не сходил домой, не видел отца?

— Ы!

— Что — «ы»?

— Ы, не пойду домой. Там теперь убыр* живет.

— Брось, Шангарей, не говори так. Война ведь была, я видел людей, покаленных еще хлеще. Хоть какой, а все-таки он — твой отец.

— Нет, отец умер. Я буду жить ш тобой в караулке.

— Но ведь у меня Мадина вернулась, я буду жить у себя дома. Кто еду тебе будет готовить?

— Не надо. Еды много. Молока — во! По горло. Хлеб апай-доярки дадут.

Шангарей не только неразумен, но и упрям. Хашим попытался переубедить его новыми доводами:

* Убыр — мифическое существо, упырь.

— И-и, если бы вернулся мой отец, разве я усидел бы тут? Наверно, у него много медалей. А может, он и сахар привез...

Шангарей пропустил это мимо ушей.

— А детенок у Мдины крашивый?

Хашим улыбнулся.

— Красивый!

— На меня похож?

— С чего это он должен быть похожим на тебя? Он на своего отца похож.

— Хы!.. А где он шпит?

— В колыбели.

— И мой отец лежит в колыбели. Далеко.

Хашим бросил окурочек сигарки в лужицу.

— Тебе хоть говори, хоть не говори!

— Не говори. Я шам жнаю.

— Черта с два ты знаешь!

— Жнаю!

Раздосадованный Хашим двинулся дальше. Подумал: у Ишмухамета хватило сил вернуться из ада, а прийти на ферму повидать сына не может. Шангарей валяется где попало, еще простудится...

* * *

Мирхайдаров, послав уборщицу правления за Мاديной, задумался о ней. Вспомнилось время, когда по всей республике искали талантливых юношей и девушек для направления на учебу в Московскую консерваторию. Способных молодых людей нашлось немало, но такой голос, как у Мдины... Короче говоря, тиряклинская девушка привлекла к себе особое внимание, послали ее учиться. Когда случалось выступить в школе, Мирхайдаров непременно хвалил Мадину, гордился тем, что в Тиряклах выросла такая девушка. При встречах с Хашимом спрашивался, как она там, есть ли от нее вести. Дома за чаем тоже нередко заходил разговор о ней, не сходила Мадина и с языка Сарбиназ, его жены. И нате вам — нежданно-негаданно Мадина вернулась, да не одна, а с ребенком на руках...

Абдельяхата Мирхайдаров тоже хорошо знал. Трудолюбивый был паренек, куда ни пошлют, там и работал, не делил работу на чистую и грязную. Войну до конца прошел, полна грудь медалей. А теперь вот позвонил Камалетдинов: велят, говорит, держать семью Абдельяхата под контролем. И что же, в горячее посевное время, когда человеку, чтобы всюду поспеть, впору разорваться на пять частей, Мирхайдаров должен сидеть и караулить Мадину? Будто иных забот у него нет... Снега нынешней весной выпало много, таял он неторопко, а сверху ведь потребуют отапортовать о завершении сева к Первомаю! Ни приличного агронома не пришлют, ни порядочной техники нет, мужчин — по пальцам пересчитать. Обрадовался было, узнав о возвращении Ишмухамета, сходил повидаться с ним — ему самому, оказалось, помощь нужна, еле-еле душа в теле...

Ага, Мадина пришла. Мирхайдаров встал, решив, что будет неприлично, если встретит молодую женщину сидя за столом.

— Здравствуйте, Азат-агай! — Мадина вложила худенькую руку в ладонь председателя колхоза.

— Здравствуй! Садись, рассказывай, как там Москва...

Мадина покраснела.

— Не знаю. Я мало что успела увидеть...

Мирхайдаров внимательно посмотрел на нее и понял, что перед ним сидит не простодушная девушка, какой ее помнил, а многое пережившая, испытывавшая нужду и горе женщина.

— Да-а... — протянул он, соображая, как повести разговор дальше. — Вот... скоро сев, а рабочей силы в колхозе маловато. Так уж у нас: нос вытащишь — хвост увязнет, хвост вытащишь — нос...

— Зачем... меня вызвали?

— Тебя-то? Сама не заходишь... У нас клуб стоит пустой, человека, чтоб наладить там работу, нет. Агитбригаду создать, концерты ставить. Может, ты возьмешься?

— Я подумаю, агай. Ребенок ведь у меня еще маленький.

— У нас в аулах не принято ссылаться на ребенка. Как говорится, в поле родится, так в поле, на ферме родится, так на ферме растет...

Мадина поднялась.

— До свиданья, Азат-агай!

Она ушла, оставив в пропитанном запахами табака, солярки, дегтя, конской сбруи помещении какой-то особый аромат, присущий, может быть, молодости или красоте. Мирхайдаров проследил через окно за удаляющейся женской фигурой. Есть в Мадине помимо красоты еще что-то, что заставило его, пятидесятилетнего мужчину, внутренне вытянуться перед ней в струнку, как в солдатском строю, и растерянно мямлить в разговоре. Ну ладно, в работе всяко бывает, в следующий раз он поговорит с красавицей пожестче. Раз велено держать ее под контролем, придется выполнять приказ.

* * *

Настроение у Ихсанбая после того, как побывал в Таулах, в военкомате, заметно поднялось. Военком, молодой еще майор с покалеченной кистью левой руки, увидев перед собой изуродованного донельзя человека, постарался поскорей выпроводить его. В долгие ночи, проведенные в пещере, Ихсанбай тщательно обдумал легенду о том, как он, то есть Ишмухамет, был назначен сопровождающим в воинский эшелон, как эшелон якобы попал под бомбежку, как вытащили его из горящего вагона, и все это изложил в письменном заявлении. Может быть, в придуманной им истории не все концы с концами сходятся, но за годы войны были разбомблены сотни эшелонов, госпитали, в которых будто бы лечили его, давно свернуты. Их документация, наверно, хранится в каких-нибудь архивах, но кто будет рыться в них, разбираться в судьбе одного из миллионов людей, покалеченных войной?

— Эх, теперь уж нам на гармошке не сыграть! — просипел мнимый Ишмухамет, намеренно намекая на скрюченные пальцы военкома.

— А вы играли?

— Что уж об этом вспоминать! — махнул искривленной рукой «Ишмухамет». — И жена меня не дождалась. Кому калека нужен?

Строгое выражение на лице военкома сменила жалость.

— Ладно, агай, поезжайте домой, — сказал он. — Поставим вас на учет, я позвоню вашему председателю, вам помогут.

— Спасибо, спасибо, браток! Вот ведь, не перевелись у нас добрые люди... — Ихсанбай, опираясь на посошок, поковылял к двери, обернулся у порога: — Не по своей воле человек становится калекой. Кабы не вытащили меня из огня, кабы сгорел, не пришлось бы испытать такие муки...

Теперь Ихсанбай чувствует себя в доме Ишмухамета хозяином. Правда, скота во дворе нет, после смерти Зарифы всю живность разобрали ее родственники. Шангарей зимой обитал на ферме, летом здесь, в летней кухне. Он ворота не открывал, пролезал под ними, считая себя собакой; в том месте, где пролезал, в земле образовалась канавка. Поскольку Ишмухамет ходил в начальниках, дворовые строения добротны, сарай, баня срублены из сосновых бревен, довольно большой картофельный огород обнесен штакетником. Словом, хозяйствовать здесь можно. Только ведь Ихсанбай самостоятельно хозяйствовать не умеет, привык жить на всем готовом: прежний двор обустроил отец, о еде заботилась мать.

Да, тяжело ему будет без женщины в доме. Конечно, в его положении мечтать о райской гурии неуместно. За такого не то что Мадина — растолстевшая Галима замуж не пойдет. К тому же он привык к Сабиле — жене покорной, безответной. Вообще в ауле много одиноких женщин, но, опять же, кто польстит-ся на такого «красавца»? А может, попробовать подъехать к Раузе, хоть и старовата она? Работает продавщицей, детьми не обременена, хозяйство повести может. Если согласится, то ясно как день, что окружит его заботой, дождинке, как говорится, не даст на него упасть. Она всю жизнь мечтала о замужестве, и за калеку выйдет. В самом деле, набраться, что ли, решимости да и сделать предложение Раузе?

* * *

Енгэ, Рашида, после того как решила перевести Абубакира на коровье молоко, все же передумала, и Сабиля еще некоторое время выдаивала и отдавала для малыша свое молоко. Но ее груди, не чувствуя детского тепла, увяли, висят пустые, будто и не торчали, как тугие бурдюки, выставив розовые соски.

Пропало у Сабилы молоко, и сына видит она редко. Каменный пристрой к сараю, где Сабиля живет, был когда-то клетью какого-то бая, а теперь превратился в прачечную расположенной по соседству больницы, в которой главврачом работает ее двоюродный дядя Лукман. Сюда приносят из больницы грязное белье и забирают обратно, когда Сабиля все выстирает и выгладит. Она сама и дрова для прачечной колет, и печь топит, и за дядиной скотиной ухаживает.

Как она сюда попала?

Сабиля до сих пор не может решить, радоваться она должна тому, что произошло в Тиряклах, или горевать.

...Она лежала, схватившись за разболевшийся живот, когда послышался голос свекрови, Фаузии:

— Килен, ты дома?

— Дома.

— Собирайся, ты сейчас уедешь! Отбери и сложи в узел лучшее из твоей одежды. — Войдя в горницу, Фаузия отцепила от своей косы связку ключей, кинула ее Сабиле. — Достань из сундука золотые и серебряные ложки, свои украшения тоже положи в узел. Я запрягу лошадь.

Спрашивать, куда уедет, зачем, Сабия не стала. Свекровь ничего зря не затеет. Значит, есть причина. С трудом уняв волнение и дрожь в руках, Сабия принялась отбирать свои вещи, несколько раз случайно коснулась одежды Ихсанбая и подумала, холодея: старуха затеяла это, скорее всего, без его ведома, а он вдруг придет — и будет опять скандал! Когда-то Сабия любила Ихсанбая и душой, и телом, а теперь... Довести мысль до конца у нее не хватило сил. В животе трепыхнулся ребенок, и она заторопилась, начала собираться быстрее.

— Лошадь готова.

— Ой, я, кажется, еще не все собрала.

— Человек не то что за две-три минуты — за целую жизнь не успевает собрать все. Присядем... Теперь слушай меня внимательно. Ты уедешь в Таулы к своему двоюродному дяде Лукману. Я списалась с ним, он тебя примет. Ихсанбай может погубить и этого ребенка, поэтому поживешь там. И никто здесь не должен знать об этом. Я найду что сказать Ихсанбаю. Поняла?

Сабия хотела спросить, а как же быть с лошадью, но волнение помешало задать вопрос.

— Родишь благополучно — пусть ребенок подрастет там же. — Голос Фаузии дрогнул. — Постарайся, насколько сможешь, чтобы не только телом, но и умом рос. Это золото и серебро — вознаграждение Лукману за его доброе отношение к тебе.

— Кайнам!.. — Сабиле впервые за годы совместной жизни захотелось обнять эту суровую старуху, но Фаузия уже встала.

— Это все, что я должна была сказать. Лошадь сыта, отдохнула, Лукман решит, как с ней быть. Не жалею ее. Даю тебе и ребенку мое благословение. Аллах акбар! Так они простились.

А через несколько дней Лукман сообщил Сабиле о пожаре в Тиряклах, о том, что Ихсанбай и ее свекровь погибли в огне.

Она жила затворницей в каменном пристрое к сараю. В нем на нарах и родила. Роды принимал дядя, он ведь доктор. По его мнению, мальчик родился здоровенький. Когда Сабия немного пришла в себя, Лукман зашел поговорить с ней. Сказал, что она может остаться жить здесь, но с условием: мальчик станет его приемным сыном. Они с женой люди уже не молодые, детей у них нет и не будет, им нужен наследник. Что Сабия может дать ребенку без своего дома, без мужа? А у них малышу будет хорошо, они для него ничего не пожалеют. Чтобы не возникало кривотолков, Лукман с Рашидой объявят, что усыновили малютку, родившегося в другом районе, а ее, Сабилу, наняли кормилицей. Для окружающих она будет приезжей, потерявшей своего ребенка после родов. Согласна?

Что Сабиле в ее положении оставалось, кроме как согласиться? Другого выхода у нее не было. Ах, если бы в этот момент рядом была свекровь! Что она посоветовала бы? Как она хотела, как ждала внука!..

Потом дядя показал свидетельство о рождении Абубакира. В графе «отец» значился Карагужин Лукман Талипович, в графе «мать» — Карагужина Раиса Максимовна.

Сегодня Лукман Талипович, — он запретил Сабиле называть его дядей, чтобы отвыкла от этой привычки, а то еще при посторонних людях так назовет, — напомнил, что прав на Абубакира у нее нет. Зашел в ее прачечную, присел, расстегнув пуговицы полушубка, на край нар.

— Ну, как настроение, Сабия?

— Да как сказать... — отозвалась она, снимая с протянутого через помещение шнура высохшее белье. — Стираю вот да сушу, так жизнь и проходит.

— Не у нас одних она проходит. Вон в больнице чуть ли не каждый день кто-нибудь умирает.

— Что ж поделаешь... Бабушка Абубакира, свекровь моя, бывало, говорила: смерть и незванный гость без спросу приходят. Все-таки жаль, что люди умирают. Гусенок погибнет — и то жалко...

— И это ты от свекрови слышала? — Лукман резко поднялся, застегнул полушубок. — Вот что, Сабия: тебе надо забыть о существовании Абубакира.

— Забыть?! — Сабия встала перед ним, прижав к груди снятое со шнура белье. — Но я ведь... его мать!

Лукман кольнул ее злым взглядом из-под мохнатой шапки:

— Помни уговор! Нет у тебя ребенка! Я не люблю повторять одно и то же много раз!

Сабия осталась стоять со скомканным на груди бельем.

— Дитя мое!.. Сыночек!..

* * *

Появление на ферме Гифрита разладило налаженную жизнь Шангарей. Чувствовал он себя среди животных как рыба в воде, но племенной бык почему-то сразу невзлюбил его. Только высунет Шангарей свою круглую голову из-за угла — бык взрывает, принимается рыть копытом землю, выказывает намерение напасть.

Правду сказать, и доярки побаиваются Гифрита, и скотники предпочитают держаться подальше от него. Удивляется Шангарей: раз все боятся этого чудовища, зачем его купили? Вон в ауле быков запрягают, если надо за чем-нибудь съездить или вспахать огород, и никто их не боится. Почему? Шангарей спросил об этом Хашима. Хашим, как обычно, ответил коротко:

— Те — оскопленные. Ну, яички у них отрезали, а у этого — нет.

С запозданием дошло до Шангарей, почему Гифрит устрашающе силен: сила его — в мошонке. У других быков кое-что отрезали, а у этого все осталось на месте. Шангарей, когда он был еще маленьким, один бабай, приведенный отцом, тоже сделал обрезание.

— Тебе не больно? — спросил бабай, присыпав кровь на срезе каким-то порошком.

— Нет, — сказал Шангарей. — Ешли хочешь, еще отрежь.

Бабай больше резать не стал, взял протянутые отцом деньги и быстренько ушел.

Теперь Шангарей сожалеет, что сглупил, дался тогда в руки бабая. Если бы не дался, был бы сильным, как Гифрит, и никого не боялся: ни людей, ни индюков, ни гусаков. Сами бы его боялись. Вон Сталина все боялись, выходит, у него ничего не отрезали.

Скотники загнали Гифрита в плетневую загородку возле коровника. Шангарей понаблюдал за ним через дырочку в плетне. Бык его не видел, а то принялся бы вскидывать копытом навоз и солому.

Сзади раздался голос Хашима:

— Что ты тут делаешь?

— Мне нужен ножик, — ответил Шангарей, не отрываясь от дырочки.

— Зачем?

— Отрежу у Гифрита мошонку.

— Что?!

— Подойду, когда зашнет, и отрежу.
— Глядите-ка, что он надумал! Ты знаешь, сколько колхоз за быка заплатил?
— А зачем он на меня кидается?
— Катись отсюда, Шангарей! Пялишься на него, вот он и злится на тебя. На меня ведь не кидается.

— БИ!
— Что — «ы»?
— Еще пошмотрю.
— Тьфу, мать твою!..

Хашим заторопился в коровник: подошло время задавать скоту корм. Шангарей расширил пальцем дыру в плетне: решил дожидаться, когда бык, наевшись, уляжется спать.

* * *

Сугробы в лесу опадали, вершины гор уже очистились от снега. Проталина перед логовом Кукбуре изо дня в день становилась шире. Кукбуре вылезла из логова погреться на солнышке. Легла на подсохшую землю, вытянув передние лапы, подняла морду, принялась к веющему с запада ветерку. Он доносил со стороны аула запахи оттаявшего навоза и дворовой живности. До аула далеко, а зайцы и прочие мелкие обитатели леса сейчас не оставляют на ноздреватом снежном насте заметных следов. Трудно стало Кукбуре добывать пищу, да к тому же после гибели Бывалого охотиться ей не хотелось. Вспомнив о Бывалом и почувствовав болезненную тягость в теле, Кукбуре заскулила, покрутилась на проталине и снова легла. Эх, недолго длилась их радость! Вспомнилась еще та ночь, когда она, задрав морду к луне, завывала. Тогда, услышав подсказанный присущим всему живому инстинктом призыв к продолжению рода, пришел к ней Бывалый. Теперь не приходит. И никогда не придет. Его скелет лежит перед пещерой у горы Куктау. Ушел Бывалый по пороше на охоту и погиб там. В тоске, охваченная жадой мести, несколько раз побывала Кукбуре у пещеры, но запах людей из нее уже не исходил.

Может быть, напрасно ушла она из аула? Там кобель ли сдохнет, сучка ли — остальным собакам до этого дела нет. У волков иные законы. Не знала она, что оставшуюся в одиночестве волчицу другие волчицы к стае не подпустят. Попробуй приблизиться — тут же какая-нибудь из них вцепится в твоё горло!

Измученная одиночеством и голодом, Кукбуре опять приподняла голову, уловила принесенные ветром из аула давно знакомые вкусные запахи. Щекотнув ноздри, усилили они безысходную тоску Кукбуре, побудили ее завывать громче, отчаянней, чем прежде.

* * *

Ихсанбай приучил себя, когда жил в пещере, постоянно держаться настороже. Опасался тварей, обитающих как на поверхности земли, так и под землей, например, мышей. Ишмухамет, давно привыкший к отшельнической жизни, казался ему чересчур беспечным.

— Давай и днем, и ночью будем поочередно дежурить у входа в пещеру с ружьем, — предложил он однажды Ишмухамету.

— Зачем? Люди здесь не появляются, а со зверьем я живу в ладу.

— В ладу... Я видел неподалеку волчьи следы.

— А, это следы Кашкара, волка с черной отметиной на лбу. Я назвал его для себя так, потому что он похож на собаку*. Здесь — его территория. Пока он жив, никакой другой хищник сюда не сунется.

— Надейся на волка!

— А почему бы не надеяться?

— Волк — извечный враг человека.

Простодушие Ишмухамета разозлило Ихсанбай. Но хозяин пещеры — Ишмухамет, с этим приходилось считаться. А Кашкар этот все больше наглед, как-то ночью завыл почти рядом с пещерой.

— Чего ему, подлюге, тут надо? — разъяренно просипел Ихсанбай.

Ишмухамет ответил, как обычно, спокойно:

— Ему это... твоё появление здесь, похоже, не понравилось. Я это сразу почувствовал. Меня принял, тебя почему-то не может принять.

— Принять!.. Тоже мне, министр!

— Здесь в самом деле хозяин — он, а мы вроде как гости.

Бессонными ночами под волчий вой перебирал Ихсанбай в памяти пережитое и приходил к выводу, что ничего хорошего в его жизни не было, ни одно сокровенное желание не исполнилось. Самое горькое его поражение — Гульбану. Не этот ли воющий близ пещеры хищник повинен в ее смерти? А может, как раз он и позвал его, Ихсанбая, стражницу Кукбуре в лес? Увел ее с щенками на его глазах. Какая наглость! Немало всяких потерь было в жизни Ихсанбая, почему он, как гнилой пень, должен впитывать все в себя, прощая обиды, не мстя за утраты? Почему должен жить, превратившись в тень Ишмухамета? Отец, бывало, бил себя в грудь: я, мол, потомок ханов! Стало быть, и в Ихсанбае течет не заячья, а ханская кровь...

Утвердился Ихсанбай в этой мысли и однажды вечером, когда Ишмухамет ушел в Таулы, нацелил его винтовку на появившегося перед пещерой волка...

Увидев растянутую для просушки волчью шкуру, Ишмухамет опешил. Вытер шапкой пот со лба, присел на чурбак. Сказал, придя в себя:

— Теперь, пожалуй, на охоту нам придется ходить вдвоем.

— Почему?

— Кашкар охранял свою территорию, а заодно и нас, не подпускал сюда других хищников. Ты нарушил порядок в их мире.

— Хы! Какой у них может быть порядок?!

— Я прожил здесь дольше, чем ты, знаю, что говорю. Рысь, например, опасней волка.

Возможно, Ишмухамет был в чем-то прав, но, убив волка, Ихсанбай почувствовал облегчение. Сон у него стал спокойней. И здесь, в ауле, в особенности после поездки в военкомат, пожаловаться на свой сон он не мог. Но нынешней ночью, в полнолуние, его опять разбудил волчий вой. Что побудило зверя подойти так близко к аулу? Ихсанбая кинуло в холодный пот. От воспоминаний о жизни в пещере сердце захолонуло. Еле дождался утра. Печь разжигать не стал, заторопился на улицу. Постукивая посошком по прихваченной весенним морозцем дорожке, направился к дому Раузы.

* Кашкар — кличка собак с пятном на лбу.

* * *

Рауза обычно спала крепко, до рассвета даже с боку на бок ни разу не переворачивалась, а этой ночью ей не спалось. Сказать, что переела вечером, так нет: только плошку оставшейся от обеда шурпы, подкислив коротом*, выпила. Поняв, что быстро не уснет, вышла во двор, совершила возле сарая омовение, послушала, как дышат ее буренка и овечки. Затем, привычным движением сдвинув шаль с головы на шею, посмотрела на полную луну.

— К луне с молитвой обращаю взор: да будет полон живности мой двор! — проговорила она, вспомнив заученный еще в детстве старинный стих, и направилась обратно в дом.

Благодарна Рауза небесам за то, что не переводится скот в ее дворе. Но почему бы ей не попросить у той же луны спутника жизни? Все живность да живность просит. А чем она хуже других, чтобы без мужа жить? Ну, полновата, так мало, что ли, в мире полных, даже жирных жен? Правда, после войны много стало вдов и незамужних женщин, вот и у нее две сестры в старых девах ходят. Ладно еще Рауза хоть одного ребенка да родила, пусть и недолго, а замужем пожила. А те ведь сроду мужского лица близко не видели. Но и у нее, Раузы, жизнь — не сладкий мед. Лежишь долгими ночами одна-одинешенька, слушая волчий вой, и хоть сама завой! Только никто тебя не услышит, никто в окошко не постучит. Вон Хашим свободен, а каким-то женоненавистником держится — Гульбану его заколдовала, что ли? Конечно, жена у него красивая была, надо это признать! Но ведь и Рауза не обсевок в поле! Вдобавок продавицей работает, весь аул, считай, в глаза ей смотрит. У кого, как говорится, в руках, у того и во рту. Все у нее есть. Одного не хватает: поворковать вечером, после работы, с мужем за чашкой душистого чая с конфетами...

Провздохав всю ночь, чуть свет Рауза села в постели. Привычка вставать рано осталась у нее с той поры, когда работала в сельсовете. Посидела, потирая занемевшие руки и ноги, потянулась за чулками, неторопливо оделась. Дальше все пошло обычным порядком. Ополоснула лицо, открыла трубу печи, достала с шестка растопку, разожгла огонь в очаге. Сухие дрова быстро вскипятили воду в казане. Рауза только было открыла самовар, чтобы перелить в него кипяток, — послышался стук в дверь сеней. Поскольку час был еще слишком ранний, Рауза, прежде чем выйти открывать дверь, посмотрела на крыльцо через окно.

— Ах-ах, кто это? Неужто Ишмамат?!

* * *

После разговора с Сабилей Лукман места себе не находил. Зашел он в прачечную просто для того, чтобы проверить, все ли там в порядке, не думая, что получится такой разговор с двоюродной племянницей. Тем, как держится, выражением лица, взглядом сказала она Лукману больше, чем словами. Дикая самка, дура набитая! Никак не может понять, что в ее положении притязания на Абубакира глупы. Мальчик в надежных руках, растет в хороших условиях — вот что важнее всего. Сам он, Лукман, еще в детстве был отдан отцом на воспитание в обеспеченную семью и ничего из-за этого не потерял, напротив, — выиграл...

* Корот — кислая творожная масса, вываривается из заквашенного молока — катыка.

Обуреваемый такого рода мыслями, Лукман нервно походил туда-сюда по своему кабинету и решил отправиться домой. Дом у него старинной добротной постройки, с высоким кирпичным цоколем, в подвале обустроена комната, — в плохом, как сейчас, настроении Лукман уединяется в ней.

Услышав хлопок входной двери, из кухни на миг высунулась Рашида, удостоверившись, что пришел муж. Навстречу ему выбежал двухлетний Абубакир.

— Папа! Папа присол! Сяй пить!

Лукман подхватил его, подкинул. Глаза мальчонки засияли, комната наполнилась радостным визгом. Из кухни вышла Рашида.

— Ну-ну, Абубакир, хватит, папе надо раздеться. — И мужу: — Рано ты сегодня.

Опустив мальчика на пол и сняв верхнюю одежду, Лукман направился к лестнице, ведущей в подвал.

— Чай не готовь. Посижу внизу, — предупредил он жену.

Она не возразила: давно привыкла к повадкам немногословного мужа. Убранство подвальной комнаты составляли дубовый стол, несколько стульев, топчан, шкаф, полки с книгами и разнокалиберными банками и склянками, весы с мелкими гирьками, разные схемы, развешанные по стенам. Было здесь тихо, спокойно. С фотографии на стене строго сквозь очки смотрел мужчина с округлой бородой — бывший хозяин дома Степан Ильич.

Лукман налил в стакан спирт из стоявшей в углу бутылки, вскрыл, достав из шкафа, консервную банку. Надо бы сходить наверх за хлебом, да ладно, сойдет и так, решил он.

— Ну, будем, Степан Ильич! — проговорил Лукман и выпил налитое в стакан. Спирт обжег горло, но немного погода разлился по телу приятным теплом. Вообще-то Лукман не выпивоха, лишь изредка в сумрачном настроении запирается в этой комнате. И радуется в душе, что есть у него убежище, где может, как в раковине, спрятаться от остального мира. К слову сказать, родился он под знаком созвездия Рака, и этим как бы было предопределено, что будет у него возникать нужда в таком вот уединении.

Если подумать, не так уж много лет прожито, только-только ступил Лукман в свой шестой десяток, но сколько за эти годы рытвин и ухабов, крутых обрывов и поворотов пройдено! Его отец, Талип, был в Тирыклах «скотным доктором», занимался кастрированием животных, в ту пору, когда Лукман осознал себя, жил неплохо. Благодаря своему ремеслу отец и познакомился со Степаном Ильичом.

А отец Степана Ильича, Илья Николаевич, еще в XIX веке поселился в Таулах, лечил население уезда. Сосланный из Петербурга по политическим мотивам лекарь обрел не только пристанище, но и известность среди башкир, заслужил их доверие. С открытием в этих краях золотоносных участков Илья Николаевич женился на дочери хозяина Султановского прииска Навалихина, приумножил свое состояние, однако не перестал ездить по аулам, врачую народ, не изменил своей профессии. И смерть свою встретил здесь. Когда возвращался домой из отдаленного аула через горы, лошадь, напуганная каким-то зверем, понесла, повозка перевернулась, и доктор погиб.

Степан, помогавший отцу в сборе лекарственного сырья, изготовлении разных снадобий и иногда сопровождавший его в поездках, остался с матерью жить в этом доме. Средств на жизнь у них было достаточно, но привыкнув с детства работать в подвальной комнате, он продолжал трудиться в ней не поднимая головы. Человек ли заболел, скотина ли какая — жители Таулов и окрестных селений обращались за помощью к нему. Но если Илья Николаевич сажал на козлы

кучера и ехал туда, где в нем нуждались, то Степан Ильич чаще ограничивался тем, что выслушивал посетителя, вручал ему пузырек с лекарством и объяснял, как им пользоваться.

Беда одна не ходит. Вслед за отцом вскоре скончалась и мать Степана. Спустя некоторое время он женился на дочери приискового мастера Михаила Любаше. Но и Любаша прожила недолго. Ширококостная и на вид здоровая, она почему-то не смогла нормально родить. Пометавшись в отчаянии, Степан послал человека в Тиряклы за тамошней бабкой-повитухой. Пока бабка ехала, и Любаша, и не успевший родиться ребенок покинули этот мир.

Похоронив Любашу, приехал Степан в печали к своему тиряклинскому «знакому» — «скотному доктору» Талипу. Засели они в пропахшей дегтем и карболкой, наполовину ушедшей в землю Талиповой хозяйственной лачуге. Гость привез с собой спирт. Лукман заносил им приготовленные матерью угощения — бишбармак, казы, тултырму — нафаршированную яйцами курицу, шурпу, корот. Из лачуги слышались то «Буранбай», то «Шумел камыш», отец наигрывал на курае то мелодию «Карабая», то «Барыню». Этот «шайтанов пир» завершился тем, что отец посадил Лукмана на Степановы козлы и сказал:

— У меня мальчишек и без тебя хватит. Степан выведет тебя в люди, обучит ремеслу. Я оставить богатство в наследство не смогу, вот ремесло и будет тебе наследством. Слушайся Степана, не бузи. Прощай!

Отец открыл ворота, хлопнул лошадь ладонью по крупу:

— Айда, скотинушка, с Богом!

Мать, никогда не перечившая отцу, безмолвно плакала, прикрыв рот уголком шали.

Крестьянскому сыну, приученному в многодетной семье к труду, жизнь в Таулах показалась не слишком хлопотной. Колол дрова, топил печь, помогал Степану по хозяйству и с особым интересом и удовольствием — в изготовлении лекарств. Сносно овладев русским языком, начал читать книги по анатомии и физиологии человека, заинтересовался всей богатой библиотекой, собранной еще Ильей Николаевичем. Поднаторел в некоторых медицинских вопросах настолько, что Степан стал обращаться к нему за советами.

После того, как Степан вновь женился, Лукман с головой ушел в изучение медицинской литературы. Его опекун высватал в ауле, расположенном в семидесяти верстах от Таулов, дочь державшего там мельницу предприимчивого русского мужика Максима Раису. Раиса разговаривала по-башкирски так же свободно, как воду пила. С легкой руки кого-то из посетителей ее переименовали в Рашиду, и она с этим свылась. Следуя примеру Раисы, и Степан мало-помалу научился говорить по-башкирски.

Имея молодого, старательного помощника, он заметно укрепил свое материальное положение. Для Лукмана приобрели отдельную лошадь и тарантас. Когда разразилась какая-нибудь эпидемия, Лукман, набив кожаный баул лекарствами, и один выезжал лечить народ. А уж то, что хозяйка неожиданно увлеклась им, превратило его из неотлинявшего стригунка в молодого лоснящегося жеребчика.

Степан уехал в какой-то аул к женщине, четвертые сутки маявшейся родами. Лукман, плотно поужинав, спустился в подвальную комнату, прихватив книгу «Криминальная анатомия». Вскоре скрипнула лестница, следом спустилась Рашида. Лукман оторвался от книги.

— Что, Степан Ильич вернулся?

— Нет... Зачем... — Рашида вдруг перешла на русский: — Я больше не могу... Сокол ты мой ясный, не томи меня, не гони...

Лукман попытался отстраниться от обвивших его шею мягких рук, горячих губ, полных страсти глаз:

— Что ты делаешь... Рашида-апай!.. Раиса Максимовна!..

— Возьми меня! Ох! Какой ты... сладенький мой!

Остальное Лукман плохо помнит, словно нашло на него тогда затмение. Объяла его сумасшедшая страсть хозяйки.

Долго потом он не мог поднять взгляд на Степана. А Рашида как будто стала ласковей к мужу, как-то вся переменялась, лицо ее светилось, глаза сияли от счастья. Лукман удивленно думал: «Наверно, то, что со мной случилось... привиделось во сне. Вон ведь как они меж собой воркуют».

Но оказалось, что он поторопился с выводом. Степана Ильича по какому-то важному делу вызвали в Оренбург, и в первую же ночь после его отъезда все повторилось. Кажется, Рашида не оставила на теле Лукмана нецелованного места, не счесть, сколько нежных слов наговорила, то смеясь, то плача.

Неделю Лукман не выходил из подвальной комнаты, исполняя желанные теперь прихоти хозяйки. Оба они похудели, но чувствовали себя так, будто сбросили с плеч какой-то давивший на них до сих пор груз. И семнадцатилетний Лукман понял, что без этой красивой, уже досчитывавшей свой третий десяток женщины жить не сможет.

Политические катаклизмы, порожденные революцией, — Гражданская война, продразверстка, коллективизация, раскулачивание, — как-то обошли и Степана Ильича, и Лукмана стороной, но набирало силу то, что назовут потом культом личности Сталина. В чем обвинили Степана Ильича, Лукман не знает, хозяйина его арестовали в 1933 году, и он не вернулся, сгинул где-то. Рашида в первую же после ареста Степана Ильича ночь позвала Лукмана наверх, и утро они встретили в постели, в которой раньше она спала с мужем. Потом Рашида сходила в органы, написала заявление об отречении от супруга.

С тех пор они вместе, со временем узаконили свой брак, только вот детей так и не дождались. Хотя у Лукмана не было документа об окончании специального учебного заведения, его, как знающего специалиста-практика из батраков, пригласили на официальную службу в больницу и в конце концов повысили до должности главврача.

На войну его не призвали — обнаружилась язва желудка. За военные годы вырос его авторитет в районе и состояние приумножилось. Ихсанбая он спас от призыва на фронт не ради того, чтобы не лила племянница слезы, — мзду получил золотом. Из-за этого все более наглевший Ихсанбай стал для него чрезвычайно опасен. Получив от старухи Фаузии письмо, в котором она сообщила о тяжелом положении Сабилы и угрозе жизни еще не родившегося ребенка, Лукман принял решение обезопасить себя. Он выстрелил только в Ихсанбая: собаке — собачья смерть! Но той ночью почему-то исчезла и Фаузия. Будто сквозь землю провалилась. В ауле считают, что и ее кости, если что-то от них осталось, лежат под золой в глубоком подполе сгоревшего дома. Но шайтан знает, так ли это. Поэтому неспокойно на душе Лукмана.

Всем сердцем полюбил он Абубакира, словно мальчонка с сияющими синими глазами не сын Ихсанбая с Сабилей, а плод счастливой любви его и Рашиды. Этим счастьем он не хочет делиться ни с кем. Ему жилось бы спокойней, если бы послал тогда пулю и в Фаузию. А может, она в самом деле сгорела? Была бы жива, так давно уж пришла бы к невестке. Сейчас самый опасный для семьи Лукмана человек — Сабиля. Мысль об этом не дает покоя и Рашиде. Она даже предлагала уехать в Сибирь к ее унесенным туда ветрами революции родственникам. Предложение



жены не лишено смысла. Лукман где угодно, хотя бы кастрируя козлов, обеспечит свою семью. И золота у него, слава Аллаху, достаточно. Но есть заковыка: Сабия может поднять шум, заявить в НКВД, что они сбежали, забрав ее ребенка...

...На востоке первые лучи солнца пронзили перистые облака, когда в усталом мозгу Лукмана мелькнула мысль: а не отправить ли Сабилю в психбольницу? Пусть себе живет там взаперти. На прошлой неделе отправили туда женщину, объявившую себя матерью Пророка. Поди отличи в нынешнем свихнувшемся мире здравомыслящего человека от душевнобольного! Взять, к примеру, их рьяную Лидию Николаевну — к какой категории ее отнесешь? Опять собралась пожаловаться Камалетдинову: дескать, главврач использует больных в качестве бесплатной рабсилы. Ну, велел нескольким выздоравливающим, дабы подышали свежим воздухом, раскидать снег на больничном и своем дворе, так что ж — позументы у них, как говорится, из-за этого осыплются?

Лукман закурил, хотел налить в стакан еще малость спирта, но передумал. Проснется Абубакир, и не поласкаешь его, скажет: фу, от тебя пахнет!..

* * *

После разговора с Мирхайдаровым настроение у Мадины поднялось. Верно сказано: на миру и воробей не погибнет. В Москве с арестом Абдельхата отношение к ней резко изменилось, преподаватели, еще вчера восхищавшиеся ее голосом, стали проходить мимо, будто не узнавая свою талантливую студентку. А в аule встретили ее тепло. Председатель вот работу в клубе предложил. Вдохновленная добрым отношением земляков, Мадина, пока ребенок спал, побелила печь. Порадовалась, наблюдая за хлопотами скворцов, поселившихся в установленной на шесте у ворот скворечне. А увидев травку, пробивающуюся навстречу по-матерински ласковым солнечным лучам, даже прослезилась. Запела бы, чтобы излить переполнившую душу радость, но казалось, что в стенах избы ее песня не уместится. Ей была нужна большая сцена, либо полевой простор, либо устремленный к высокому небу лес.

Залюбовавшуюся пробуждающейся природой Мадину заставила вздрогнуть упавшая к ее ногам тень. От ворот подходил к ней отец.

— Мадина... — проговорил он и вдруг изменился в лице. Мадина насторожилась.

— Что с тобой, папа? Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего... Ты... ты в мамином платье...

Он словно бы поискал рукой опору в воздухе и обессиленно присел на завалинку.

— А, да... Я побелила печь. Отыскала ее старое платье, чтобы свое не испачкать.

— Уф!.. — Хашим обтер рукавом потное лицо. — Работы сегодня было много. Хотел прилечь, отдохнуть до того, как пойду караулить ферму.

— Отдохни. Малыш спит. Я, пап, схожу за водой к колодцу Мунавара, в речке мутноватая пошла.

— Далековато. Но сходи, коль так решила.

Мадина сняла со столбиков ограды начищенные до блеска ведра и, подвесив их на коромысло, торопливо вышла на улицу. Она каждый день поглядывала через окно на нетронутую огнем малую избу, в которой обитали тетушка Фаузия и старик Сибатат, но не думала, что пройти мимо их двора будет так тяжело. Мадина почувствовала, что ноги у нее ослабли. Надо же, большой, красивый дом, стоявший горделиво, как бы говоря: «Смотрите, каков я!», — за несколько часов превратился в золу. Огонь перекинулся на сарай с клетью, только до избы, пред-

назначенной для телят и ягнят, а потом превращенной стариками в жилье, не достал. Впрочем, тетушка Фаузия после смерти ее старика, кажется, перебралась в большой дом, да прожила в нем недолго.

В этот двор теперь разве только какая-нибудь скотина забредет, а люди обходят его стороной: может быть, потому, что о тетушке Фаузии ходили слухи, будто бы она то ли колдунья, то ли убир, словом, связана с нечистой силой. Но Мадина знала ее лишь с хорошей стороны: помнит, как помогала она ее маме и им, детям Гульбану. К тому же старуха по-доброму разговаривала с Шангареем. У Шангарея разум как у ребенка, говорят, такие люди, подобно лошадям и собакам, сразу чувствуют, с добрым или злым человеком имеют дело. Шангарей тетушке Фаузии доверял. Мадине и самой иногда хотелось выплакаться, уткнувшись в подол этой женщины. По отношению к ней она испытывала двойственное чувство: и побаивалась ее, и... любила.

Мадина сочла неудобным пройти мимо уцелевшей избы не остановившись. Постояла, потом повесила коромысло с ведрами на ограду, несмело вошла во двор. На двери избы висел замок. Зная, что люди имеют привычку оставлять ключ над дверью, Мадина как-то непроизвольно пошарила рукой на выступе притолоки. Вот он, ключ! А что если она сделает шаг, на который не решалась, когда тетушка Фаузия была жива, — войдет в ее избу?

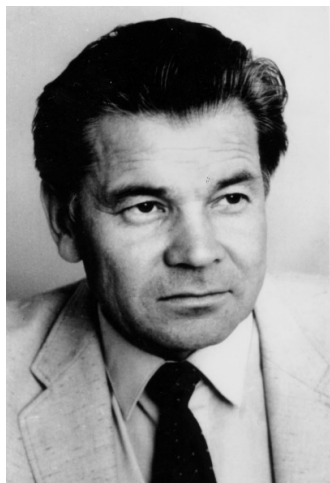
Поколебалась, но взяло верх любопытство. Открыла дверь, вошла. Окинула взглядом внутренность избы. Небольшая печь с боковым очагом под казаном. Вдоль всей стены напротив входа — нары, накрытые паласом. Рядом на сундуке высокой горкой уложены тюфяки, одеяла. Далее на глаза попались кумган, большая деревянная чаша, мелкие чашки-плошки на полке. Пучки каких-то трав, засохшие кисти калины, смородины на стенах. Недопряденная шерсть с веретеном — будто тетушка Фаузия, оторвавшись от работы, вышла во двор и вот-вот вернется.

— Ах, а это что?!. — Увидев на прибитом к стене оленьем роге знакомые вещи, Мадина едва не лишилась чувств, присела на корточки. Это же... их, ее пропавших братишек, вещи!

(Окончание следует).



И снова мир заполнен добротой*



* * *

Прекрасен мир, подвластный Богу.
Он бесконечен – оттого
И десять жизней не помогут
Познать величие его.

Я в этом мире появился
Гореть, как пламя на юру..
Я лишь однажды здесь родился
И лишь однажды здесь умру.

И коль оставлю хоть немного
Кому-то света и тепла –
Не укорю, сгорая, Бога,
Что жизнь единожды была...

УТЕС, ЗВЕЗДЫ И ЧЕЛОВЕК

Главой ночных касаясь звезд,
Храня земли покой,
Могуче высился утес
Над лесом и рекой.
Стоял угрюмо властелин
Заоблачных вершин,
Но только жителям равнин
Казался он большим.
Хоть в те, хоть в эти времена,
Во все его года
Над ним была еще луна,
И солнце, и звезда.
Они сияли огнево
Бессчетные века
И на величие его
Глядели свысока.

Киньябулатов Ирек Лутфиевич родился 15 июля 1938 года в д. Абдуллино Кармаскалинского района Башкирии. Автор книг: «Утро любви», «На Аргамак», «Я башкир» и др. Член Союза писателей.

* Перевод с башкирского Владимира Денисова

Чего он тянет кверху нос,
Что он вселенской мгле?
Какой-то маленький утес
На маленькой Земле...
И меньше – только человек,
Что лампу засветил
И рассчитал Вселенной век
И ход ее светил.
На карту он звезду нанес,
Разметив небосклон,
И солнце, и полтыщи звезд
Нанес на карту он.
По карте водит он рукой,
Умна его рука!
И смотрит – маленький такой –
На звезды свысока...

НЕ ОДИНОК

Таинственно-волшебная пора:
Встает рассвет над родиной весенней.
И ярких красок тихое веселье
Не описать при помощи пера.

Тишайший ветер ласковой рукой
Касается лица легко и нежно.
И на душе светло и безмятежно,
И снова мир заполнен добротой.

Лесные просыпаются певцы,
Волнуя сердце песнями о мае.
Стою, душой смущенной понимая,
Что это дня рожденного гонцы.

Еще вчера в шумливый вечерок
С его размахом празднично широким
Я был в толпе знакомых одиноким,
А вот сейчас, один, не одинок.

Душа парит, очистясь от тревог,
Она слита со всем поднебным миром.
И мы вдвоем с моей землею милой.
Перед вселенной я не одинок.

ХЛЕБ

По старой памяти, по логике земной
В аул родной везу я хлеб ржаной.
Он, может быть, немножечко нелеп,



Из города – селу в подарок – хлеб.
Здесь белые буханки на столах
Нам говорят о праведных делах.
Здесь хлеб – как символ прожитых времен,
Белее снега, легче ваты он,
Сожмешь – и весь уместится в горсти...
Отведай сам и друга угости!
Но помню я другие времена,
Когда была голодную страна:
По прихоти событий и судеб
В аул нам завезли однажды хлеб,
Я до сих пор не пробовал такой
Пшеничной сладкой булки городской!
В ауле и сейчас нелегко труд,
Но черный хлеб здесь больше не пекут.
Вот почему по логике земной
В аул родной везу я хлеб ржаной,
А в город, что от роскоши ослеп,
Везу я, возвращаясь, белый хлеб.
С былых времен и до идущих дней
Дороже нет гостинца для людей.
В чужой – не знаю, а в моей земле
Ему найдется место на столе:
И мой аул, и город мой – гляди! –
Хлеб режут, чуть прижав его к груди...

* * *

Короче вздоха зимний день.
Его свеча у изголовья.
Для осчастливленных любовью
Важнее ночь – она длинней.

Для них мелькают ночи, дни,
Заря смыкается с зарею...
Как день проходит жизнь. Судьбою
Своей не властвуют они.

Мала суетной жизни чаша.
Отпил – и вот уж видишь дно.
И чем короче время наше,
Тем больше ценится оно.

ПЕСНЯ ОТЦА

Судьбы нерадостные вехи
Доверив праздному суду,

Латаю прошлого прорехи,
Меняю бурную судьбу.

Отбросив прочь години злые,
Как неудачные стихи,
Кладу заплатки на былые
Ошибки, промахи, грехи.

В своей судьбе единокровной
Отмою юность добела,
Чтоб место юности греховной
Святая старость заняла...

Но шепчет мне земная полночь
Губами дружеских теней:
«А что из прошлого ты вспомнишь,
Коль нету юности твоей?

Что, кроме старческих улыбок,
Ты будущему приберег?
Как без осознанных ошибок
Дойти до праведных дорог?

Пусть все останется, как было,
И юность – той, какой была,
Иначе жить тебе уныло,
Вершить унылые дела...»

Что ж, постарею и осунусь,
Подвластен божьему суду,
Но поправлять не буду юность,
Оставь мне, Бог, мою судьбу!

Как просто быть солдатом



И жуткие твари без глаз и ушей преследовали их по пятам, и днем и ночью...

И оглашались леса и горы криками настигнутых, и не было им ни жалости, ни пощады...

И тот, кто избежал смерти, все равно был мертв, ибо умер раньше, в сердце своем...

Бегство апокрифян

*Иду себе, играю автоматом,
Как просто быть солдатом, солдатом!*

Булат Окуджава

* * *

Когда пули застучали по броне, я растерялся и почти сразу остался один. Сжавшись в комок, я водил стволом автомата, понимая, что мне нужно что-то делать, куда-то прыгать и в кого-то стрелять, но мой разум был в полном оцепенении. Непередаваемая апатия, граничащая с безумием, овладела мной. Казалось, я видел пролетающие пули. Видел, как они ударялись о броню рядом со мной и отлетали в сторону. Воздух был густ и осязаем, как студень, и не было никакой возможности выбраться из него. Еще через мгновение огненный шар за моей спиной ослепительно вспыхнул, всколыхнулся, толкнул меня в спину и, подхватив как пушинку, пронес несколько метров, а затем, внезапно ослабев, швырнул в придорожную грязь. Мой первый бой начался.

С трудом переведя дух, я почувствовал, как что-то очень горячее, как мне тогда показалось, стекало с моей шеи наискосок через грудь, обжигая живот и пах. «Кровь! Господи, это же моя кровь! – неслись мои мысли. – Я ранен очень опасно и умираю! Истекаю кровью! Как же так получилось?! Я УМИРАЮ!!!»

Дикий ужас охватил меня, и я отчаянно засучил руками и ногами, пытаюсь встать. Поднявшись на четвереньки, я прозрел. Отвратительная ледяная жидкость, в которой солярки и еще какой-то липкой, едкой дряни было больше, чем воды, затекала мне за шиворот, пока я барахтался в кювете. Сам же я был цел и невредим, только бушлат слегка тлел на спине и сильно ныла поясница. Я высунулся из

ямы и огляделся. В нескольких метрах догорал наш БТР, а рядом с ним ничком, вытянувшись как по стойке смирно, лежал боец без обуви. От его ног шел пар. Рядом лежал новенький, очень чистый и блестящий автомат. Кто-то кричал, отовсюду раздавались очереди и мат.

БМП разведчиков, шедшая впереди, сумела выскочить из-под первого залпа. Ведомый чутьем и адреналином, механик швырял машину из стороны в сторону, пока она не врезалась в кирпичную стену. Рухнув, стена лишила ее маневра, но стала надежной баррикадой, закрыв от гранатометов. Бешено затараторив, оружие жадно выплевывало снаряд за снарядом, стараясь нащупать в развалинах своего врага. Его поддерживали все, кто был способен стрелять. Все утонуло в грохоте и пыли. Оставшиеся машины закрылись дымом и, огрызаясь огнем, пытались отойти. Ловушка захлопнулась неплотно, и в эту щель стремительно вклинивалась наша разведка, стремясь зайти во фланг и в тыл нападающим.

Несмотря на кинжальный огонь, несколько человек рванули к ближайшему дому и успели скрыться в нем, потеряв только одного бойца. «Духи», поняв свой промах, попытались отбросить их. Но тщетно. Разведка как смерч пронеслась по этажам дома, сея смерть и ужас на своем пути. Крики слились в один протяжный, нечеловеческий гул, заглушаемый длинными очередями и треском гранат. Засада перерастала во встречный бой. Я же, оглушенный и растерянный, ничего этого не понимал и не видел. Мой автомат, как ни странно, был при мне. Пальцы, сжавшие его, как будто ввелись в металл. Перехватив его, я дал длинную очередь в никуда, отчаянно задирая ствол. Удары приклада действовали успокаивающе. Я сменил рожок и, двигаясь, как лунатик, снова дал очередь в сторону домов.

Первый удар по каске я проигнорировал. Решил, что это осколок. Когда же кто-то ткнул меня лицом вниз и дернул автомат из рук, я струсил. И очень сильно. Я вдруг понял мою полную несостоятельность сделать что-либо и лишь попытался подняться, подтягивая колени к груди. Но хватка только усилилась, и я был снова распластан. В этот незабываемый момент полились «нежные» слова.

– Ты че, пехота, ому...л? Ты куда х...ишь, придурок! Сука ты зеленая! Ты ж по нам долбишь!

Я был окончательно врыт в землю и, потрясенный, притих. «Я стрелял по своим! ПО СВОИМ! Я – предатель! Трибунал и расстрел перед строем!» Меня перевернули и несильно двинули в скулу. «Нет, сейчас и убьет! Пряма на месте! Все, конец!»

– Да очнись ты, б...ь! – долетело до меня. – После иссохнешь!

Видя мое перекошенное от ужаса лицо, разведчик, а это был один из наших разведчиков по прозвищу Барс, немного остыл.

– Слава яйцам, ты стрелять не умеешь! – радостно сообщил он мне. – А то бы хана! Тю-тю! И откуда вы беретесь! – Он слез с меня и продолжил: – Значит так, слушай сюда, Василий Зайцев! Смотри. Да не на меня, дебил! Вон, окна видишь? Рядом с обвалом.

Я посмотрел и кивнул, хотя ничего не увидел.

– Ты че киваешь? Че ты киваешь?! Не видишь, так и скажи: товарищ адмирал, разрешите доложить, у меня вместо глаз очко! – Он дал короткую очередь, потом еще. – Подъезд видишь разбитый? С деревом упавшим? Да очнись ты! Видишь?

Я опять кивнул и, поежившись от его взгляда, шепнул:

– Вижу...

– Что?

– Вижу!

– Молоток! Сбегай купи роз и отнеси туда! Только красных обязательно!

Он снова стрелял. Потом присел и сменил магазин.

– Окна над подъездом и вокруг – твои! По ним и долбай! Усек?! И целься! Увидел кого, херачь! Потом откатись – и заново! Да просыпайся ты! – Он ткнул меня автоматом. – Хочешь в «цинке» прокатиться? Запросто! И назад посматривай... А то придет дядька бородатый, посадит тебя в мешок – и все! П...ц! Да не ссы ты, прорвемся!

И он, быстро оглядевшись, выскочил из укрытия и не то побежал, не то пополз куда-то вперед.

Бой угасал. Я исправно стрелял по окнам, в которых изредка мелькали тени, и коряво перекатывался. Потом все окончательно стихло. Я покрутил головой и увидел, как справа и слева от меня, словно из ниоткуда, появились бойцы и, согнувшись, побежали вперед. Боясь прослыть трусом, не чуя под собой ног, я вскочил и во весь рост побежал с ними. В нас никто не стрелял.

Когда я вбежал в дом, судорожно сжимая автомат и еле дыша от страха и возбуждения, все уже закончилось. На ступеньках сосредоточенно курили наши. Наши! Какое это хорошее слово!

Оживления, как после удачного боя, не было. Мы потеряли семерых, двоих потеряла разведка, еще трое сторели в БТР. Раненых было мало. Страшно грязный, в подгоревшем бушлате, с перекошенным лицом я представлял собой живописнейшую картину. Мне дали водки и прикурить. Переходя от одной группы к другой, я немного успокоился и даже пообвыкся. Не так уж все плохо! Вон нас сколько! Пусть только сунутся! Тогда я совершенно не понимал, как нам всем повезло, и продолжал бесцельно шататься, путаясь у всех под ногами. Затем, привлеченный шумом, снова вышел на улицу.

Из окон соседнего дома, словно тюки грязного белья, вылетали трупы. Переворачиваясь в воздухе, они падали на землю и чуть подпрыгивали. Их хватали за ноги и оттащивали в сторону, где складывали в ряд. Кто-то большой и умный приказал вытащить всех боевиков для опознания. Бойцы, экономя время и силы, сбрасывали их с этажей, чтобы не тащить по лестницам. Да, собственно, такое и в голову бы никому не пришло... От звука падения меня замутило, и я отошел в сторону. Спустя много лет подсознание сыграет со мной злую шутку. Я буду смотреть репортаж о пожаре и увижу, как люди, спасаясь от огня, прыгают из окон прямо на асфальт. Услышав этот глухой стук, я потеряю сознание. Очнусь я на полу и долго буду лежать, не понимая, кто я и где...

– Эй, орел! Ты, ты, не вертись! Да не вертись ты, башку подними!

Я поднял и увидел знакомого разведчика в окне третьего этажа. Он махнул мне рукой:

– Поднимайся! Покажу чего...

Я замялся и потускнел.

– Да не бойся ты! Не трону!

– А я и не боюсь! – пискнул я.

– Ну и давай, стрелок ты наш хренов... – и он юркнул обратно.

«Только тебя мне и не хватало!» Напоминания о моем вкладе в победу были унижительны, но делать было нечего, и я уныло побрел в дом.

В подъезде пахло порохом и экскрементами. Повсюду были видны следы пуль и валялись сотни гильз. Я поднялся наверх и вошел в истерзанную квартиру. В ближайшей комнате на кресле, единственном уцелевшем предмете мебели, сидел Барс и курил, положив автомат на колени. Он был один. Глаза его были закрыты, и казалось, он дремлет. Я остановился в коридоре и кашлянул.

– А-а-а, пришел, снайпер! Ну и дал ты нам жару! – он открыл глаза. Его бодрый голос никак не вязался с застывшим как маска лицом. Он постарел и как-то обрюзг за эти несколько минут боя. – Заходи! Только... – его голос вдруг потускнел и ослаб, – перешагни там, у входа... Осторожнее...

Только тут я заметил у своих ног большую лужу неправдоподобно красной застывающей крови и с трудом перешагнул через нее. Он не шевельнулся и, глядя куда-то мне за спину, в угол, продолжил:

– Это тут он Витьку... срезал... В живот. Пять пуль. В упор...

– И... что? – тупо спросил я, сам не понимая, что говорю. – Что Витька-то?..

– А? – как будто очнулся он. – Витька? Помер Витька. Прям тут и помер.

Он продолжал внимательно смотреть на что-то за моей спиной.

Я почувствовал холодок и переступил с ноги на ногу. Но он все молчал, и я ясно стал ощущать, что кто-то был у меня за спиной. Я чувствовал это всей кожей. Руки у меня задрожали, и, не выдержав напряжения, я нервно оглянулся. Никого. Когда я повернулся обратно, Барс стоял вплотную ко мне. Я не слышал ни звука и невольно отшатнулся, но он схватил меня за плечо и хрипло закричал в лицо.

– Что? Слюняй! Что? Испугался? Смотри! – и он поволок меня в соседнюю комнату, не переставая хрипло кричать. – Вот! Вот что я с ними, с гадами, делать буду! Со всеми! Ты понял меня, со всеми! Вот!!!

И он сильно толкнул меня внутрь, да так, что я, споткнувшись обо что-то, не удержал равновесие и упал навзничь. Не понимая, что ему надо, я перевернулся на левый бок, приподнялся на локте и обмер.

На полу головой к окну, раскинув руки и ноги, лежал человек. Вернее, то, что от него осталось. Вспоротый, как туша на бойне, от подбородка до паха, он все еще слабо подергивался. Пальцы на руках, как лапки насекомого, сжимались и разжимались, все по отдельности. Искромсанные внутренности, словно обезглавленные змеи, еще шевелились и, вспухая, скользили на пол, сворачиваясь в кольца. Резкий тошнотворный запах наполнял комнату. Жуткая жижа, темная и густая, растекалась вокруг него, образуя почти правильный круг. Одна сторона лица была изувечена ударом приклада и превратилась в фарш. Уцелевший глаз с сеткой лопнувших сосудов и огромным зрачком смотрел прямо на меня с расстояния в несколько сантиметров.

Я закричал, но крик потонул в потоке рвоты. Откатившись, я прижался к стене и корчился там как припадочный. Но и в этот момент, как и годы спустя, мне все еще казалось и кажется, что он смотрит на меня. Смотрит, где бы я ни был...

Дав мне проблеваться вдоволь, Барс вытащил меня из комнаты и кое-как обтер обрывком шторы. Потом дал выпить. Мне полегчало. Понемногу я отошел и с удивлением обнаружил, что почти спокоен. Барс, внимательно следивший за мной, жестко усмехнулся:

– Поздравляю, боец!

И он быстро вышел.

Что-то оборвалось у меня внутри и никак не хотело вставать на место. Но это чувство не пугало меня. Напротив, оно давало какую-то легкость. Все контуры стали очень четкими. Даже слух обострился и выбирал малейшие звуки из пространства. Я спустился вниз. Люди и техника снова были готовы продолжить свой путь. Я забрался на другой БТР и проверил автомат. Пустые окна вглядывались в наши лица и спины. Мы отвечали им сухим взглядом оружейных стволов и настороженных глаз. Было тихо. Мы тронулись. Бездонная громада Грозного молча



разверзлась перед нами. Ее ненасытная утроба мерно пожирала колонну, машину за машиной, человека за человеком, жизнь за жизнью. Смерть, сидя рядом на холодной броне, заглядывала в наши души и чему-то улыбалась.

* * *

Море было в двух шагах от отеля, и, если бы мои окна выходили на другую сторону, я мог бы наслаждаться чудесными видами, даже не выходя из номера. Но я не сильно мучился. Мне было достаточно знать, что море рядом и я слышу его дыхание по ночам. Если мне совсем не спалось, я всегда мог одеться и выйти на пустынный пляж. Жить под шум прибоя почему-то было легче.

В Афинах стояла зима. Добропорядочные греки носили элегантные пальто и небрежно повязанные шарфики. Они с вежливым неодобрением смотрели на легкомысленных туристов, позволяющих себе расхаживать по улице в тоненьких курточках поверх футболок при температуре в плюс 12. Я же и вовсе относился к разряду буйно помешанных, ибо каждое утро купался в море. И не просто купался, а бросался в него как в атаку, с криком и полуматом. Я шумно плескался, рычал и повизгивал. А потом бегал по пляжу, хлопая себя по синим ляжкам и хохоча от избытка чувств. Но что не простишь хорошему человеку, когда отель пустует, а сам он – «медведь» из далекой и снежной России!

Отель носил гордое имя «Лондон» и к Англии не имел никакого отношения. С таким же успехом он мог называться «Рим» или «Мадрид». Однако, особенно по вечерам, в его очертаниях угадывалось что-то диккенсовское. Потемневший пластик сходил за мореный дуб, жидкое местное пиво – за старый добрый эль, а такси, скользящее в дымке темнеющих улиц, – за исчезающий в тумане кэб. Возможно, всему виной был ром, но я не придавал этому большого значения...

После купания я быстро одевался и шел на завтрак. После таких впечатляющих водных процедур я без труда съедал омлет из восьми яиц, чем неизменно пугал официантку, пару-тройку маленьких, крепеньких и очень острых сосисок, тосты и пил кофе с молоком. Затем, прихватив из номера сумку с самым необходимым, я выскальзывал в сонный город. Теперь до самого вечера я мог неспешно блуждать по городу, смотреть на бесконечные и однообразные руины, окликать ленивых собак и кошек, шатающихся по всей округе, глазеть на людей и вообще делать все что захочу.

Обычно я шел вдоль моря в сторону порта, проходя мимо многочисленных рыбных ресторанчиков. В этот час они были закрыты, но по вечерам их гостеприимству не было предела. Тогда там можно было совсем недорого съесть огромную тарелку свежей, только что поджаренной рыбы или кальмаров в густом белом соусе, запивая все белым вином. Ветер с моря чуть покачивал лампочки над головой, легкое вино приятно хмелило, и было немного грустно. Ночь окутывала город, и где-то далеко в темноте невидимые пароходы гулко окликали друг друга.

В такие минуты желание доверить бумаге свое прошлое было особенно острым, почти отчаянным. Слова и фразы, разрозненные и пустые доселе, слетались как пчелы в улей. Их гул, все нарастая и нарастая, затмевал, наконец, все сущее. С маниакальной навязчивостью перед моим взором медленно проплывали картины давно ушедших дней. Лица и события необычайно отчетливо и ясно всплывали из глубин памяти. Казалось, только прикоснись я к бумаге, и уже никакая сила в мире не сможет остановить мою руку, покуда все накопившееся, как гной, не

вырвется наружу полностью. Я доставал заранее припасенные листы и подолгу сидел над ними, тщетно пытаясь излить душу. Но видения пропадали, слова ускользали из-под пера, и, вконец обессиленный и злой, я сдавался до следующего приступа.

До порта было далеко, и если мне надоедало идти, я садился на трамвай, больше похожий на небольшой космический корабль. Он быстро и мягко вез меня куда-то, и я всецело отдавался этому движению. За окном мелькал оживающий город, люди входили и выходили, и, часто сам того не замечая, я уезжал гораздо дальше, чем того хотел. Тогда я выходил и шел к центру, останавливаясь у небольших кафе, чтобы выпить кофе или бокал вина.

Афины щедро дарили покой и уют. В них всегда можно было найти укромный уголок, чтобы спокойно выкурить трубку или перекусить припасенным сэндвичем, запивая его глотком рома из фляжки. Широкие улицы с дворцами и музеями сменялись узкими и обветшалыми переулками; витрины роскошных магазинов с рядами застывших манекенов – ветхими и покосившимися частными лавочками; свет сменялся тенью, и над всем этим спокойно и величественно, как в былые времена, возвышался священный Акрополь.

Когда же городской шум надоедал, а возвращаться к морю было лень, я шел в Национальный сад. Среди буйства сочной опрятной зелени было особенно приятно сознавать, что сейчас зима, и далекая замерзшая Москва казалась мне чужой и былинной. Задумчиво прогуливаясь по дорожкам, я подбирал с земли яркие, упругие и терпко пахнущие мандарины. Они были абсолютно горькие на вкус, но их запах и вид нравились мне. Я жонглировал ими, рассыпал и подбирал новые. Пели птицы, светило солнце, и мир вокруг был прост и открыт, как в детстве.

* * *

Пожалуй, больше нигде и никогда в жизни, кроме как на войне, Добро и Зло не кажутся тебе так явственно и четко отделенными друг от друга. Только там, среди страха и холода, Зло и Добро выглядят осязаемыми, хрупкими и конечными, как ты сам. Потом, если это потом наступает, все опять встает на свои места, превращаясь в серую, безликую массу человекомыслепоступков, в которую ты незаметно и безжалостно втаптываешься. Это потом, таинственно и незримо, твое прошлое сможет изменить знак с «+» на «-», и придет запоздалое, неожиданное, ошеломляющее и все ломающее на своем пути раскаянье. Это потом твоей наградой будут ночные кошмары и жгучее, непередаваемое одиночество, скоротать и укротить которое ты будешь не в силах. Это потом тебя забудут и проклянут лишь за одно то, что ты вернулся живым и помнящим. Но все это будет позже, а пока даже за это неприглядное будущее тебе придется сражаться здесь и сейчас. Убивая и умирая в обманчиво пустынном и грозном Грозном.

Добро сидит напротив меня и, капая жиром на бушлат, с большим аппетитом ест тушенку, помогая себе в этом увлекательном процессе ножом, хлебом, руками, губами и синими искрящимися смехом глазами. Добро зовут Мишкой. Мы оба – москвичи. Это редкость. На нас смотрят с удивлением. Для всех «москаль» значит «миллионер». Они не служат, не воюют и уж тем более не умирают. Но не это главное. Мишка – мой друг. Когда он рядом, мне очень спокойно. Словно какая-то неведомая сила оберегает меня, и со мной ничего не может случиться. Его законченный оптимизм и веселье заражают все вокруг. Остряк и балагур, он

буквально заставляет полюбить себя, и самые хмурые, нелюдимые бойцы подходят поближе, заслышав его байки. Он бывает капризным, если это слово можно употребить в нашей суровой действительности. Он может обидеть, ужалить, поднять на смех и даже оскорбить. Но не предать. Не оставить. Не сбежать. За это простое и понятное мужество ему все сходит с рук. Даже разведка, мерило всех мерил, решительные и не в меру заносчивые ребята, признают его и даже зовут к себе. Он светлый и добрый человек. Он – свой.

Зло в двух кварталах от нас, а на деле и того ближе. Поэтому мы не зеваем, не маячим в окнах и ни на секунду не выпускаем из рук автоматы. В сущности, автоматы уже давно наше продолжение. Часть тела. Их отсутствие мы ощущаем как потерю конечности. Мы заботимся о них. Чистим и кормим. Это человек может голодать по несколько суток, не спать, носиться как угорелый и питаться при этом всякой дрянью. Автомату голодать нельзя. Вредно для здоровья... И мы стараемся, чтобы наши прожорливые бестии были обеспечены в первую очередь. Потом можно и о себе позаботиться, если «духи» позволят...

Зло норовит убить нас. Мы стараемся его опередить. Все очень просто. Зло бьет нам в лица и спины, ставит растяжки и всячески старается сломать, задавить, смять. Иногда ему это удается, и мы, грязные, окровавленные, изможденные, с бессильной злобой в глазах откатываемся обратно, оставляя на асфальте трупы своих друзей. Но все чаще и чаще мы сами даем трепку тем, кто меньше месяца назад расстреливал нас как щенков, выборочно и со смехом. Мы здорово заматерели. В каждом из нас сжата свирепая пружина, готовая яростно развернуться в любой момент. С виду мы апатичны, но это лишь видимость. Мы стали другими. Те, кого уже нет с нами, не дают нам права на слабость и страх. Слишком много ребят убито и истерзано на наших глазах. Слишком много трупов мы успели перетащить за эти дни. Слишком много крови было на этих улицах. Слишком многим мы хотели и не могли помочь. Слишком. Слишком. Слишком...

Тушенка кончилась, но сразу выбросить банку трудно. Едим мы хорошо, но не регулярно... То пусто, то густо, да и времени порой просто не хватает. Еще раз убедившись в полном отсутствии продукта, Мишка широко размахивается и швыряет банку в коридор. Он сидит лицом к нему, я держу окна. Весь дом занят нашими, но привычка уже так въелась, что по-другому мы не можем. Насвистывая что-то веселое, он устраивается поудобнее и со вкусом закуривает. Глядя на него, можно подумать, что он курит хорошую сигару, а не плохонькие, мятые и влажные сигаретки. Умеет он как-то все делать со вкусом. Вот черт! Я тянусь за своими. Дымок лениво ползает по комнате, после еды хочется спать, и мы кема-рим по очереди.

– Вот скажи мне, глупому и нерадивому солдату, который дальше «шагом марш» и видеть ничего не видывал, – начинает Мишка, мечтательно пуская кольца дыма. – Вот все говорят, офицерам жить негде, ютятся по гнездам да землянкам. Ни тебе квартир, ни тебе слова доброго. Так?

– Ну-у-у... Так... – тяну я.

Сон обволакивает меня как туман. Я с трудом понимаю его слова, но Мишка не отстаёт:

– Я вот что подумал. У нас танков до едрены матрены! Ржавеют тысячами, и девать их некуда. Хоть на Луну отправляй, хоть закапывай! Так вот, надо каждому офицеру по танку выделить. А? Вместо квартиры! Чуешь?

– Не-е-е.... Не дадут. Они ж разом в Москву поедут. На Кремль посмотреть, и так, вообще... пообщаться...

– Оно понятно! На целый танк надежды никакой, а то они там всех на стволах повывешивают... как тряпочки... Я все продумал. Движок у танка снимается – и вот тебе спальня. Спереди – гостиная, а в башне кухонька! Ствол кверху загнул, буржуйку присобачил – живи не хочу! А? Здорово!

Я смеюсь:

– Ну а ежели дети у человека? Танк-то, он не резиновый! О комфорте ты подумал, гнида? Или ты, как наши генералы, которые только о себе да о родине, а солдат своих в глаза не видели?

– Все продумано! – Мишка сияет. – Семейным БТР давать будем! Там места до хрена! И гостиная, и кухня, и детская, и кабинет для папочки! Рай на колесах! Ух и заживут они тогда! Правда, Петька?

– Правда, Василий Иванович! Как в сказке!

Мы смеемся. Сон продолжает наступать, и я засыпаю на полчаса. Потом вздремнет Мишка. Сквозь полузакрытые веки я вижу, как он встает и поправляет автомат. Все в порядке, мой друг охраняет меня. Это хорошо. Это добро. Я проваливаюсь в темноту...

* * *

Ближе к обеду я вновь оказался в центре Афин. Акрополь настойчиво манил своей высотой, но я устал, и перспектива снова лезть в гору меня не прельщала. Вообще я уже вдоволь насмотрелся обломков былого величия. Особенно в Стамбуле и Иерусалиме. Куда как интереснее было выпить пару кружек пива у подножия, наслаждаясь видами заросших лесом склонов и скользящей мимо разношерстной толпы. Узенькие улочки старого города с многочисленными маленькими кафе живо напоминали Париж. Тут было очень мило и оживленно. Пахло кофе и жареными каштанами. Играла музыка. Местные ребятишки играли в прятки.

Я немного прошелся и остановился у одного из кафе. Оно было втиснуто между двумя старыми двухэтажными домами, поросшими диким виноградом. На улице стояла плетеная мебель, на стойке бара спала толстая рыжая кошка. У входа, растянувшись во всю свою сытую длину, спала толстая рыжая собака. Трудно было пройти мимо такой очевидной гармонии. Я сел за свободный столик и стал ждать толстую рыжую официантку... Рядом сидела компания американцев. Они что-то шумно обсуждали и смеялись. Им всем было не больше 20. Я ничего не имел против. Все бывают молоды...

У официантки оказались черные блестящие волосы, смуглая кожа и полные губы. Она была похожа на итальянку, и от ее фигуры так и веяло чувственностью. Я раскурил трубку и напыжился. Она подошла и приятно улыбнулась. Про себя я сразу назвал ее Кармен.

– Добрый день. Что вам принести?

– Здравствуйте! Принесите одно пиво, пожалуйста...

– Хорошо. Одно пиво.

Она протерла мой столик. Я курил и смотрел на нее.

– Вы англичанин?

– Нет. Я русский. Но живу в «Лондоне»...

– В Лондоне?

– Да! В отеле «Лондон»... Там! – я махнул в сторону побережья. – У моря.

Она засмеялась. У нее оказались чудесные зубки.

– А вы итальянка?

– Нет! Нет же!
– Вы очень красивая! Я правильно говорю? О-чень кра-си-ва-я. Правильно?
– Правильно, правильно! – она опять смеялась. – Так и говорите!
– *Bella senorita!**
– Вы были в Италии?
– Нет. Не был.
– И не надо! Все итальянки... – Тут она сделала выразительный жест рукой. Сейчас она еще больше походила на итальянку. – Оставайтесь здесь!
– Хорошо!

Теперь смеялся я. Мой греческий был весьма далек от совершенства, но общаться на подобные темы я вполне мог.

– Вам какое пиво?
– Любое. Только большое. Очень большое! *Big!*** *Grand!**** – я показал руками кружку размером с хороший самовар.
– Хорошо, хорошо! – она повторила мой жест и, все еще смеясь, ушла.

Американцы, прислушивавшиеся к нашему оживленному разговору, зашумели снова. И откуда у них только силы берутся? Страшные люди!

Собака проснулась и, сладко потянувшись, осмотрелась. Не найдя ничего занимательного, она снова уснула. Я завистливо вздохнул. Мне бы так! Уличный торговец что-то предложил мне со своего лотка, но, встретив мой взгляд, исчез. Бесконечные туристы шествовали мимо, ни на секунду не отрываясь от своих камер и фотоаппаратов. Сам город они, похоже, так и не видели. С таким же успехом можно было изучать Афины у себя дома, по открыткам. По крайней мере, качество снимков было бы куда лучше...

Кармен торжественно внесла мое пиво и поставила великолепную чешскую литровую кружку на столик. Краем глаза я увидел замешательство в стане янки. Они пучили глаза и толкали друг друга. Сами они пили пиво из малюсеньких бокалов. Честь Империи была поставлена на карту, и я, конечно же, не мог не принять этот вызов!

Я отложил трубку и медленно поднял кружку, как будто любуясь пеной и цветом напитка. На самом же деле, незаметно щупая одним пальцем стенку сосуда, я проверял, насколько пиво холодное. Если оно совсем ледяное, то ничего не получится. Горло не позволит выпить все сразу. Пиво было охлаждено в самый раз. Я отсалютовал кружкой застывшей напротив Кармен, а затем, чуть повернувшись, и «вероятному противнику». Слегка откинувшись назад, но оставляя спину прямой, я поднес кружку к губам и с наслаждением стал пить. Мои глотки были сильные и равномерные. Так питон заглатывает неосторожного кролика... Мир замер. Когда я водрузил чашу на место, в ней оставалась только поникшая пена. Я промокнул губы салфеткой и, не глядя по сторонам, снова раскурил трубку. Американцы были мертвы. Их застывшие лица походили на мраморные изваяния. Жаль, они были неплохие ребята! Но на войне как на войне. Кармен, очень по-женски всплеснув руками, исчезла в дверях, а потом выбежала обратно, неся крохотное блюдечко с солеными орешками.

– Вот! Ешьте! Это бесплатно. Пожалуйста!

Я чинно кивнул ей и вежливо съел один орешек... Пиво приятно копошилось внутри меня. Я подумывал продолжить, но внезапно эта комедия мне наскучила.

**Bella senorita* – прекрасная девушка (ит.);

***Big* – большой (англ.);

****Grand* – большой (фр.).

Хотелось просто посидеть и отдохнуть. С утра я прошел уже километров 20 и порядком устал. Я заказал пиво поменьше и, сделав самый обычный глоток, тут же перестал быть центром внимания. Это меня устраивало. Я полностью расслабился, и хмель потихоньку начал действовать. Все вокруг становилось мягким и радужным. Хотелось смеяться и громко разговаривать. Наконец-то я отдыхал.

Вдали, на вершине Акрополя, был виден кусочек Парфенона. Под лучами солнца он был ослепительно белый. Картину немного портила стрела подъемного крана за ним. Реставрационные работы шли полным ходом, но это были мелочи. Собака, снова проснувшись, вяло прошла несколько шагов и, совершенно обессилив от собственной прыти, упала у моих ног. Я почесал ей спину. Она, щурясь, посмотрела на меня через плечо и вильнула обрубок хвоста. Редкие минуты полного душевного покоя и равновесия. От полноты собственного счастья наворачивались слезы. Я – живой! Живой! Сажу где-то в Греции под светлым прозрачным небом и пью пиво. Вокруг меня ходят веселые, довольные жизнью люди и смеются. Господи, какое же это счастье!

Я сажу так довольно долго. Кармен больше не появляется. Очевидно, ее смена кончилась. Но я не расстраиваюсь, я и так получил очень много. Оставляю большие чаевые и погружаюсь в хитросплетение переулков и тупичков. Небо начинает блекнуть и краснеть, скоро вечер.

От нечего делать иду на местный Арбат. Долго хожу между рядами ваз, статуэток, футболок, тканей, ковров и прочей ерунды. Вездесущие художники пишут портреты, где-то играют уличные музыканты. Туристы жадно скупают всякую муть. Темнеет. Уже на выходе захожу в угловой магазинчик и столбенею. Дыхание сбивается, внутри резко холодеет и начинает подташнивать. Прямо мне в живот смотрит дуло пулемета. Хочется броситься в сторону, но я заставляю себя стоять на месте. Это МГ-42. Ржавый, но с виду вполне рабочий. Даже смотреть страшно, кто понимает... По стенам развешана всякая военная дребедень. Германские, французские и английские каски первой и второй мировых войн, гранаты, штыки, ножи, ранцы, кокарды, ремни и прочее. Все в неплохом состоянии.

«Черт бы побрал всех этих любителей военной атрибутики!» Осторожно обхожу пулемет и иду ко второму выходу. Настроение испорчено. Попутно натыкаясь на немецкий китель, на нем две нашивки за ранения. Неожиданно чувствую себя ветераном совсем другой войны и, чертыхаясь, выталкиваюсь на улицу под недоуменным взглядом продавца. Дерьмо! При воспоминании о пулемете живот опять сводит. Прошлое снова шагает рядом. Будь оно проклято! Достая фляжку и делаю большой глоток, потом еще. Ром обжигает и бодрит. Одно «но»: его больше нет. Фляга пуста. И ты, Брут! Иду куда-то и выхожу к Синтагме.*

Тут, как всегда, шумно и весело. Рабочий день кончился, и все спешат гулять. У огромной ели в центре площади назначаются свидания. В глубине стоят карусели и слышен детский смех. Играет музыка, и все украшено сотнями разноцветных гирлянд. У здания парламента сменяется караул. Часовые в смешной форме, но с очень серьезными лицами хитро маневрируют. Туристы тут как тут, и их вспышки не гаснут ни на секунду.

Я подхожу к конечной трамваев и сажусь в вагон. До отправления 10 минут. Жду, ни о чем не думая. Я очень устал, но если сейчас поехать в гостиницу, будет еще хуже. Стены будут давить и сводить с ума. Это я уже проходил. Решаю поехать в порт и выпить. Как следует. Пусть завтра мне будет плохо, и я буду ругать

*Синтагма — площадь в центре Афин.



себя за слабость. Пусть. Мне здорово надоело бояться. От того, что я на все махнул рукой, сразу становится легче. Пусть! Трамвай трогается и несется по ярко освещенным улицам. Я смотрю в окно. Вечером все не так, как с утра. Мне начинает казаться, что вся моя жизнь – один большой бесконечный вечер. Но это наверняка от усталости. Вагон наполняется, и я уступаю место. Еще немного, и вот уже слышен запах моря.

Я выхожу за одну остановку до порта и иду пешком. Здесь совсем другая атмосфера. Жизнь кипит вовсю, и это беззастенчивое брожение радует глаз. Беру в магазине бутылку «Метаксы», заворачиваю ее в газету и пью на ходу прямо из горлышка. Бренди отличное, и первый же глоток воскрешает меня. Бодро шагаю оставшуюся часть пути, проходя длинные торговые ряды. Сильно пахнет рыбой и солью. Запах приятно щекочет ноздри. В свете фонарей чешуя рыбы отливает сталью. Бледно светятся кальмары и осьминоги. Искрится лед, на котором все это богатство разложено. Я напеваю «Варяг» и улыбаюсь. Прорвемся!

Порт встречает меня как старый друг. В очереди дешевых закусовых беру пару горячих сэндвичей с беконом, сыром, помидорами и изумительной горчицей. Она совсем не острая и очень ароматная. Прошу положить побольше. Толстый седой грек слегка пьян и добродушен.

- Еще горчицы? Пожалуйста! Еще?
- Нет, спасибо. Достаточно.
- У меня ее много! Может, еще?
- Нет, правда, достаточно! Спасибо!
- Приходите еще!
- Обязательно!

Ем на ходу, обжигаясь и пачкаясь. Вкуснотища!

Причалы ярко освещены, но уже не лампочками, а по-настоящему, прожекторами. Суется катера и теплоходы. Медленно и важно швартуются гиганты-паромы, извергая из своего чрева людей и автомобили. Люди спешат по домам. Подвыпившие туристы рассаживаются по автобусам. Прохожу мимо этого великолепия и иду дальше, к открытому морю. У меня там есть неприметная скамеечка, с нее открывается исключительный вид. Обычно она пустует. Не забываю я и о бутылке, она уже значительно легче...

Сегодня точно не мой день. На моем месте увлеченно целуется парочка. Жаль, однако «Метакса» уже действует, и меня не так просто сломить. Оглядываюсь по сторонам и вижу небольшую скалу чуть дальше. Туда-то нам и нужно! Карабкаюсь наверх и перевожу дух. Здесь еще лучше. Только сесть не на что. Сажусь на карту Афин и делаю длинный глоток. Я на месте! Правильно сделал, что не поехал в отель! Достаю табак и трубку. Передо мной ворочается Эгейское море. Мерцают звезды. Потом приходит туман, и становится холодно. Но мне уже все равно. Я весь растворен в громаде моря, неба и воздуха. Из прибрежных кафе доносятся мелодия танго и отдельные голоса. Корабли, как доисторические ящеры, огромные и невидимые, проходят совсем близко от меня. Я чувствую запах мазута и ржавого железа. Скала мелко вибрирует от их мощи. Я замираю и внешне голосу вселенной. Меня нет.

* * *

Сегодня мы на зачистке. Дом за домом мы продвигаемся в глубь квартала, официально уже подконтрольного нам. Но такие заявления нас больше не трога-

ют. Мы уже знаем, что к чему. Стекло хрустит под ногами, слышны тихие команды. Все собранно и внимательны. Идет трудная работа.

Похоже, на этот раз нам действительно повезло. Никого нет. Последний дом проверен, и я с любопытством осматриваю квартиры. В одной из них поднимаю с пола маленькую книжечку. Обложка совсем грязная. Открываю. Это Блок, «Двенадцать». С трепетом листаю перепачканные страницы. Когда-то давно я любил поэзию. Даже мнил себя знатоком Серебряного века. Посещал поэтические вечера. Собрал неплохую библиотеку. И вот я здесь... Страницы шуршат...

«Ветер, ветер – на всем божьем свете!»

Эти слова сейчас очень понятны и близки. Голос из другого мира шепчет мне о настоящем. Стою совершенно зачарованный. Подходит ротный. Кличка «Гадюка». Мировой мужик, но с ним не забалуешь. У него нюх на тех, кто отлынивает.

– Балдеем?!

– Не-е...

– Что это у тебя?

Я протягиваю ему книгу:

– Это Блок. «Двенадцать»... Отличная вещь!

Он берет ее и, не глядя, аккуратно бросает на пол. Потом роется в разгрузке и вынимает гранату с вкрученным запалом. Вертит ею у меня под носом и вкрадчиво вещает:

– Вот это – отличная вещь! А блок – это 10 пачек сигарет. Варезку не разевай... – Он подталкивает меня автоматом к выходу. – Давай, давай... Не спи...

Я иду дальше. Его реакция меня не возмущает. Мне понятны его слова. Все наши усилия здесь направлены только на одно – выжить. Нам нельзя расслабляться. Стоит на минуту раскиснуть, забыть, где ты, и смерть не заставит себя ждать. Он просто хочет меня спасти. Я ценю это. Ротный – мужик что надо, хоть и змея порядочная...

Спускаюсь вниз. Я – грязный, вшивый, усталый, злой и осторожный. Блок – это 10 пачек сигарет. Я – просто солдат.

За неполный месяц боев мы все прожили целую жизнь. Жизнь длинную, тяжелую, полную лишений и все же очень яркую и запоминающуюся. Мятые, небритые, с воспаленными глазами и осунувшимися лицами, в порванных, прожженных и простреленных бушлатах, мы выглядим как стая бродячих собак. Мы так же чешемся, греемся в лучах редкого солнышка и спим где придется. На отдыхе мы медлительны и сонны, за исключением сладостного момента получения кормежки. Тут мы проявляем истинные чудеса прыти и хватки.

Потом мы снова еле двигаемся и норовим уснуть. Но дразнить нас не стоит. Наши мышцы стали сухими и жесткими, как вяленое мясо. Они не знают усталости. Усталость – часть нас. Она больше не воспринимается. Она как шрам или увечье. Ее нет. Мы – неутомимы. Наши чувства и рефлексы необычайно обострены. В одну секунду вся «стая» ошетинивается и скалит стальные клыки. Не тронь, чужак! Разорвем! И рвали... Те из нас, кто уцелел, научились убивать быстро и эффективно, не раздумывая. Влет. Разбираемся потом, если разбираемся... Правда, в гражданских мы не стреляем. По крайней мере, специально. У всех на это свои причины, а любителей просто дать очередь у нас поубавилось... Хотя в горячке городского боя кто-то из жителей, несомненно, попадает под пули и снаряды. Верил и хочу верить, что эти пули были не мои...

И только одни беззащитные существа не получают нашей пощады. Это толстые и лоснящиеся трупные крысы. Они уничтожаются при первом же появлении.

Офицеры бодрят нас «ласковыми» словами. Им самим приходится несладко. Особенно тем, кто действительно офицер, а не тряпка. Мне кажется, что они вообще не спят. Особенно плохо они выглядят после разговора с вышестоящим командованием. Нелепые, дурные, преступные и откровенно предательские приказы – совсем не редкость. Им стоит большого труда сохранить наши жизни, и они честно выполняют свой долг. Спасибо им всем от нас, потому как от Родины спасибо не дождешься...

Мой дед, тот, который вернулся с войны, охотно рассказывал о ней моему отцу и старшему брату. На фронт он попал уже взрослым, состоявшимся мужчиной, офицером, ему было 40 лет. Будучи до войны архитектором, он стал сапером. Вернулся с легким ранением и тяжелой контузией. Его рассказы были спокойны и просты, в них никогда не присутствовали ужас или обреченность. Наоборот, он говорил, что, несмотря ни на что, никогда больше он не чувствовал такой свободы. Такого единения. Такой полноты жизни. Мой старший брат часто спрашивал его, видел ли он танки. Он отвечал, что да, видел...

- А близко видел?
- И близко видел...
- Страшные они?
- Не очень...
- А самолеты... видел?
- Видел...
- А они вас бомбили?
- Бомбили...
- А вы боялись?..
- Бывало...
- И что же вы делали?
- Воевали... Мы же солдаты... Армия.

Его слова, а точнее его спокойствие, не идут у меня из головы. Конечно, он был старше нас, и все воспринималось им иначе. Но, похоже, главное было не в этом. Просто он, в отличие от нас, знал, за что и с кем он воюет. Что защищает. Мы же были просто брошены под пули и умирали, не понимая, кому это было нужно. Дед прожил еще много лет и умер в полдень 9 мая, тихо и спокойно...

Наш юмор тоже «обострен». Нервная система взвинчена до предела и требует разрядки. На отдыхе чье-то падение вызывает дружный хохот, а удачная шутка, особенно с глубоко интимным уклоном, – смех до колик. Со стороны все это больше похоже на истерику. Так оно и есть. Но что делать, нам всем здесь здорово достается...

Вот кто-то протягивает мне кусок хлеба с тушенкой. Не замечая подвоха, я радостно вцепляюсь в него зубами и чуть их не ломаю. В хлебе патрон от «калашникова»... Шутник так хохочет, что падает спиной в костер и никак не может встать. Он визжит и захлебывается от смеха, несмотря на горящие штаны... Все в полном восторге. Да и я тоже.

Вот один боец вскакивает, низко наклоняется и, не сгибая ног в коленях, упирается руками в землю. Другой, мигом сообразив, в чем дело, подскакивает к нему сбоку. Он делает вид, что опускает ему в зад, то есть, пардон, в ствол миномета, мину. Затем он отшатырывается и, присев на корточки, зажимает руками уши. «Миномет» шумно пускает ветры... В зависимости от громкости знатоки определяют его калибр. Некоторые залпы действительно впечатляют...

После «поесть» и «пошутить» особенной популярностью пользуются рассказы о женщинах. У большинства из нас никогда и ничего с ними не было, но все

корчат из себя бывалых развратников, уставших от долгого и тяжелого порока. Стремясь поразить друг друга, мы переходим все грани приличия. Даже камни – и те, кажется, краснеют от наших «воспоминаний». Удачные истории пересказываются по многу раз. Сюжет их с каждым разом все более захватывающ и похабен...

Мишка, на удивление всем, рассказывает трогательные и неожиданно целомудренные истории. В них он всегда остается ни с чем, а коварная девушка уходит от него к другому. Его рассказы всем очень нравятся. В них чувствуется нежность. Но мы еще очень молоды и стыдимся своих чувств. Чтобы скрыть свое замешательство, все просят рассказать что-нибудь меня. Я пользуюсь репутацией «знатока». Порой мне удается выдавать такие пошлости и словесные кульбиты, что самому потом противно... Зато ни у кого больше не возникает сомнений в моей причастности к греху. Сами понимаете, как это важно...

– У меня соседка по этажу, – начинает один боец, и все сразу подсаживаются ближе, – во-о-от с такими титьками.

Начало истории нас воодушевляет, и мы рассказываемся вокруг него, как похотливые обезьяны. Предвкушая подробности, мы дружно закуриваем.

– Во-о-от такие! – повторяет он и рисует в воздухе заманчивые полусферы.

– Ого! Четвертый, наверно?

– Не... Пятый. Точно, пятый.

– Слышь, Шланг, это какой?

– Покажи-ка еще раз!

– Во!

– Да таких не бывает!

– Ну, вот такие. Не меньше!

– Пятый размер. Железно!

– Пятый! Вот это да! Вот бы...

Довольный рассказчик дает нам вдоволь посмаковать «предмет» истории. Когда страсти немного стихают, он продолжает:

– Захожу я как-то к ней, уж не помню, что мне надо было...

– Известно, что тебе надо было! – не выдерживают бойцы. – Да уж точно не за солью заходил, подлец ты этакий! А с виду тихий! Ну, ты ее...

И дальше следует невыразимая тирада, сопровождаемая узнаваемыми движениями...

– Да нет... Я еще молодой был... Да и она не такая... Она хорошая...

– Это с такими-то «этими» и «не такая»? – не унимаются ребята. – Тебе сколько лет-то было?

– Шестнадцать... – сокрушается боец.

– Да-а-а, маловато.

– А ей сколько?

– Двадцать три вроде...

– Самый сок! – авторитетно вставляю я.

– Ну и чего? Не тяни!

– Ну, стучусь я, а дверь не заперта. Я захожу. По-соседски!

– Ага! И хватъ ее за жопу – ну так, «по-соседски»!

Мы ржем как кони. Вот ведь загнул – «по-соседски»!

– Да нет же! Захожу, а она в ванне, белье стирает... Не слышит, что я вошел.

– Эх, меня б туда... Уж я б не растерялся!

– Посмотрел бы я на тебя! У нее муж два на два. В пыль сотрет. Кулак как буханка.



– Точно! А хрен как батон!

От хохота трясутся стены. Еще немного, и сдетонируют наши гранаты.

– Короче, выходит она из ванной, а из одежды на ней только шортики да футболка. И прямо на голое тело. И вся такая распаренная... влажная... А грудь так и колыхнется... Тяжелая такая... мягкая... округлая...

Кто-то шумно сглатывает слюну и нервно кашляет. Картина завораживает...

– И? – хрипим мы как единый организм.

– А я в ступоре! Ни рукой, ни ногой! И язык проглотил. Пялюсь на нее, и все! Она злиться начинает. Чего, говорит, молчишь? Зачем пожаловал? А потом ниже-то посмотрела, на штаны, да как засмеется! Экий ты скорый, говорит. А у меня там как будто базука спрятана! Аж трещат! Я совсем растерялся. Стою, красный как рак. А она вдруг прекратила смеяться и ближе подходит. А глазищи так и светятся...

– Пряма так и светятся?!

– Да точно тебе говорю! Ведьма, да и только!

– А красивая?

– У-у-у!!! Глаза зеленые, волосы выются, талия тонюсенькая-тонюсенькая... Подходит и ласково так по щеке мне рукой проводит... У меня коленки так и задрожали. А потом наклоняется ко мне и целует в губы...

Он замолкает. Мы ждем продолжения, но он совершенно забывает про нас. Его лицо становится серьезным и отрешенным.

– И все? – робко тянет кто-то.

– Все.

– Так и ушел?

– Она меня вытолкала сразу. Я и глазом моргнуть не успел.

– Во стерва! Муж, муж... А сама...

– Да развелись они. Бросил он ее...

– А-а-а. Тогда понятно...

– Да ничего тебе не понятно! – солдат вдруг вскипает и весь заливается краской. – Ни хрена тебе не понятно! Ясно тебе? Ни хрена!

– Да ясно, ясно... Псих ненормальный! Сам же начал...

– Ну и все! Закончил! – и рассказчик угрюмо отворачивается.

Все неохотно расходятся. Концовка наводит уныние. Остаемся только мы с Мишкой. Боец поворачивается и, ни к кому не обращаясь, говорит, глядя в пространство:

– Вот вернусь, оденусь поприличнее, куплю цветов, торт и вина какого-нибудь хорошего, и к ней пойду. Зайду и скажу: «Ну, здравствуй, мать! Принимай гостя! Солдат вернулся». А потом будем сидеть у нее на кухне, и разговаривать, и вино пить... И вообще... – Его глаза заблестели, он встал и выплюнул окуроч. – Если вернусь, конечно.

– Вернешься, – тихо говорит Мишка и кладет ему руку на плечо. – Все вернемся.

Но тот только отмахивается и отходит, пряча ото всех лицо. Его плечи вздрагивают. Мы докуриваем молча, говорить не о чем.

Бой гремит где-то впереди нас, постепенно приближаясь. Судя по грохоту, там суший ад. Это странно. В последнее время федералы уверенно держат город днем, и «духи» все реже противостоят открыто. Другое дело ночью, когда город принадлежит им... Но вот все стихает. Только изредка постреливает пулемет. Мы немного расслабляемся. Так проходит минут 30, и мы начинаем думать, что день пройдет спокойно.

Расположившись на втором этаже пятиэтажки, занятой нашей группой, среди голых каменных стен мы по облику и повадкам олицетворяем типичных пещерных людей. Только вместо дубин у нас под рукой автоматы. Мишка готовит на маленьком костерке нехитрый обед. Я, как голодный кот, вьюсь вокруг. Еда воспринимается как несомненное благо, и ее запах притягивает как магнит. Я мешаюсь, и Мишка покрикивает на меня и норовит треснуть «половником», но я лишь уворачиваюсь и снова начинаю сужать круги... Еда, как можно отойти от нее! К тому же Мишка, как заправский солдат, может приготовить молочного поросенка из старой дохлой вороны... Когда Мишка, как будто ненароком, показывает мне большой кусок сырокопченой колбасы, этого неземного, божественного деликатеса, я начинаю подвывать... И где он ее достал? С ума сойти!

– Ну что же он так долго! Палач!

– Терпи, солдат! Тяжело в лечении, легко в гробу! Еще пять минут.

– Ну, смотри, если больше! Буду вынужден применить оружие...

Мишка улыбается. Без него я бы пропал. Наконец все готово, и мы наслаждаемся его варевом. Потом, глотнув водки, отправляем в рот по куску колбасы, и стон блаженства плывет над руинами...

– Мишка, ты – человек! Ты – царь зверей и прочих больших и маленьких существ! Я преклоняюсь пред тобой! – Я встаю на четвереньки и усиленно виляю задом. – Дай еще колбаски, а?

– На вечер оставим! – отвечает мой друг и невозмутимо откусывает от остатков колбасы большой кусок.

Я рычу как раненый лев и уже готов «броситься и растерзать» его, но в последнюю секунду перед прыжком колбаса летит мне в пасть...

– На! Животное... Вымой посуду, когда поешь, и принеси мне коньяк и сигары... Они там, на южной веранде, со стороны залива... И помойся, в конце-то концов!

– Хорошо, хорошо, белый господин! – мычу я с набитым ртом. – Тупой, глупый туземец исполнит все, что велит ему хозяин...

Довольные и сытые, мы курим и посмеиваемся. Потом я дремлю, а Мишка сторожит наш покой.

При первых же выстрелах я вскакиваю. Сна как не было. Наш уютный мирок рвется от очередей. Воздух наполняется свинцом и гарью. Мишка, стоя у дальнего окна, бьет короткими очередями.

– «Духи!» – кричит он мне, но это и так ясно.

Я подлетаю к дырке в стене и тоже начинаю стрелять.

– Господи, – вырывается у меня, – да сколько же их?!

– ...! – трехэтажно орет мне Мишка. – Долбай их!

Как выяснилось позже, вытесняемые сибиряками «духи», оторвавшись от преследования, неожиданно наткнулись на нас и решили прорываться с боем. Как черти они появлялись изо всех щелей и неслись вперед. Стреляя не прицельно, но плотно, они стремительно приближались. Их было гораздо больше, но мы удачно были прикрыты с флангов, и им приходилось штурмовать нас в лоб. Это несколько уравнивало шансы. Понимая, что отступить не получится, мы дрались с мрачной решимостью.

Двое «духов», петляя, бегут прямо на нас. Их траектории сходятся, и мы с Мишкой одновременно стреляем. Столкнувшись, они вертятся на месте и падают. Их пронзительные крики слышны даже сквозь шум боя. Второпях мы взяли прицел здорово ниже, и все попадания пришились им в пах и в ноги. Мы переносим огонь дальше. Нами руководит отнюдь не милосердие, а только холодный

расчет. Сейчас они не воины, и мы не тратим на них время и патроны. Их черед придет позже...

Несмотря на ощутимые потери, они подходят все ближе. Это совсем не похоже на фильмы про войну. Все происходит очень быстро и дергано. Лихорадочная дрожь автомата, звук пуль, влетающих в окно и бьющих в вертикально поставленные у стены доски, ругающийся Мишка, меняющийся очередной магазин, мат, грохот и гильзы, на которых скользят ноги...

«Духи» совсем близко, еще немного, и бой закипит в здании. С обеих сторон летят гранаты. Все завлакивает пылью и дымом. Почти ничего не видя, бьем на вспышку, на движение, на крик. Нам нужно еще по паре рук каждому, чтобы бросать гранаты и менять магазины. Иначе нам их не сдержать. Неожиданно из соседнего окна слева от меня длинно ударяет пулемет. С такого расстояния его огонь ужасающ. Сразу несколько человек, как снопы, оседают на асфальт. На их место набегают новые и тоже падают. Кажется, выдержать такое невозможно, однако «духам» тоже терять нечего. Они валят и валят, почти не останавливаясь, перепрыгивая через трупы и стреляя на ходу. Их лица искажены страхом и яростью. Это похоже на бойню.

Мертвыми и умирающими завалены все подходы к дому. Резко пахнет горелым мясом. Огонь нападающих концентрируется на пулемете, но он не умолкает и упрямо бьет длинными очередями. На смену позиции ушли бы драгоценные секунды, и пулеметчик их не теряет... Он пытается спасти нас всех. Понимая это, мы стараемся хоть как-то его прикрыть. Почти не прячась, лупим из окон, что-то крича. Нам нужно совсем чуть-чуть, и атака захлебнется, но силы слишком неравны. Я почти чувствую, как несколько человек с РПГ выскальзывают из дома напротив, и залпом бьют по окнам. Сразу три заряда накрывают пулемет, а с ним и меня...

Очень медленно, как пузырь на вскипающем кофе, стена слева вспучилась, дала сотни трещин и вдруг со страшной силой обрушилась на меня, сломав плечо и пробив голову. Я пролетел через всю комнату и, лишь ударившись о другую стену, потерял на несколько секунд сознание. Я очнулся и не очнулся. Часть меня все еще плыла где-то между небом и землей, тщетно пытаясь воссоединиться с моим телом. Голова казалась бетонным шаром, огромным и тяжелым, весь мир был отделен от меня полупрозрачной стеной, которая смазывала краски и притупляла звук. Кусок арматуры почти пробил мою каску и продавил череп почти на сантиметр. Кость была вдавлена, как скорлупа на яйце, и в эту рану торжественно и тихо, как снег в Рождество, опускалась бетонная пыль.

Я лежал на боку и всем своим телом ощущал тяжелое биение сердца. Неосознанно пытаясь выбраться из этого страшного места, я перебирал ногами, но они не слушались меня и только слегка вздрагивали. Далеко впереди меня, то заслоняя свет, то снова открывая его мне, метался какой-то человек. Он стрелял из автомата, перебегая от одного окна к другому. Сквозь плену до меня доносились длинные автоматные очереди. Затем звук невероятно усилился, и стали слышны истошные крики и грохот гранат. Сибиряки, преследовавшие боевиков, наконец настигли их.

Оказавшись в огненном мешке, «духи» отчаянно сопротивлялись, но их участь была решена. С ходу ударив с тыла, их смяли и безжалостно расстреляли в упор. Но меня это больше не беспокоило. Я никак не мог вспомнить, кто же это у окна. Когда он оборачивался, его лицо было неузнаваемо искажено и грязно, он что-то кричал мне, но я не слышал и все силился вспомнить, кто это. Густой приторный жар стал разливаться по моему телу, глаза слиплись и стали гореть. Казалось, что

они сейчас вспыхнут. Я закружился в сухом, обжигающем вихре, который был слишком жарким, чтобы в нем можно было дышать. Я захрипел, и мои губы сами собой зашептали: «Алеша... Алеша... Алеша...».

Меня приподняли и понесли. Потом остановились. Кто-то сказал, что я уже умер. Другой голос сказал, что нет, бормочу еще... Живой пока... Мишка обложил их последними словами, и движение продолжилось. Как тонущий корабль, уже оставленный своим экипажем и медленно погружающийся в пучину, я все еще слал в эфир свой SOS – «Алеша... Алеша... Алеша...». Но вот последние звуки оторвались от меня, и я стал падать в горячее красное облако, не переставая шептать свое имя, то последнее, что связывало меня с миром людей. «Алеша... Алеша... Алеша... SOS... SOS... SOS...»

* * *

Я проснулся поздно и долго лежал в постели. Идти никуда не хотелось, и я просто наслаждался покоем раннего утра. Шторы были не задернуты, и было видно, что день будет теплый и солнечный. В 12 за мной придет автобус, и мой отдых закончится. А пока можно еще поваляться. На завтрак я тоже не пошел.

Наконец, встав, я долго принимал душ, а потом долго и тщательно брился. Потом я голый ходил по номеру, курил трубку и собирал свои вещи. Их было немного, и все они уместались в спортивной сумке. Туда же я убрал недопитую бутылку рома. Было неплохо выпить с утра, но я решил сначала закончить все дела, а уже потом спокойно заглянуть в бар. Я оделся и еще раз осмотрелся. Вроде ничего не забыл. Я взял сумку и спустился вниз. Портье, как и всегда, курил с самым задумчивым видом. Я положил ключ на стойку.

- Все? – Он выпустил колечко дыма.
- Да... Пора!
- В Москву?
- Да.
- Там же очень холодно!
- Я знаю.
- Сколько там сейчас?
- Минус 18.
- Ужас! Оставайтесь.
- Не могу.
- Жаль! Когда вы вернетесь? – Для него это был явно решенный вопрос.
- Не знаю... Может, летом.
- Приезжайте лучше в мае. Летом в Афинах слишком жарко!
- Я постараюсь.
- Обязательно приезжайте!
- Хорошо.
- Счастливого пути!
- Спасибо. Удачи!
- И вам!

Я оставил вещи у стойки и посмотрел на часы. До автобуса было больше часа. Я зашел в бар и заказал джин с тоником. Я был единственным посетителем, но меня это не смущало. Ничего не было в том, что мужчина хочет выпить утром что-то покрепче кофе... Джин был хорош, и я медленно смаковал каждый глоток, касаясь губами кубиков льда в стакане. От нечего делать я стал рыться в бумаж-



нике. Чеки, квитанции, последняя мелочь... В дальнем отделении сложенная пополам фотография. Она сильно истрепана и склеена скотчем. Обычный любительский снимок. На нем семеро молодых ребят. Все в форме и с ног до головы увешаны оружием. Почти все улыбаются. За нашими спинами, если хорошо приглядеться, видны дома. Это пригород Грозного. Города, который отберет у многих попавших туда жизнь и у всех молодость. Через неделю мы будем там...

Слева наверху Витька Валидол. В первые дни боев он добудет где-то сотню обкладок валидола. Он будет есть его, как мятные таблетки, одну за другой, штук по 40 в день, утверждая, что он вкусный. Мы будем спорить, станет ему плохо или нет. Плохо ему станет от другого. Пуля пробьет ему бронежилет и застрянет в левой лопатке. Ее долго не смогут вытащить, а когда достанут, решат, что он уже мертв, и отложат... Он выживет.

Следующий я. Кличка Шланг. Обидно, но так и есть. Я тощий и длинный. Шея торчит из бушлата. Глаза закрыты. Я, конечно же, моргнул.

Дальше Серега. У него СВД. Так его и зовут. Он пройдет через все без единой царапины. Спасет и похоронит многих ребят. Вернется домой и снова уедет в Чечню. И снова вернется целым. Немногословный и надежный. Иногда мы со званиваемся.

Рядом с ним Юрка Граната. При зачистке неудачно брошенная граната отлетит обратно. Пока все будут «думать», он на нее ляжет. Она не взорвется. Потом, минуты через две, когда нам будет куда отойти, он поднимется и бросит ее в шахту вентиляции. Она не взорвется и там. Взрыв произойдет где-то внутри него. После этого он сломается, перегорит. Будет ходить как во сне. Лакомый кусочек для снайпера. Его будут беречь, и он постепенно отойдет. Только взгляд останется чужим... Его убьет свой же снаряд, за день до нашего выхода.

Слева внизу, на корточках, Колька. Получить прозвище он не успеет. Он исчезнет почти сразу, а его изувеченный труп найдут только через месяц. Мы сами не видели, но, говорят, кошмар...

На его плечо облокотился Валерка Снегирь. Невысокий и пухлый, он очень стесняется своего огненного румянца на обеих щеках. Отсюда и кличка. Тоже проходит все. Дважды попадает с колонной в засаду. Начинает сильно заикаться.

Последний – Мишка Грек. У него греческие корни. Он единственный из нас, кто был за границей. Подростком он три раза летал в Грецию. Видел Афины, Олимп и легендарные Фермопилы. Когда есть возможность, он рассказывает мне об увиденном. Я заворожен. Особенно Афинами. В моем воображении они похожи на Одессу, только больше, лучше и светлее. Он учит меня несколькими словам по-гречески. «Нэ», «охи», «эфхаристо», «калимэра»* звучат для меня как волшебные заклинания. Заклинания от смерти... На фотографии он улыбается. Он вообще улыбчив. У него открытое лицо, прямой нос и большой рот с тонкими плотно сжатыми губами. В уголке рта сигарета, для солидности... Он погибнет через пять лет после войны. Ранним московским утром он разобьется на своем новом мотоцикле, на совершенно пустой улице. Шлем ему не поможет. Просто несчастный случай.

По дикому стечению обстоятельств, я узнаю об этом не сразу. Мне позвонят через несколько дней, поздним вечером, накануне выдачи праха. Я долго буду сидеть у телефона, не в силах принять произошедшее. Светлым и очень солнечным октябрьским днем я выйду из дома и куплю в ночном магазине бутылку

*Иск. греч. – «да», «нет», «спасибо», «доброе утро».

пшеничной водки. Глотну из нее, перейду Щелковское шоссе, сяду на 760-й автобус и доеду до конечной остановки «2-й Московский крематорий». Урну долго не будут выдавать, а когда нас позовут, все растеряются. Тогда я сделаю несколько шагов и получу в свои руки пепел моего друга. Толпа расступится, и я выйду на улицу, прижимая его к груди. Мы рассядемся по машинам и поедем на другое кладбище. И только тут, держа на коленях холодную и такую маленькую, ужасно маленькую урну, я пойму, что же произошло, и заплачу.

Я сделал еще глоток и загрустил. Я вдруг показался себе абсолютно одиноким и потерянным. Такое чувство я испытывал ребенком, если вдруг терял родителей в магазине. Тогда я очень пугался. Сейчас я сидел где-то в Афинах и потягивал свой джин, стараясь держать себя в руках.

После такой острой тоски обычно приходил страх. Пустой и безликий, он тихонько вползал в меня, и мое сердце сжималось, как пойманная птица, а потом начинало метаться в груди, стараясь вырваться на свободу. Я знал, что стоит только немного поддаться панике, и она полностью захватит меня. Мне будет казаться, что я теряю сознание и задыхаюсь. Захочется куда-то бежать, а потом лечь и трястись как осиновый лист, прислушиваясь к себе, и ожидать чего-то еще более страшного и непоправимого, чем смерть. Потом будут пригоршни таблеток, и слабость, и невралгия, и головокружения. Память будет услужливо подбрасывать омерзительные картины мертвых лиц, грязи, боли, бесконечных больничных коридоров и долгих недель немощи, обреченности и пустоты.

Все это уже бывало со мной, и от этого становилось еще страшнее. Замкнутый круг привычно сжимал меня, вытесняя воздух из легких и делая весь мир вокруг исполненным какого-то мрачного предзнаменования. Мой бег от себя заканчивался, но я никак не мог в это поверить и продолжал ползти из последних сил, чувствуя на себе дыхание надвигающейся тьмы. Я очень устал, и, в сущности, мне было все равно. Мое прошлое пугало меня больше, чем будущее, и я готов был к встрече с чем угодно. Я встал и вышел в туалет. Ладони были холодными и липкими, меня трясло и мутило. Я умылся и взглянул на свое отражение. Мрак. Я с трудом держался, мне казалось, что я уже упал и бьюсь в конвульсиях, а на мои крики сбегается персонал. Картина была так реальна, что я окончательно поبلеднел.

– Держись... Держись... — услышал я собственный голос, больше похожий на хрип. — Держись... Бывало и хуже! — Я разозлился и почти крикнул: — Хуже бывало, хуже! Хуже, Лешка, хуже!

Это подействовало. Я потряс отражению кулаком и еще раз умылся. Потом вытерся салфетками и вернулся на свое место. Бармен равнодушно смотрел футбол. В моей жизни случались вещи и пострашнее этих припадков, они были лишь следствием, и глупо было поддаваться им. Так или иначе, но это должно было закончиться. Внезапно, как когда-то в Грозном, я понял, что не испытываю больше никакой тревоги. Будь что будет!

Я заказал еще джина и стал пить, глядя на экран. Что-то покидало меня. Легкое, волнующее, совершенно новое для меня чувство витало где-то рядом. Его можно было схватить и сжать в руке. Я боялся вспугнуть его и в то же время понимал, что все зависит только от меня самого. Тьма стояла рядом со мной, и встречи с ней мне было не избежать. Но теперь я рассчитывал пройти ее и вернуться обратно, как когда-то, много лет назад, в Чечне. Я не сдамся. Я должен победить, иначе все не имело смысла. Я невольно выпрямился и напрягся, но почти сразу расслабился. Какие странные у меня сегодня мысли! Может, это и есть старость? И я улыбнулся, впервые за этот день.



Мне стало очень хорошо, и я ощутил сильный голод. С большим аппетитом я съел салат, несколько рогаликов и выпил чашку кофе, потом расплатился и вышел на улицу. День разгорался, и было приятно вдыхать его морской запах. Мой отель был последним на пути в аэропорт, и, забрав меня, водитель поехал совсем быстро. Мимо проносились пальмы и залитые солнцем пляжи. Потом мы свернули, и море больше не было видно, но я все равно чувствовал его присутствие.

В аэропорту было пустынно и прохладно. Я не любил предполетные формальности и заранее приготовился к долгому и невнятному хождению от одного контроля к другому. Но, как всегда и бывает в таких случаях, все прошло на редкость быстро. Наш рейс улетал вовремя, и я, не успев как следует заскучать, оказался на борту. В довершение всех удач, загрузка оказалась неполной и было много свободных мест. Я занял сразу три кресла в самом конце салона. Комфорт мне уже давно не вредил... Стюардессы предлагали воду и конфетки. Одна из них была по-настоящему красивой. Ее серые глаза смотрели строго и немного холодно, но от этого она только выигрывала. Мне очень хотелось поговорить с ней, но я знал, что у них тяжелая работа, и не хотел ее усложнять. Я лишь попросил стакан воды и спросил ее, сколько нам лететь. Она приветливо ответила. Чудесная девушка. Я застегнул ремень и стал смотреть в иллюминатор. Самолет вырулил на старт, взревел и понесся по полосе. Все замелькало, и вот мы уже парим в небе, и где-то далеко-далеко внизу прощально белеют Афины.

Когда подавали обед, он уже спал. Она хотела разбудить его, но не стала, вспомнив, что он выглядел усталым, когда просил у нее воды. Она еще подумала, что, когда он спокоен и не хмурится, у него красивое лицо. На столике перед ним лежала стопка бумаги. Несколько исписанных листков упали на пол и разлетелись. Она подняла их и аккуратно положила рядом с ним. Он не шевелился, и было видно, что ему снится что-то хорошее. Она постояла еще немного и отошла. У нее было много других дел...

Во всей красе

ПОУТРУ

Туман пьёт росу — приворотное зелье.
В лугах — вжик да вжик — косит сено коса.
Пастух, не продравший ещё с похмелья
Заплывшие сизым угаром глаза,
Зевая, прогнал вдоль по улице стадо,
Привычно-попутно ругая подряд
Коров, полусонных хозяек, их чада,
Что вечно сломать что-нибудь норовят.
Бежит молоко через ситечко, пахнет
Горячим раздольем цветущих полей —
Уж молокосборщик в линялой рубахе
Гремит мне ведром у калитки — скорей!
Телёнок напоен, и чавкает свинка,
Забравшись в корыто под летний навес.
Гусыня с гусятами, как на картинке,
Бредут, утопая в высокой траве.
Собака доверчиво-ласково смотрит,
Пытаясь лизнуть у хозяйки лицо.
Петух разорался, хрипит как чахотный —
Доволен, что кура снесла нам яйцо.
Во всей красоте своей выплыло солнце —
Погожий денёк, видно, будет опять.
И я наконец-то сажусь под оконцем
И думаю: надо пойти мне поспать.

МОЕ ЛЕТО

Моё лето так
Пахнет травами;
Сладкой мятой
И горькой полынью!
В небе за
Облаками дальними

Татьяна Адигамова родилась 19 декабря 1975 г. в селе Роскопанцы Богуславского района Киевской области на Украине. Окончила Роскопанецкую 9-летнюю школу, Богуславское педагогическое училище. В 1995 г. уехала в п. Троицкий Благоварского района Республики Башкортостан. Вышла замуж, родила двоих детей. В 2002 г. закончила БГПУ, исторический факультет. Работает учителем в поселковой средней школе.



Дождик прячет
Радугу синюю.
Моё лето
Наполнено шёпотом
Тополей
И акаций жёлтых.
В них запутались
Тихие рокоты
Тёплых гроз,
Умывающих солнце.
Моё лето шумит
Взволнованно
По дороге
Печальными каплями
И звенит паутинкой
С прикованной
К ней —
Блестящей росой зеркальной.
Моё лето хрустит
Арбузиком,
Сладкий сок по щекам
Размазав.
Ярче солнца горят
Тыквы грузные,
Не поднять их так просто,
Сразу.
Моё лето —
Трава непролазная,
Руки, чёрные
От огорода,
И усталые
Ноги грязные,
И — свобода.

В КУХОНЬКЕ

Мы в тесной кухоньке вдвоём
Сидим с подругою и пьём
Иль чай, иль что покрепче.
И постепенно на душе
У нас становится уже
Теплей и как-то легче.
То звякнет вилка о фарфор,
Вдруг смех нарушит разговор,
А кошка хлеб утащит;
И мы о чём-то говорим —
Да обо всём: бастует Крым,
Какие груши слаще...
Мешают дети — то попить,

То мультим им другой включить,
Ещё и раздерутся!
Но нам охота не кричать,
Не драчунов всех разнимать —
А просто улыбнуться.
Часы на стенке нам: тик-так!..
Но мы с подружкой никак
Не можем согласиться
С тем, что пора бежать домой,
Где муж сидит голодный, злой,
Орут свинья и птица.
Наверное, причина в том,
Что очень важно нам вдвоём
Хоть изредка встречаться
На тесной кухне, просто так,
Какой-то обсудить пустяк,
О чём-то пошептаться.

ДВЕ ПОДРУГИ

У одной моей подружки
Дом-домище каменный,
Облицован он шикарно
Серой плиткой мраморной.
На огромных светлых окнах
Шторы всё атласные,
В комнатах хрусталь да мебель
Дорогая, классная.
Но приду к ней в гости — сразу
Будто виноватая:
Никуда нельзя садиться —
Продавлю кровати ей,
Ничего нельзя потрогать —
Разобью, испорчу вдруг!
И сижу на крае стула,
Словно я — не лучший друг.
Разговоры у подружки
Всё такие важные:
Сколько золота купили
Ей на ухо каждое;
Баба с дедом три коровы
Отдают в приданое,
А вчера богатый парень
Назначал свидание...
Посижу в гостях я скромно
(Чаю не предложат мне)
И пойду к другой подружке,
Где фиалки на окне.
У другой моей подружки



Дом-домишко старенький,
Кое-где облезла краска,
Покосились ставенки;
На окошках занавески
Скромные, весёлые.
Сядем рядом на диване:
Расскажу о школе я,
Посмеюсь над анекдотом
Про еврея жадного,
Обниму свою подругу —
Всё уйдёт досадное,
На душе легко и просто
Станет за мгновение...
И уже почти в потёмках
Выхожу к ней в сени я,
Со слезами поцелую
В щёчку на прощание,
В гости приезжать почаще
Дам ей обещание.
Сяду в поезд и уеду
В Башкирию дальнюю,
Там заплачу, вспоминая
Милую Наталию.

У ОКОШКА

В кухне у меня два небольших окошка:
Одно — на рассвет, другое — на закат.
В них рыжее солнце, как ласковая кошка,
Греет толстый бок много дней подряд.
Потянется томно косматыми лучами,
Потрогает ломти хлеба на столе,
Попьёт из моей чашки немного чаю,
Осветит пылинок сказочный балет.
Принюхиваясь жадно, тянет лапу к супу,
Наевшись до отвала, сверкает в небесах
И выглядит при этом ничуть не глупо,
Слизывая крошки, застрявшие в усах.
После обеда крышу лениво перелезет,
Повиснет на карнизе и, помахав хвостом,
Уляжется, свернувшись, там, за лесом,
Мурлыкая довольно на языке простом.
Рукою помашу ему, прощаясь до рассвета,
И долго ещё вижу, как в дальние края
Сползает солнце сонно, а в небе уже светит
Бусинками-глазками звёздная семья.

* * *

Тает снег, звенит ручьями быстрыми,
Пробивая путь себе везде.
Возле уха, громче звука выстрела,
Крик грачей, дерущихся в гнезде;
Лай собачий мокрый, чуть простуженный;
У колодца — хохот, плеск воды.
День весенний — шумный и загруженный.
Тихо только в облаках седых.

ВЕСНА ИДЕТ

Вдруг заволнуется в груди,
Из дома позовет,
Шепнет мне: «Ну же, выходи!»
Нырну в пальто и вот
Стою под небом я большим,
Холодным, голубым,
Смотрю на вялый серый дым,
Что лезет из трубы.
Ещё сугробы высоки,
Кусается мороз,
Ещё лёд крепок у реки,
И воздух весь промёрз;
Дрожат деревья на ветру,
И солнце редкий гость.
Ладоншкой щёки разотру,
Добавив снега горсть.
Пропел воробышек: «Чирик!»,
Промчался по двору,
Потом нахохлился и сник.
Пёс юркнул в конуру,
Зарыл в солому чёрный нос,
Поджал калачик-хвост.
Дом снегом полностью оброс,
Как в шубе во весь рост.
Но, может, в облачке вон том,
В сосульке, что растёт,
И в пеньё птиц — везде, во всём
Прочту: весна идёт!

Хлеб, любовь и фантазии



Это случилось душным июньским утром 1982 года. Виктор Александрович Карелин, старший инженер «гиганта индустрии», ехал в переполненном трамвае на работу. Он пытался расслабиться и вздремнуть: по приблизительным подсчетам, опять недобрал до полноценного сна часа два.

Накануне вечером лег в постель пораньше. Соседский телевизор выпускал пулеметные очереди, рыдал саксофоном, о чем-то умолял женским голосом и невнятно бубнил глухим мужским.

Виктор Александрович крутился в постели, как веретено. Услышав позывные программы «Время», он бросился обличать своего начальника в беспринципности. Под сводку погоды начал темпераментно излагать ему план перестройки отдела. Сначала один вариант — реальный и бескрылый, потом другой — фантастический и до головокружения

заманчивый.

Когда мягкая простыня свернулась в жгут и впилась ему в бок, он решил разом покончить со всеми производственными проблемами. Мобилизовав волю и воображение, представил себе усредненный черноморский пляж для «дикарей». Осторожно, боясь наступить на распятых людей, он пробирался к морю. Вот оно, желанное. Окунул в него горячие ступни ног, натянул ласты и плюхнулся спиной в набежавшую волну. Перевернулся и легко, размеренно поплыл к горизонту.

В открытом море ему попался почему-то не теплоход, а морж. Подплыв поближе, он узнал в нем заместителя начальника отдела. Тот фыркнул, нырнул и, схватив Виктора Александровича за пятку, потянул его на дно. Карелин изловчился, сиганул вверх... выплюнул изо рта подушку — и проснулся. Надо было все начинать сначала.

Он испробовал устный счет, вспомнил убаюкивающую мелодию Поля Мориа. Все напрасно. Потом распластался на мягкой, зеленой траве, уставился в небо. Оно было чистым, без единого облачка. И Виктор Александрович растворился в нем...

Теперь он трясся в трамвае и хотел раствориться в небе еще раз, хотя бы на несколько транспортных остановок. Со всех сторон его надежно подпирали чьи-то спины и бока. Для полного комфорта ему надо было только стряхнуть с плеча тяжелый и назойливый локоть верзилы. «Впрочем, не будем привередничать,—

Коваль Юрий Никифорович родился 23 октября 1936 года. Один из ведущих уфимских журналистов. Работал в газетах «Ленинец», «Советская Башкирия», «Вечерняя Уфа», в журнале «Бельские просторы». Автор книг «Люди с архипелага УМПО», «22 интервью с УМПО», многочисленных публикаций в республиканской прессе.

одернул он себя. — Бывало и похуже». Карелин почувствовал себя частью громадной доисторической гусеницы по имени Утренний трамвай и сразу успокоился. И стал придумывать сны.

Он не успел понять, каким образом тонкая бесплотная рука проникла в его грудную клетку и нежно и сильно сдавила сердце. Раз... Другой... Третий. Обмякшее, непослушное тело Карелина стало сползать по чьим-то мокрым спинам, как по желобу, на пол. Ему очень хотелось глотнуть полной грудью свежего воздуха, но из этой затеи ничего не получалось. Потом две спины развернулись, подхватили его под руки, выволокли на улицу и осторожно усадили на скамейку. Одна из них пророкотала добродушным басом: «Слабак, надрызгался с утра пораньше...» «Меня, кажется, приняли за алкаша», — вяло, как о постороннем, подумал о себе Виктор Александрович. Он с трудом приоткрыл глаза. Знакомые места: кинотеатр с колоннами времен архитектурных излишеств, сквер — в нем копошилась женщина с метлой, пустой, сверкающий витринами универсам. Неподалеку должна была быть аптека. В этот ранний час она, пожалуй, была еще закрыта.

Минут через двадцать, боясь расплескать свои внутренности, Карелин поднял себя со скамьи и на ватных ногах поковылял в аптеку. Каждый шаг острой болью отзывался в сердце. Он шел по улице родного города как новорожденный, как человек, который учится ходить и познавать окружающий мир. Мир, в котором не было звуков и воздуха. Карелин почему-то не мог воспринимать людей и предметы целиком, в глаза ему назойливо лезли их отдельные и не самые лучшие части. Его заторможенное сознание отмечало облупленный угол розового дома, зрелость листвы, в которой были уже зачатки увядания, небрежные синие тени на веках прохожей, наметившуюся лысину на голове энергичного юноши.

Карелин доковылял до аптеки, с трудом открыл тяжелую, темно-желтую дверь и спросил у маленькой, сухонькой женщины в белом халате и белом колпаке: «У вас найдется что-нибудь от сердца?» Ему хотелось сказать это бодрым громким голосом, а вышло тихо, жалко, измученно. Женщина не столько услышала, сколько догадалась, что ему нужно. Она взяла из его дрожащей ладони мятую десятку, вложила в нее стекляшку с валидолом, сдачу и спросила: «Может быть, вызвать “скорую помощь”?» Карелин попытался благодарно улыбнуться: «Спасибо, обойдусь!», затолкал в рот горсть таблеток и вышел на улицу.

Дома, прислушиваясь к себе, он осторожно лег на старый продавленный диван, накрылся с головой бордовым клетчатым пледом и невесело, но спокойно подумал: «Ну что? Первая весть с того света?.. А почему бы и нет? Ведь, если честно, устал жить. Не хочется умываться, есть, толкаться в трамваях и автобусах. Не хочется работать. И отдыхать. Потерял вкус к жизни... Домой, на третий этаж, поднимаюсь пролив десять потов, словно к ногам привязаны пудовые гири. Электробритва непомерно тяжела, кажется утюгом. Ни одну книгу не могу дочитать до конца — неинтересно... А Вера?.. Алешка? Алексей... Ему двадцать. Совсем взрослый. Мы почти не знаем друг друга. Говорим на каком-то ерническом, тарбарском наречии. Алешка: «Салют, батя!» Я: «Привет, кореш. Как дела?» Алешка: «О'кей!» Пустые, ничего не значащие слова. За кажущейся легкостью наших отношений — отчужденность. Алексей давно уж не был со мной откровенным, я ему плачу тем же. А в общем, из него может получиться неплохой парень», — подумал Карелин. Он любил смотреть, с какой нежностью и осторожностью сын берет в свои широченные, круглые, как ковш экскаватора, ладони легких, будто сотканных из воздуха, бабочек и припиливает их к картону, с каким азартом и терпением рассматривает под микроскопом какую-то пыльцу. Днем — на сборочном конвейере, вечером — университет, биофак. Это неплохо: у праздности на счету



много загубленных натур. Иные из них обещали стать недюжинными... Жаль, конечно, что Алексей пристрастился к табаку, а теперь еще завел девчонку, однокурсницу. Все вечера, свободные от занятий, проводит с ней. С ней или у нее? «С ней?.. У нее?..»

В комнату шумно, распахнуто, как отяжелевшая, подраненная птица, влетела Вера Павловна — жена Карелина, женщина пышная, невысокая, с пучком соломенных, крашенных волос на крупной голове. Карелин спал, свернувшись калачиком: правая рука под правой щекой — так его приучили засыпать в пионерском лагере.

Вера Павловна упала на колени, затормошила мужа:

— Почему дома? Ты болен?

Карелин ободряюще мотнул головой и выдавил из себя:

— Все в порядке... Сердце немного прихватило. Да ты не волнуйся...

Жена не слушала его. Она спешила к телефону-автомату. Муж не умел болеть, и если сейчас, средь бела дня, он оказался в постели, — значит, это серьезно.

Появившийся через полчаса пожилой, усталый врач начал проворно втыкать в него маленькие сильные пальцы. При этом он приговаривал:

— Выглядите вы молодцом... Здесь не болит? А здесь? Сколько вам лет?.. Ну, для такого возраста вы просто орел. Дети? Один сын? Маловато. Эх вы, рационалисты. Все прикидываете, какая зарплата, квартира. Боитесь потерять себя из-за детей. Суетитесь... Так больно?.. Гоняетесь невесть за чем...

Врач совсем по-земски припал ухом к впалой груди Карелина:

— Дышите. Глубже... Слышали что-нибудь о разумном самоограничении?.. Не дышите... Хорошо. Собирайтесь. Вам надо немного подлечиться в больнице.

Глаза Веры Павловны повлажнели. Открытой маленькой ладонью она по-детски утерла покрасневший кончик курного носа и стала собирать мужа в дорогу.

...Поддерживаемый молодой ворчливой санитаркой, Карелин вскарабкался на третий этаж больницы, нырнул в пустую тесную палату, лег на скрипучую кровать и мгновенно провалился в бездонную черноту.

Открыл глаза — было позднее утро. Легкий ветерок, сочившийся в открытое окно, гонял по палате клубок тополиного пуха. На соседней койке сидел тучный мужчина в распахнутой пижаме. Опутанный капроновой нитью, он цеплял на нее рыболовные крючки. Для него это был нелегкий труд: он хрипло дышал и поминутно смахивал пот со лба.

Карелин из-под прикрытых век стал рассматривать соседа: добродушное пухлое лицо, круглая голова, обширная лысина. Над затылком, от уха до уха, венец пышных седых волос. Карелин усмехнулся своему открытию: перед ним был Бог из знаменитого спектакля Образцова «Божественная комедия».

Между тем «Бог» почувствовал, что за ним наблюдают, и подал Карелину для знакомства руку:

— Могила.

— Я не ослышался?.. Видите ли, в больнице это слово отдает какой-то мрачной шуткой. Может быть, Могилат? — с надеждой спросил Карелин.

— Увы! Могила я, никуда не денешься. Иван Филиппович Могила, директор арматурного завода.

Карелин назвал себя.

Иван Филиппович оказался словоохотливым человеком. День и ночь рассказывал он медовым голосом о чудесных целительных свойствах рыбалки, о ее профессиональных тайнах. Ослабевшему Карелину хорошо дремалось под не-

скончаемую воркотню «Бога». Но иногда «Бог» взрывался и начинал темпераментно и зло ругать себя за то, что вот уже без малого двадцать лет тянет лямку директора завода. Волнуясь, он жадно высасывал одну сигарету за другой и тут же заходил в надрывном кашле.

Раза два к Ивану Филипповичу в больницу наведывались замы. Они осторожно справлялись у своего шефа о здоровье. Он с еще большей осторожностью справлялся у них о плане. Обмануть его было мудрено, и вскоре в палате вспыхивала импровизированная оперативка. Замы оправдывались, Иван Филиппович курил, хрипел, наседали на них. Чтобы не стеснять его бойцовскую натуру, Карелин незаметно выбирался в коридор, усаживался с книжкой на диван, покрытый белой простыней, и ждал, когда его позовут на очередной укол.

Как-то в пятницу Иван Филиппович по-отечески обнял за плечи лечащего врача Надежду Григорьевну, о чем-то с ней пошептался, изящным жестом опустил в карман ее халата шоколадную плитку «Чебурашка» и стал торопливо, путаясь в рукавах и шнурах, переодеваться. Его лицо излучало свет, пело: «Домой!»

— Посмотрю по телевизору футбол. Чем черт не шутит, возьмут и привезут наши из Испании медали. Съезжу в сад, гляну, что там у меня поспело. Может, удастся вырваться на рыбалку... — перечислял Иван Филиппович соблазны, которые дарила ему жизнь на воле.

— Так до понедельника? — Карелин спустил «Бога» на землю: стоит ли, дескать, так радоваться и суетиться из-за двух-то дней? Но «Бог» не заметил подвоха, пожелал ему: «Всего!» — и был таков.

...Ночью в палату Карелина вползла галлюцинация из далекого детства, из той поры, когда его до беспамятства трепала малярия. Это было бесконечно меняющееся лохматое облако, бесцветное, острое и сухое. Оно недолго витало над Карелиным и исчезло так же внезапно, как появилось. Карелина охватила беспричинная тревога, беспокойство. Его организм стал чуток и трепетен, как камертон. Он слышал, как где-то далеко дрожит земля под колесами товарняка и плачет взвинченный впечатлениями дня беспокойный, по бытовой терминологии, ребенок, слышал скрип половиц в старом доме напротив больницы, торопливые шаги позднего прохожего. Он вспомнил желтый свет от настольной лампы на столе сына, и ему стало очень тоскливо и одиноко. Как тогда, сорок лет назад, в изоляторе пионерского лагеря.

...Его друзья до седьмого пота гоняли футбольный мяч, плескались в реке, а вечером с разбойничьим гиканьем и свистом мчались наперегонки в длинный бревенчатый барак, в кино. Он смотрел на них с балкона, и ему не хотелось жить. Месяц в заточенье — сначала ветрянка, потом коклюш, потом еще какая-то зараза.

«Опять оказался в детстве, — одернул себя Карелин. — В последние годы это со мной случается все чаще и чаще. С чего бы? От старости? Одиночества? Или детство и впрямь — лучшая пора в жизни?»

Он вдруг почувствовал острую потребность рассказать о своем детстве сыну.

Через день жена принесла ему в больницу общую тетрадь и шариковую ручку. Карелин решил.

«...С чего начать? Семейные предания свидетельствуют о том, что я был на редкость горластый ребенок с хорошо поставленным от природы голосом. Вечерами все жильцы нашего трехэтажного дома, верующие и неверующие, молили бога о том, чтобы я поскорее заткнулся.



Я всегда трудно засыпал и трудно просыпался.

Будил меня «Интернационал», долетавший по радиоволнам из Москвы, и поцелуй матери, спешившей на работу. Так они на всю жизнь и слились — поцелуй матери и «Интернационал». Позднее мать прикладывалась к моей щеке под звуки «Священной войны». «Интернационал» и «Священная война» для меня вне всяких сопоставлений и сравнений. Это как для верующих молитва.

Однажды утром, когда в комнате растворились последние звуки «Интернационала», я вдруг с отчаянием и ужасом осознал, что просыпаюсь без обязательного, закономерного, как восход солнца, материнского поцелуя.

Я быстро, наспех оделся и побежал вдогонку за матерью. При этом я ревел во всю полноту своих легких, с обидой и тоской заброшенного ребенка, которому никогда, во всю оставшуюся жизнь не удастся выплакать свое горе. Запас слез в ту пору у меня был поистине неисчерпаем.

Старушки, семенившие в церковь, слышав мой молодецкий рев, спешно крестились. Женщины пытались остановить и расспросами утешить меня. Но я, как распираемый парами локомотив, мчался, ничего не замечая вокруг себя. На горе, около старинного краснокаменного собора, приспособленного по воле городских властей под кинотеатр «Рот-фронт», стояла встревоженная мать. Я уткнулся ей в колени и, дрожа всем телом, все пытался сквозь всхлипывания вымолвить упрек в три слова: «Почему не поцеловала?» Мягкими, теплыми губами мать осушила мою мокрую, соленую физиономию, успокоила и ушла, стремительно и легко, едва касаясь булыжной мостовой.

Так громко и обильно больше я никогда не плакал: через два дня началась война.

...Ты, наверное, не помнишь того случая. Мы с тобой обедали на кухне за маленьким расшатанным столом. Тебе, юному барину, прислуживала, по обыкновению, старая, усохшая бабка. Она старалась угодить своему любимцу: подложила в тарелку кусок мяса получше, потом подсунула теплую ватрушку к чаю. Ты ворчал: «Каждый день одно и то же». И на меня нашло затмение. Я влепил тебе тяжелый, «непедагогичный» подзатыльник. Ты выскочил из-за стола, а я вдруг подумал, что нас с тобой, двух близких друг другу людей, разделяет целая эпоха. Ты, кажется, так и не понял, за что я тебя «уважил». За сутулую спину бабки, которая находит удовольствие в том, чтобы тебе угодить? Отчасти это так. Ну, а в сущности тебя звезданул твой сверстник, вечно голодный дистрофик из 1943-го...

После войны прошло столько лет, а у меня до сих пор не поднимается рука стряхнуть хлебные крошки в корзину для мусора. Я почти машинально смахиваю их с обеденного стола в ладонь и (грешен, батюшка) отправляю в рот. Иногда я теряю над собою контроль и тогда по заведенной в детстве привычке воровато, торопливо облизываю ложку. Однажды ты, перекормленный сын второй половины 20-го века, застал меня врасплох, и тебе стало стыдно за меня: ты решил, что я плохо воспитан.

Что я могу тебе на это сказать?.. А давай-ка заглянем с тобой в столовую усиленного питания.

Она размещалась в полуподвальном помещении. Впускали в нее по карточкам. За длинными столами рассаживались дети. У них были тонкие длинные шеи и желтые прозрачные лица. Тщательно и осторожно они вычерпывали жидкую баланду из дюралевок мисок, надеясь найти на дне горстку затонувших крупинок или заблудившуюся в баланде лапшинку. Среди этих «золотоискателей» был и я.

Мне кажется: многие мои одногодки оттого такие тучные, что, пережив в детстве голод, до сих пор никак не могут наестся досыта.

Лакомства моего детства: картофельная кожура, поджаренная на сухой сковороде. Жмых. Это спрессованные в куски семечки, из которых выдавлено масло. (Идет на корм скоту.)

Если бы я был Робертом Рождественским, то написал бы балладу «Про ливерный пирожок». Когда-то мы считали, что на свете нет ничего вкуснее хорошо поджаренного, хрустящего ливерного пирожка. Мне он к тому же дал возможность почувствовать себя однажды кормильцем семьи.

Учился я тогда во втором классе. В школу привезли дрова для отопления. Их нужно было распилить. Было много твёрдого и звонкого вяза. И все бы ничего, если бы не мороз. Мои валенки были подшиты брезентом. Для катания с горки он был не так уж и плох, но холод пропускал беспрепятственно.

Мы с напарником распилили всего лишь несколько бревен, как я почувствовал, что мои ноги лижет холодный обжигающий огонь. Не помню, сколько я проплясал на морозе. Знаю только, что ушел домой вместе со всеми на деревянных, бесчувственных ступнях, с тремя ливерными пирожками в награду.

Вот тогда я и услышал от своей бабушки, Анны Васильевны, умильное: «Кормилец ты наш». Кормилец морщился, оттаявшие пальцы ног нестерпимо заныли.

«Никак ноги отморозил?!» — испугалась бабушка. Она запричитала, засуетилась, отыскивала где-то за комодом темно-желтый пузырек с гусиным жиром. Усадила меня на табуретку, стянула носки, обогрела ступни моих ног дыханием, смазала их жиром и стала оттирать маленькими, скрюченными от старости и работы пальцами. Кормилец, герой, едва не потерявший ног ради благополучия близких, — я купался в блаженстве бабушкиных рук.

Не сосчитать, сколько в разное время доставил я ей обид и огорчений. В тот раз, может быть, единственный в нашей с нею совместной жизни, между нами было полное согласие.

Существует мнение, что голод разделяет и ожесточает людей. Может быть, так оно и есть. Только моя память хранит иные картины.

Однажды в канун Октября наша учительница Людмила Николаевна предложила нам приготовить «коллективный винегрет». Договорились: каждый принесет из дому что сможет. Мать дала мне крупную, золотистую как солнце луковицу. Я спрятал это солнце под свитер, чтобы оно не замерзло по дороге в школу, и потом, гордый, с чувством исполненного долга, положил его на учительский стол. Он был завален вареной картошкой, свеклой, огурцами. После уроков мы отодвинули парты к стене, достали из портфелей ложки и расселись на полу. И вот настала священная минута: Людмила Николаевна пустила по кругу кастрюлю с душистым, сверкающим россыпями свекольного рубина, самым вкусным в мире кушаньем. Все мы, дети рабочих, служащих и домохозяек, дети войны, были в тот час воспитанны и благородны — никто не осмеливался прихватить лишнюю ложку винегрета. Чувство стыда было в нас сильнее чувства голода.

Я часто вспоминаю Генку Лаптева. Его матери почему-то никогда не было дома, и потому Генкина квартира представляла для мальчишек особый интерес. Здесь можно было вести себя по-взрослому, раскрепощенно, то есть как угодно: выкурить чинарик сигареты, подобранный на улице, отпустить кстати и некстати соленое словцо. Мои однокашники приходили к Генке поднять настроение, подпорченное очередной двойкой. Они скрывались у него от материнских нагоняев и побоев, от дурных предчувствий, вызванных долгим молчанием отца-фронтовика, от похоронок.

Вход в Генкины хоромы стоил одну картофелину. Хозяин растапливал щепками и корой буржуйку и, когда ее бока начинали розоветь, ловко прищлепывал



к ним ломтики картошки. Начинался неспешный мужской разговор о фрицах, шпионах и о классных выскочках. За разговорами съедали картофелину, и если настроение не улучшалось, Генка прибегал к своему коронному номеру: кончиком языка он дотягивался до кончика своего длинного крючковатого носа. При этом строил такую уморительную гримасу, что не рассмеяться было невозможно.

Генка был прирожденный клоун. В школу он ходил в изодранном, длинном, не по росту, пальто и латанных-перелатанных валенках, которые были ему велики. Учился скверно, но при этом все его любили за веселый, неунывающий нрав. Он исчез из школы так же внезапно, как и появился в ней. И мы осиротели.

Как сложилась его жизнь? Что из него вышло? Не знаю, но уверен: он был достоин лучшей участи, потому что, будучи самым заброшенным, самым обездоленным из нас, он никогда не терял присутствия духа, еще и лечил нас от разных детских горестей и непрошенных напастей.

Единодушную неприязнь вызывал у нас Алик Красовский. Это был круглолицый, розовощекий, хорошо упитанный мальчик. Если бы он попал в лапы людоедов, я уверен: его сразу не стали бы есть, а оставили как лакомое блюдо на десерт. Не знаю, где и кем работала мама Алика, но в школу он всегда приносил увесистый соблазнительный бутерброд с маслом или колбасой. Мы не признавали «китайских церемоний» и, увидев жующего приятеля, кричали ему: «Оставь!», и тот по неписаному закону должен был делиться тем, что имел, что еще не успел проглотить. Когда Алик в большую перемену разворачивал сверток и доставал оттуда обязательный бутерброд, в него со всех сторон летело короткое, круглое, как речная галька-голыш, «оставь, оставь, оставь, оставь!».

Алик давно сообразил, что этот короткий миг в большой перемене — миг его могущества, власти, миг его торжества. Он не спеша, смакуя съедал половину бутерброда под нашими голодными взглядами. Другую — делил между Борькой Мезенцевым и Вовкой Ермолиным. Борька был круглым отличником, гордостью нашего класса. Вовка — закоренелым второгодником, известным хулиганом, ниспосланным в наказание за невесть какие грехи нашей Людмиле Николаевне. Алик рассчитал, что купленные таким образом способности Мезенцева и кулаки Ермолина гарантируют ему приличные оценки в классном журнале и оградят от школьных драчунов. Он не учел только одного: когда пацаны наперебой кричали «оставь!», они не просили — требовали. Требовали соблюдения кодекса чести.

Мы, наверное, потому и выжили, что в нашем существе сидело это «оставь». Оставь кусок хлеба, картошки, лепешки из отрубей, жмыха тому, кто нуждается в них не меньше тебя. Так же, как ты. Оставь. Поделись.

Бедный Алик увлекся расчетами и просчитался... Мы гурьбой возвращались из школы, когда Генка Лаптев, подмигнув Ермолину, набросил на Алика свое драное пальто. Кто-то дал ему подножку. Мы дружно, но не зло попинали незадачливого коммерсанта и разбежались по домам. Алик натужно ревел, мешая свои драгоценные слезы с придорожной пылью. Ревел он не от боли, а от тоски и одиночества, оттого что сорвалась операция по закупке наших мускулов и талантов.

Надо тебе признаться, что я тоже однажды побывал в шкуре коммерсанта. Жила с нами по соседству тете Фрося — веселая, разбитная, с накрашенными щеками бабенка. Вечерами к ней на огонек, перед отправкой на фронт, заходили выписавшиеся из госпиталя военные. У тети Фроси был всегда в достатке спирт и пластинки Лещенко. Не Льва, а Петра. Жил некогда такой популярный певец, о котором, кажется, поэт Сурков сказал, что он «гений пошлости».

— Не уходи, побудь со мной еще минутку,

Не уходи, мне без тебя так будет жутко, — сладко страдал каждую ночь за нашей стеной Лещенко.

— И чтоб вернуть тебя, я буду плакать дни и ночи, — визгливо и резко перепевала его Фрося.

— И грусть мою пойми ты и не уходи, — вразнобой подпевали ей мужские голоса.

...Как-то раз тетя Фрося предложила мне продать на ближнем стихийном базаре дюжину пряников и пачку папирос фабрики «Дукат». В награду был обещан рубль. Мне очень хотелось заработать этот рубль, принести его неразменным домой, чтобы мать и бабушка онемели от моей ранней самостоятельности и великодушия.

Базар, помнится, показался мне маскарадом, где задавали тон какие-то уродливые зловещие маски: крикливые, краснорожие женщины, жалкие, скусившиеся мужчины, которых бил с похмелья озноб.

Оглушенный делано-бойкими, зазывными выкриками спекулянтов (на нашем языке они назывались презрительно «барыгами»), подавленный и растерянный, я забился в самый глухой, отдаленный уголок базара. На грязном, утоптанном снегу расстелил газету, разложил на ней пряники и сигареты и стал ждать покупателей. К сигаретам (я их продавал поштучно) вскоре потянулись мужчины. Одному из них, в длиннополой шинели, на костылях, с веселыми мальчишечьими глазами, я продал шесть сигарет за полцены. С пряниками дело было хуже. То ли цена, назначенная тетей Фросей, была слишком высока, то ли большинство покупателей считали пряники баловством, но никто их не брал. Я уже стал охлаждать от холода, когда ко мне подошла закутанная по самый нос в теплую шаль тетка. Она запричитала: «Ой, мальчонка-то совсем продрог», потом ласково спросила, почем пряники, что-то прикинула в уме и сурово усовестила: «Побойся бога, мальчик. За эту цену никто их у тебя не возьмет».

Мне было холодно, и тошно, и надоело сопротивляться соблазну самому отведавать эти коричневато-мраморные кругляшки, что лежали у моих ног. Я сбавил цену. Тетка меня похвалила: «Вот и умница, понятливым растешь», — и забрала все пряники.

Тетя Фрося устроила матери скандал, кричала, что я ее разорил. Мать заплатила неустойку и больно отстегала меня резиновым, с цветочным орнаментом ремнем. Эти орнаменты отпечатались у меня на известном месте. Учительница Людмила Николаевна недоумевала, почему я за партой не сижу как полагается.

...А твоя мать, Алексей, возмущается тем, что меня «не пропрешь на базар». Она права: ей приходится нелегко. Но я с детства не люблю базаров, и меня до сих пор обсчитывают продавцы.

С первого по четвертый класс я часто влюблялся. Двух женщин я не могу забыть до сих пор, хотя их давно уже нет в живых.

Первая года два была нашей соседкой. Ее сначала звали «эвакуированная из Ленинграда», а потом Тамара Михайловна. Она ходила в потертой меховой шубке и потертой лисьей шапке-ушанке. Нас сблизили дрова. Тамара Михайловна выносила из своей комнаты в длинный темный барачный коридор две табуретки, укладывала на них где-то добытое обгрызанное бревнышко, и мы его начинали пилить. Вначале оно взбрыкивало, дергалось, как будто мы водили пилой по живому телу Буратино. Потом смирялось, успокаивалось и, наконец, разваливалось на две части.

Передо мной на расстоянии вытянутой детской руки было бледное бескровное лицо, тонкие слабые руки и сплошной тонкий шнурок, соединявший всегда

опущенные уши шапки-ушанки. На виске слабо голубела жилка. Из-за нее Тамара Михайловна казалась мне слабым беспомощным существом, которое нуждается в помощи и защите.

Странно: я почему-то тщательно мыл руки, когда мать посылала меня помочь Тамаре Михайловне.

До поры до времени наши отношения носили ровный полуофициальный характер: «здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста». Однажды мы пилили кривое и твердое бревно. Оно подпрыгнуло, и пила впилась в мою руку. Перепуганная насмерть Тамара Михайловна стала слизывать с моих раненых пальцев кровь. Боль куда-то ушла, только сладко ныло в груди.

Тамара Михайловна привела меня в свою тесную комнату, усадила на кожаный диван, затопила печь, и под перестрелку поленьев я задремал. Потом мы пили чай, кипятик с сахарином, и она рассказывала мне о любимом Ленинграде и великих немцах — Бетховене и Гете: она преподавала немецкий язык в институте.

К Новому году я сделал ей подарок. Была глубокая тихая ночь. Я наспех оделся и прошмыгнул на улицу. Через несколько минут был у забора лесопилки. Раздвинул доски. Вздрагивая от скрипа своих собственных валенок, прячась от собственной огромной, тяжелой тени, я подкрался к ближайшей поленице дров. В ней уже была брешь. Я дернул ровное, как по заказу, в подарочном исполнении бревно. Поленица шевельнулась — у меня остановилось сердце, — но устояла. В обнимку с бревном, готовый сразиться с целой сворой голодных собак, пасть от проворной пули сторожа (которого, по-видимому, просто не было), добрался я до своего сарая, и там силы оставили меня.

Тамара Михайловна повела себя как-то странно. Когда я втащил в ее комнатку бревно и пролепетал скороговоркой: «С Новым годом, это вам», она очень внимательно и серьезно посмотрела на меня, будто видела впервые, порывисто нагнулась и расцеловала в обе щеки. Потом спрятала лицо в ладони и засмеялась-заплакала.

Осенью мать записала меня в библиотеку, отдав в залог 22 рубля. Ко мне пришла другая любовь. Библиотекарь Анастасия Ивановна глянула на меня сквозь толстые стекла очков такими добрыми, такими серыми глазами, что я тут же молча дал себе клятву быть самым примерным читателем. И замелькали герои, страны, города. Анастасия Ивановна расспрашивала о них с пристрастием, кутаясь в теплую, тяжелую шаль старинных кровей. Захлебываясь от восторга, я пересказывал ей «Приключения Травки» и «Хижину дяди Тома», «Янки при дворе короля Артура» и «Кладовую солнца».

Вскоре меня пустили за перегородку, в святая святых — к стеллажам. Я ходил между высоких стен, сложенных из человеческих переживаний, страстей, жизней, с пьянящим наслаждением вдыхал книжную пыль и уносил домой (для меня делал исключение) враз по три-четыре книги, по три-четыре драгоценных клада.

Настал день, когда Анастасия Ивановна развела руками и с нескрываемым удивлением сказала мне: «Ты проглотил весь детский книжный фонд. Ну ничего: найдем что-нибудь подходящее у взрослых».

Конец был печальный. Я стал смешивать реальную жизнь с вымышленной, книжной.

...Целыми днями сидела в нашем коридоре на сундуке, окованном железом, старая, как могильный курган, баба Маня: темный лик, в руках кривая, отполированная временем палка. О чем она думала? Что замышляла?

Я попытался пронзить эту старую колдунью шпагой — обрубок твердой негнущейся проволоки с консервной банкой. Баба Маня приняла мой вызов и довольно лихо парировала все мои выпады.

Заключение врачей было решительным и суровым: от книг отлучить, потому как у ребенка чересчур богатое воображение, этак ему и свой 36-квартирный дом ничего не стоит подпалить.

Богатое воображение долго мешало мне жить. Вооруженный сухой трухлявой палкой или все тем же обручком ржавой проволоки, я безрассудно бросался вершить суд во имя справедливости и в досталь получал синяков. Знакомые звали меня идеалистом, друзья — дураком. С годами я сделался политиком, дипломатом, но по ночам не дает покоя, берет меня за горло мой двойник, дурак-идеалист.

...В четвертом классе к нам пришла новенькая. Сейчас я назвал бы ее кошечкой. Не свободолюбивой, своенравной кошкой, что гуляла сама по себе, а кошечкой, которая ластится ко всякому, кто ее погладит. Но тогда... Она вошла в класс в сопровождении Людмилы Николаевны, близоруко сощурила глаза, скользнула по нам рассеянным взглядом из-под ресниц и жеманно, победительно улыбнулась. На щеках заиграли ямочки. Они-то, по-моему, и доконали мужскую половину класса. Отчаянные сорванцы и забияки подобрались, притихли, застеснялись своих чернильных пальцев, парализованные откровенным женским кокетством.

Через несколько дней по просьбе двоечника Генки Кудрина я писал ей любовную записку: «Капа, я хочу с тобой дружить. Если согласна, приходи сегодня к шести...». Здесь я задумался: где любовь, там цветы. Как их втиснуть в записку? Ага, в школьном дворе есть кусты сирени. Так и напишем: «... приходи сегодня к шести, к кустам сирени». Я остался доволен: что уж тут лукавить, красиво сказано.

Таких записок я написал штук семь, меняя в них только место свидания. Капа догадалась, кто их автор. И, следуя загадочной женской логике, пригласила меня к себе домой.

Почему-то запомнился коврик над кроватью: вытканная ядовито-яркими нитками цапля исполняла какой-то ритуальный танец. Запомнилась и мать Капы, смуглая, начинающая полнеть женщина с всклоченной черноволосой головой, лицом, обсыпанным по самые уши розовой пудрой. Полноту скрадывал наброшенный как бы впопыхах легкий заграничный халат с диковинными заморскими растениями. «Капа, зеленоглазая, прозрачно-тонкая девочка, нисколько не похожа на мать», — с радостью отметил я про себя.

В тот день в гостях у Капы я пил настоящий чай с рассыпчатым, тающим во рту печеньем. Ее отец, по разведанным всезнающих старушек соседок, был какой-то большой чин. Он представлялся мне мужчиной широкой кости, высоким, под потолок, с наголо обритой крупной головой, в темно-зеленом кителе, галифе и белых бурках. Глаза — без цвета и живого блеска, как на монументальных скульптурах.

Я часто стал бывать у Капы, но с ее отцом ни разу не встречался, он, по-видимому, существовал за пределами Капиного дома: просиживал с раннего утра до позднего вечера в своем рабочем кабинете или был в длительных командировках.

Каждое утро я заходил за ней по дороге в школу. Присаживался на потертый табурет и ждал, пока она побросает в портфель книги и тетради и накинёт на свои худенькие плечи пальто.

Ждал и... в приоткрытую в спальню дверь увидел однажды грязные потрескавшиеся подошвы ног и сытую самодовольную физиономию парня. Если раньше я очень сомневался в происхождении человека от обезьяны, то теперь этим

сомнениям пришел конец. У парня была выпуклая и толстая верхняя губа, которая подавляла, господствовала над нижней, широкий расплуснутый нос и низкий, заросший короткими волосами лоб.

— Кто это? — шепотом спросил я у Капы.

— Дядя Федя, мамин друг, — спокойно ответила она.

Я перестал ходить к Капе, а вскоре она уехала из наших мест.

Но у меня еще оставалась Зойка, коза, мое наказание, мой крест. Когда я загонял ее на ночь в черное чрево сарая, она казалась мне сущим дьяволом: узкая волосатая морда, два острых рога, упрямые и злые глаза.

Зойка была самым ценным семейным капиталом. Она помогала нам выжить: мы пили ее молоко. Как только землю пробивала первая трава, я брал веревку и завязывал на ее концах две петли. Одну набрасывал на Зойкину шею, другую стягивал кисть своей руки. На долгие дни я и Зойка, связанные одной веревкой, составляли одно целое существо. Зойка размеренно, без усталости щипала траву, обстоятельно, с какой-то философской задумчивостью пережевывала ее и поминутно дергала меня за руку. Она никак не давала мне стряхнуть с себя хорошо обжитый и до чертиков надоевший уголок земли — зеленый пригорок, примыкавший к пыльному переулку с маленькими сонными домами, — и погрузиться в клокочущие невероятными событиями и сильными страстями мира Жюль Верна и Гюго. Я привязывал Зойку к колу — она выражала недовольство, нудно и настырно блеяла, выдирала кол или стаскивала с него веревку и незаметно убегала. Оторвавшись на секунду от книги, я с ужасом обнаруживал пропажу, обегал закоулки нашего двора и близлежащих улиц и находил Зойку где-нибудь в тени забора блаженно дремлющей, жующей (о горе мне!) и во сне.

Я вел себя как мать, отыскивая наконец непоседливого любимого ребенка. Брал в руки хворостину, коротко и энергично лупцевал кормилицу-козу по раздутым бокам. Во время экзекуции Зойка обреченно молчала, как бы сознавая, что за сладкий миг свободы надо, увы, платить. По ее упрямой и сосредоточенно-отрешенной морде было ясно, что при первой же моей оплошности она снова удерет от меня.

Если бы в нашем городе были в чести бродячие артисты, мы с Зойкой могли бы, наверное, заработать себе на скромное пропитание. Свои таланты мы опробовали перед сопливой дворовой мелюзгой. Суть концертного номера заключалась в следующем. Встав на колени подле Зойки и обняв ее за теплую шею, я вдвухвал в ее уши разные слова, и она согласно кивала головой.

«Гитлер — бандит», — восклицал я театрально. Зойка тут же это подтвержда-ла, ковырнув воздух рогами.

«Что он запоет, когда мы будем в Берлине?» Я незаметно дергал Зойку за хвост, и она без заминки издавала гортанное: «Бе-бе-бе», вызывая восторг у пацанов.

Зойкина жизнь оборвалась трагически. Ранним весенним утром отправилась бабушка в сарай проведать свою любимицу и угостить ее пучком пахучей прошлогодней травы. Засов был сорван с мясом. Бабушка распахнула дверь. Зойка не подошла, не ткнулась ей в колени, не потеряла о них свою морду и бока. Сарай чернел пустотой.

Бабушка переступила порог квартиры, рухнула на кровать, завсхлипывала, запричитала: «Как же мы без тебя теперь, Зойка!?»

На весенней реке шел ледоход. Первые могучие льдины снесли с фундамента пару небольших домов на противоположном берегу. У нашего крутого берега плескалось крошево. В нем я обнаружил Зойкины внутренности. Дворовая молва называла имя Зойкиного похитителя и убийца. То был маленький, голубоглазый

и вертлявый милиционер по прозвищу Чинарик. Во время дворовых субботников он был самым веселым человеком. Работал без устали, правда, не лопатой, а языком. Подзывал к себе бабенок поядреней, рассказывал им двусмысленные, а то и откровенно похабные анекдоты и ловко, как бы невзначай пощипывал их. Они визжали от деланого возмущения и валили его в грязный ноздрястый снег. Чинарик отбрыкивался, довольный: «Тпру! Угомонитесь. Совсем ошалели!»

Однажды к нам во двор вкатила странная машина с черным квадратным кузовом. Жильцы, от мала до велика, были уже тут как тут. «За кем это, интересно, прибыл «черный ворон»?» — читалось на их лицах.

Через несколько минут из дома вышел Чинарик. Руки за спиной, маленькая птичья голова понуро болтается в такт шагам. По бокам два белобрысых, одинаковых милиционера. По толпе пробежал изумленный, но сдержанный шепоток: «Ну и дела, милиционеры заарканили милиционера!» «Черный ворон» пустил в нос зевакам струю едкого дыма и увез милиционера-весельчака.

В том первом послевоенном году хорошо уродилась картошка, и к нам в город откуда-то завезли невиданно много кеты (которая теперь проходит по разряду деликатеса). Мы выжили.

Я до сих пор не знаю, за что прихватили Чинарика, но тогда не сомневался — за Зойку. Ведь есть же, не может не быть на свете справедливость.

...За окном зачастил дождь. Наверное, надолго: лужи пузырятся. Захотелось пошлепать по ним, как бывало.

В свой огромный коммунальный двор я выходил босиком, чуть стает снег и прогреется земля. Какое это блаженство — ходить по земле босыми ногами, согреваясь ее теплом, остужаясь ее прохладой. Я (не могу удержаться от хвастовства) умею ходить как мессия, заставить свои ступни сжаться и затвердеть, когда они ступают по острым камням или по колючей стерне. Эта наука далась мне не просто. Мои ноги всегда были в ссадинах и кровоподтеках. Они были изрезаны бутылочными стеклами, исцарапаны ржавой проволокой и острыми кремнистыми камнями. Одни раны заживали на мне быстро, как на молодой собаке. Другие — остались открытыми, не зарубцевались до сих пор.

...Был знойный летний день. Солнца не видно, оно расплавилось и растеклось по всему небу. Я вышел во двор, утомленный и ошалевший, с воспаленными глазами, готовый на подвиги и муки: только что закрыл последнюю страницу фадевской «Молодой гвардии». Я поглощал ее днем — в длиннющей очереди за хлебом, не слыша ругани, не замечая времени. Ночью — при свете электрического фонарика, хоронясь от матери под сереньким байковым одеялом. Вынырнешь, глотнешь воздуха — и снова «на дно», к Фадееву.

Я вышел во двор. На ступеньках народного суда изнывал от жары и скуки Колька Пряхин, известный скандалист и драчун. Рядом были две его тени: тщедушный и верткий Усжима и косолапый, круглый Буксир. Увидев меня, Пряхин встрепенулся, его постоянно сонные глаза ожили.

— Витьк, хочешь я свистну? — вкрадчиво, почти ласково спросил он меня.

— Твое дело.

— Ну, свистнуть? — наседали на меня.

— Свистни, если тебе так хочется.

Кольке хотелось. Он размахнулся и ударил меня что было силы кулаком по уху. (О богатый и коварный русский язык!) Небо почернело. Казалось, пошатнулся, дал трещину земной шар. А может быть, моя голова? Оглохший от боли и обиды, я кинулся с тощими кулаками на Пряхина. Его верные шавки были начеку. Они повисли на моих руках, подтолкнули к Кольке. Тот участливо спросил:

— Не понравилось? Иль не расслышал?

— Ты... Ты знаешь кто? Фашист, — прокричал я ему в лицо.

Он потемнел так, что исчезли с лица веснушки, грязно выругался, пнул меня ногой и ушел. Тени поползли за ним.

На дрожащих, вдруг ослабевших ногах я спустился к реке, сел в наполненную водой рассохшуюся лодку и тихо, беззвучно заплакал. Впервые после войны.

Катила свои воды река. Катились размазанные по щеке слезы. И не было в тот предзакатный час человека несчастнее меня.

Зимой у нас началось поветрие: все пацаны взялись чинить валенки. Сноровки и силенок у меня было маловато, а дратва попалась с характером, неровная. Потянул нить на себя что было мочи. Не поддается. Рванул и не успел сообразить — чиркнул иглой шила по носу, в миллиметре от глаза. А Колька в ту зиму так саданул себе по глазу шилом, что он у него вытек. Когда я увидел на его конопатом лице стеклянный, нарисованный глаз, я ему все простил.

Не знаю, под каким созвездием родился Пряхин, но он (теперь можно говорить об этом достоверно) был не жилец. После школы пошел работать на завод, ушиб руку. Положили его в больницу — вышел оттуда без руки, хирурги отхватили по самое плечо. В сознание, как заноза, вошло страшное слово: рак. Рак, пожирающий руки и ноги, легкие, да что там легкие, самого человека. В двадцать лет Колька Пряхин вышел на пенсию. Мы встретились с ним как-то в бане. Я наливал и таскал ему в тазу воду, усердно, до бордового цвета тер спину. Одноглазому, однорукому инвалиду-тыловику второй мировой. Умер он двадцати пяти лет от роду...»

Общупанный, просвеченный, обколотый со всех сторон, зашифрованный в диаграммах, напичканный лекарствами Виктор Александрович Карелин готовился выписываться из больницы. Кем-то установленная норма пребывания в больнице — три недели — была на исходе. Он порядком истосковался по дому: жене и сыну, телевизионному ящику, продавленному дивану, стоптанным тапочкам и книгам, плотно прикрывающим старые выцветшие обои. Стоит лениво протянуть руку к стеллажам — и пожалте: Бунин, Распутин, Шукшин, Гамсун, Камю, Маркес...

С вечера одурманенный каким-то модным составом лекарств, он заснул спокойным безмятежным сном.

...Около трех часов из тьмы выплыл сухой, раскаленный жарким солнцем стадион. Трибуны пустовали. На беговой дорожке он был один. Никаких соперников, тренеров, тем более болельщиков. Он бежал круг за кругом, потеряв им счет. Чугунные ноги с трудом отрывались от земли, глаза заливал соленый пот, сердце застряло и трепыхалось где-то в горле. Солнце, всепроникающее солнце заполнило собой чашу стадиона. Воздуха не стало. Он упал на гравий, обдирая кожу с колен, рук, лица. Все. Конец.

Но над стадионом вдруг загрохотало: «Встать! Симулянт!» Он узнал этот голос. Его невозможно было спутать ни с каким другим. То орал Семиволосик, учитель физкультуры, прозванный так из-за того, что его голову украшали всего несколько сивых волосков, сквозь которые проступала розовая кожа.

«Бежать!» — угрожающе прошипел Семиволосик. «Не могу!» — простонал Карелин. Вдруг он увидел перед собой крошечного муравья. Тот тащил осколок ореховой скорлупы, гораздо больший, чем он сам. Карелин приподнялся на слабых, дрожащих руках и, волоча тяжелые, бесчувственные ноги, пополз по горяче-

му гравию, как по наждаку, за муравьем. Он стонал и полз, корчился от боли, раздирающей все его тело, и полз...

Перепуганный Иван Филиппович Могила одной рукой тормозил Карелина, другой давил на кнопку вызова дежурной медсестры. Но никто не приходил. То ли низкооплачиваемая медсестра спала сном праведницы, то ли провода, связывающие палату с постом ночного дежурного, пришли в негодность, как многие приборы и оборудование в этой больнице. Иван Филиппович выскочил в коридор, бормоча себе под нос: «Скорая помощь — скорая смерть...»

Вечером в дверном проеме появился парень баскетбольного роста в хорошо потертой холщовой куртке неопределенного цвета и таких живописных джинсах, что им могли бы позавидовать лондонские хиппи. Это был Алексей Карелин. Он поздоровался, слегка, светски улыбнулся и небрежно спросил у Ивана Филипповича:

— А где оте... папа?

— Сегодня ночью его перетасили в реанимацию. Это на первом этаже, ближе к выходу, — отвечал Могила... — Возьми вот.

Он сунул Алексею толстую тетрадь.

Перепрыгивая через ступеньки, Карелин-младший помчался в реанимацию. Туда его не пустили. Он вышел в больничный двор, присел на первую попавшуюся скамью, наугад открыл тетрадь. Стал читать.

«...Между прочим, утро в нашей больнице зовут Фируза. Она появляется в дверях палаты в накрахмаленной белой шапочке — искупавшаяся в чистых водах утренняя заря: юное розовое лицо, обсыпанное бледными веснушками, раскосые, влажные глаза. В руках — шприц, сверкающий жалом-иглой. Мы с «Богом» радушно приветствуем Фирузу, и один из нас медленно стаскивает с себя одеяло, давая понять, что уколы — его любимая процедура».

Карелин-младший лихорадочно пролистал несколько страниц и внезапно притормозил:

«...Я рано стал задумываться о смерти. (О жизни — только в последние годы.) Никакие объяснения не могли меня с ней примирить. Во всем была виновата ночь, точнее, тот неуловимый переход от яви ко сну, когда человек из активного мыслящего существа превращается в существо слабое, анемичное — в живой труп.

Я боялся ложиться в постель, истязал себя ночными бдениями, думал о том, что у сна и смерти много сходства. Надо иметь мужество, чтобы довериться сну: ведь можно и не проснуться.

Ночная тьма стирает очертания предметов. Ты один во всей вселенной. Ей миллионы лет, а тебе...

Пройдет немного времени, и тебя, благородного, красивого, вечно молодого, опустят в глубокую, мокрую, скользкую яму. И там тебя начнут лопать омерзительные выродки — черви... Бр-р-р! «Прими, мать-сыра земля!» «Нет! Не хочу!» — орал я в полном, хотя и разгоряченном, сознании.

«Проснись! Что тебе приснилось, родной?» — трясла меня за плечи мать. От стыда я притворялся разбуженным, бормотал что-нибудь невнятное и тихо, смиренно засыпал. За два-три часа до рассвета.

Вылечили меня радионаушники (теперь их почему-то зовут телефоны). Поздними вечерами я жил жизнью героев Чехова и Шекспира, Горького и Диккенса, Толстого и Шарля де Костера. Мне некогда было сосредоточиваться на вселенной и своей собственной персоне. Более того, в эти ночные, кризисные для меня часы я переставал существовать, превращаясь в Болконского или Тилиа Улен-



шпигеля, а уж им никак не пристало будить своих домочадцев истошными воплями: «Нет! Не могу!».

Однажды ночью артист-чтец (то ли Абрам, то ли Тигран Петросян) хорошо поставленным голосом сказал мне по радиосвязи из Москвы:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день идет за них на бой.

Это был Гете. Я вспотел от радости узнавания истины и тут же в тон Петросяну чуть не возопил: «Латы мне! Меч! Иду на бой!» И на следующий день схлопотал двойку по истории».

Дальше было написано карандашом:

«Кончилась в ручке паста. Иван Филиппович, мой сосед по палате, храпит со свистом. А мне ни с того ни с сего вспомнился Омар Хайям:

Если бы я властелином судьбы своей стал —

Я бы всю ее заново перелистал

И, безжалостно вычеркнув скорбные строки,

Головою от радости небо достал!

Жить с ощущением радости — это здорово. Радоваться тому, что в твоих жилах течет горячая кровь, от которой голова ходит кругом и наш порядком уставший, износившийся и зачумленный мир кажется молодым, вечно зеленым...».

Из поэтической почты

Залия Муканяева
г. Нефтекамск

ПРИКАМЬЕ

В Прикамье много чудес:
Зовет медовый простор,
Разросся к берегу лес,
В лугах — цветочный узор.
Развеет запах хвои
Сосновый бор-исполин,
Залечит раны твои
Целебным духом глубин.
Он чистит кровь, но тайком,
И сердцу дарит тепло.
Ты вспомнишь Каму потом:
«Ракушек, рыбок полно»...
Спешит бессонно река,
Скользит по Каме волна,
Луна глядит в облака,
Душе сладка тишина.
Взгляни на гладь-синеву
Внутри зеркальной воды.
Река ласкает волну
В тени хрустальной звезды.

Галина Пухова
Гафурийский район,
п. Красноусольский

МЕТЕЛЬ

Зима угрюмая молчит...
Но ждет мороз метели близкой.
И вот она уже рычит
И лижет наст поземкой низкой.

визан



И вот уж поднялись снега,
В полях сердито закружились,
У рек сровняли берега,
В леса сугробами забились.

Колючих хлопьев рой густой
Из темных туч на землю рвется;
Упав с небес сплошной стеной,
Он смерчем снова ввысь несется.

Шумит, беснуется зима
И версты диким вихрем мерит.
Но что покорна свету тьма,
Не зря усталый путник верит:

Метель ослабнет и замрет,
Укрывшись на лесной опушке,
А ночь огни свои зажжет
И окна в дальней деревушке.

* * *

Пока еще соперниц сильных
Зима не видит пред собой.
Пока еще в снегах обильных
Она лелеет свой покой.

Горда, бестрепетна, бесстрашна:
Никто не смеет ей грозить.
И календарь, увы, напрасно
Весну задумал торопить.

Пока зима, но первых, робких
Мы ждем чудесных перемен;
Могучих льдов, сугробов топких
Нас тяготит суровый плен.

Земля, проснись! Прибавь надежды,
На помощь солнце позови,
Примерь нарядные одежды
И гнезда птичьи оживи.

Зима натешилась метелью,
Морозом попугала нас.
Довольно. Мартовской капелью
Пушай пробьет весенний час!

Валентина Есакова
Давлекановский р-н,
с. Ивановка

ВЛАДИМИРОВКА

Памяти малых деревень

А какая была деревенька!
Не богато, но умно жила.
Сруб колодца бадейкою звенькал,
И к околице стежка вела.
За околицей море пшеницы;
Знать, не голодно было в стране,
А теперь это все лишь приснится
Иль из детства припомнится мне:
Подоконники в красных геранях,
Мамин фартук, в горошек платок.
Сердце, душу разрухою рая,
Не поет в деревеньках никто
От души ни в Покров, ни по Спасам.
И здороваемся на бегу.
Не предложат соседи вам квасу,
Видно, к судному дню берегут.
Как трудиться умели сельчане,
А в страду от зари до зари!
Жаль, теперь без работы скучают,
И в лугах не поют косари.
Все украдкой, все в дом припасая,
Но страна-то идет под откос!..
И ледок на душе не растает,
Лебедой зарастает колхоз.
Надо верить: опомнятся люди,
Наваждение, как грех, отведя.
Божья Мать и в праздник, и в будни
С доброй верой глядит на тебя!

ОТГОРЕЛО, ОТБОЛЕЛО...

Какие ветки брошены в костер!
Огромно пламя, язычок остер!
Не протяни, рукою не затронь!
Остался лишь в душе
Волшебный тот огонь.
Ему молюсь язычницей-крестьянкой,
А кто увидит горе спозаранку?
Тебя лишь опалило — уцелел.



Смеясь сказал: «Терпи, ведь Бог терпел...»
Я раны подорожником лечила.
Глаза у сына — твои глазки, милый!
А рядом куст рябины догорает,
По пальцам наши дни перебирая,
Я улыбаюсь, трогаю за гроздь.
В какой любви сгореть мне привелось!

ВОТ И ОСЕНЬ ПРОШЛА

Откричали своё гуси дикие,
Расплескали крылом тишину стерни,
Догорает-горчит куст калины вдали,
Хоть перо с крыла, гусь-вожак, верни!

В ночь осеннюю напишу слова,
В детство давнее, где акаций цвет,
Там, где мама моя молодая жива,
Где утрат-потерь и в помине нет.
На отаве-траве тяжела роса,
А в селе до утра праздник Храмовой,
У плетня стоит отдыхает коса,
В окна вставлены на зиму рамы,
Песня снова зовет по дороге вдоль,
Та, где «стежки-дорожки зарощены»
И где слово «люблю» не приносит боль,
Где аует счастье по рощам...

Надежда Димитричук
г. Нефтекамск

УСКОРЕНИЕ

Жалость когтистая сердце сжимает,
Не отпускает, не отступает.
Старость морозная снегом покрыла,
Голову гордую не покорила.
Жизнь быстроногая вдаль убегает,
Притормозить бы — не успевает.
Будто в разгон пошла, без поворотов,
Ни остановок, ни перелетов.
Дальше бежит, все сильнее напряжение,
Словно другое здесь измерение.
Долгие дни мгновеньем сменились,
Мысли сумбурные остепенились.
Годы быстрее вперед убегают.

Сбавьте свой бег, я вас умоляю.
Сердце сжимает от скорости этой,
Боюсь не угнаться за жизнью нелепой.
Вдруг да отстану или устану,
Остановлюсь и жить перестану.
Время несется вперед все быстрее,
Много ль еще я сделать успею?
Юность моя далеко улетела,
В памяти все сохранить я сумела.
Там посадила деревья и сад,
Тихо листвою они шелестят.
В домах, что построила, город живет,
Сын повзрослевший по жизни идет.
Будни казались серыми днями,
Время летело как мощный цунами.
В дальней дали где-то юные годы
Спрятаны в памяти от непогоды.
Время летит от меня ураганом,
Врешь, не уйдешь, твержу я упрямо.
Твердо еще стою на ногах,
Время держу пока в крепких руках.

Кузьма Локаткин
г. Сибай

СПУСКАЯСЬ ИЗ ПРЕДГОРИЙ...

Спускаюсь из предгорий по долине,
Направо — речка. Ниже, вдоль нее,
Среди берез, черемухи, рябины
Стоит старинное башкирское село.

Мечеть на взгорке, слева от дороги,
Под цвет небес и зелень травостоя,
Черты ее просты и величаво строги.
И минарет, вестун и вестник вечного покоя.

Лучами солнца полумесяц освещенный
Передает земную ль, не земную красоту,
Привычно, по традиции к востоку обращенный,
Как чистый голубь устремился в высоту.

В мечеть приходят, кто обычай соблюдая,
Кто, помолившись, душу от заботы облегчить,
С усердною молитвою, греховность избегая,
Путь верный обрести, духовность укрепить.



*Собрав прошения-молитвы воедино
И таинство молящихся и страждущих людей,
Священный полумесяц, как антенна,
Все отдает на разбирательство судей.*

*А судьи, просьбы со всевышним согласуя,
Все обсудив и разобрав, высокое решение,
Душе, просящей и скорбящей, адресуя,
Дают ответ — всевышнего веселье.*

*Из века в век, всегда так это было.
Как благодать, кому туманно, а кому светло,
В людские души свыше что-то приходило,
Входило, растворялось в теле, за собой вело.*

*Приняв посланье свыше, все блаженно
Уходят правоверные, всяк по своим делам.
Несут в себе огонь благословенный
И святость, что приходит в души к нам.*

*Идите, люди, к свету, без греха идите.
Идите к разуму и благу, ныне и вовек.
Живите в радости. А веру берегите...
Пройди с достоинством по жизни, человек.*

«Эти страницы так манят...»

(Окончание. Начало в N 5, 6)

2.02.69

Красиво выпал пушистый снег. Поставил на мягком снегу. Давно с таким удовольствием и душевным подъемом не гулял.

Сегодня Куватову 50 лет, мы вдвоем с Фарданой и Лирой сочинили ему телеграмму. В пять часов по радио передавали инсценировку по моему «Фатхи-солдату». Ту, старую, что звучала еще в 1959-м и потом несколько раз. В роли деда Ямгали Амин Зубаиров. Вообще перечислили всех: исполнителей, оформителей, звукорежиссеров, сказали, что автор спектакля — Нажиб Идельбаев?! Он ни одного слова не убавил в моем произведении и ни одного не прибавил. Ни одной новой реплики не появилось — в чем же его авторство? А меня даже не упомянули. Тут же стали звонить с откликами. Первым позвонил Хаким Гиляж, сказал, что текст отличный. Удивился, конечно, такому неуважению к автору. Якуп Колмый, организовавший передачу, тоже звонил, извинялся.

Ходил на 50-летие Куватова. Народу было много, хотя заранее о торжестве и не объявляли. Наш писательский коллектив подарил ему магнитофон и оригинальный плакат: в середине — юбиляр, а вокруг — фотографии всех писателей.

11.02.69

С утра, как всегда, пошел кормить голубей. Они последние дни, как холода чуть спали, опять стали прогуливаться по тротуару. Я их так долго не видел, что был уверен: перемерли в морозы. Оказывается, нет, отсиделись где-то.

Сегодня в газете «Кызыл тан» вышли стихи Батыра Валита. Во вступлении использованы мои слова, те, что я говорил на 80-летию Бурангулова. Я сразу узнал. Хотел было позвонить в «Кызыл тан», спросить кто, но меня опередили. Позвонил Гайнан и сказал, что использо-

вал мою речь. Очень меня взволновало, что Батыр Валит так и озаглавил: «Мои последние стихи». Чувствует, что скоро умрет. А ведь нет большего оптимиста, чем Батыр Валит. Даже в самые трудные времена никогда не слышал я от него жалоб на судьбу. Если б спросили меня, кто самые стойкие и мужественные из встречавшихся мне людей, сказал бы: Сахау Давлетшин и Батыр Валит!

Пытался слушать радио, но в голове только Батыр Валит. Чтоб спастись от этих тяжелых дум, пошел на улицу. Но бесполезно. А день холодный. И тепла все не обещают. Как шутит Ханиф Карим: не повезло с дикторами, ни одного ободряющего сообщения.

16.02.69

В газете «Совет Башкортостаны» напечатали статью К. Гирфанова «Незабываемые воспоминания». Читал и просто диву давался. Пишет, что на I съезде я встречался с Крупской. Я вообще не был на I съезде и с Крупской никогда не встречался. Откуда он это все взял? Однажды, на юбилее Афзала Тагирова, я рассказал о том, что Афзал-агай встречался с Крупской. Да-а, ну и дела...

18.02.69

Только пришел с утренней прогулки, звонят с Башгосиздата, приглашают прийти. Пошел, они вручили мне сигнальный экземпляр моей книги «Гнедко». Выпустили тиражом 200 тысяч. Красиво оформили. Только зачем такой тираж — неужели столько можно продать?

Вечером позвонил Исмаил Гафаров. Сказал, что Амирхан Еники в «Огнях Казани» напечатал рассказ «Совесть» и там якобы очень грязно написал о Хафазе, его жене. Я пытался его убедить, что это, конечно, совпадение. Но он стоит на своем: и имя, говорит, ее, и внешность, и даже ее рабочее место. Это, говорит Исмаил, все потому, что Еники за ней в молодости ухаживал, а она его игнорировала. Я пре-

дневник



бываю в замешательстве. Люблю и дорожу ими обоими: и Еники, и Гафаровым. Конечно, Еники должен был дать героине другое имя, нельзя же так отыгрываться за прошлое.

22.02.69

Узнал, что вчера скончался редактор «Советской Башкирии» А. Утяшев. Мы с ним были друзьями, он очень уважительно относился ко мне. Встретил меня в прошедшие холода и вдруг сказал: «Не стыдно гулять в такой мороз?» Так пошутил. Сидели с Фарданой, вспоминали его. Потом пошел гулять, и ноги сами привели меня в редакцию «Советской Башкирии». День нерабочий, на этаже одни дежурные. Зато встретил нового редактора. Он с ходу привязался ко мне: вы почему, говорит, на открытом собрании критикуете работу обкома КПСС, с чехов берете пример? Хотите, говорит, чтоб было как в Чехословакии? Давненько меня уже не отчитывали.

23.02.69

Сегодня праздник, уже с утра это чувствуется. Народу на улицах больше обычного, люди стараются друг друга угостить и сами себя щедро угощают.

Сидел слушал радио. Запомнились слова Чайковского о том, что вдохновение не приходит только к ленивым. Давно ничего большого не писал, думал, что состарился, — потому. Может, просто лень, боюсь начать? Коли так, то это хорошая весть. Лениость побороть можно, со старостью справиться гораздо сложнее.

28.02.69

С утра позвонил Вазих Исхаков, сказал, что умер Батыр Валит. В два часа проводы. Гроб с телом установят в Доме печати, там пройдет траурный митинг. Просил выступить.

Сидел курил, думал. Потом позвонил в общество слепых, попросил, чтоб и от них кто-нибудь пришел на прощание и выступил.

Шел в Дом печати и волновался, тяжело все это для меня. Народу было много. Говорили Вазих, друг Батыра Гали Бердин, от слепых — Гуслин и я. Прощание было тяжелым. И дома не оставляли эти тяжелые думы.

10.03.69

Гулять не выходил, врач категорически запретила. Мы, говорит, вас лечим,

лечим, а горло все хуже и хуже. Вы, говорит, наверно, не слушаетесь — гуляете? Гуляю конечно, как без этого жить?

В газете «Известия» вышла моя статья, которую они взяли из сборника. Совсем не сократили даже. По этому поводу позвонили несколько человек. И Гайнан среди них, попытался ущипнуть: что это ты, говорит, одну статью в разных местах печатаешь? Но я и не знал, что известинцы собираются это сделать.

24.03.69

Во время прогулки на улице встретил Магафура Хисматуллина, поздравил его с премией Салавата. Он начал тут же рассказывать о всяческих кознях против него, о недоброжелателях. Пошел после чая в Башгиз, там встретил редактора Павлова. Вы, говорит, мне как-то сказали, что знаете начальника связи Лобанова. Давайте пойдем к нему, попросим мне телефон поставить. Сходили, Лобанов обещал. На днях с Фаритом Исянгуловым ходили по инстанциям — просили помочь родственнице покойного Хая Мухамедьярова. Хотя и не для себя, а тяжело вато просить что-то у чиновников. Потом — ни сил, ни настроения. Мой бывший ученик, председатель райсовета Кильдебеков, вообще нас не принял, сказал, что у него важные дела, а мы, мол, всякой ерундой занимаемся.

Неожиданно встретил на улице Кильдебекова и отругал его так, что сам себе удивился. Подумаешь, государственные дела он решает!.. Оказывается, я умею ругаться. Кильдебеков обещал пригласить нас.

26.03.69

Звонили из газеты, просили написать статью об артисте Карамыше. Отказался. Не люблю этого человека, хотя он и хороший артист. Как-то о нем написал покойный Баязит Бикбай, а потом жалел. Тот начал к нему привязываться: ты, говорит, получил за меня гонорар, теперь давай угощай. Душевно примитивный человек.

28.03.69

Сидел курил, слушал радио. Передали два рассказа Горького — «Дипломат» и «Товарищ». Второй понравился. Артист отлично читал, наши так не умеют, все норовят в какой-то пафос уйти.

Думал, что же буду говорить на вечере смеха 1 апреля. Его по сложившейся уже традиции всегда я веду.

1.04.69

Вечером с Фарданой пошли на вечер. Народу возле театра просто тьма, не протолкнешься, и все спрашивают лишний билетик. Не сказал и половины того, о чем хотел, но люди хвалили. Даже Фардана, а она-то уж очень скупа на похвалы.

4.04.69

Звонила Бедер-ханум, с ней, как всегда, долго болтали. В основном о Лидии Сейфуллиной, которой вчера исполнилось 80. Оказывается, Бедер-ханум с ней знакома по Орску. Настроение у нее в общем-то плохое из-за того, что нигде в связи с 50-летием республики ее даже не упомянули.

После обеда вышел погулять, встретил Назара Наджми. Он обижен, что ему премию Салавата не дали. Прочитал мне свои новые стихи. Среди них есть одно посвященное Бабичу. Сказал, что его, конечно, никто не напечатает. Говорит, что у нас человека оценивают не по таланту, а по его ловкости: многие очень ловко себе дорогу пробивают. Короче, настроение у него плохое, как всегда.

7.04.69

Совсем не чувствуется весна: и день холодный, и солнца нет. Походил по улице туда-сюда и пришел завтракать.

Днем неожиданно нагрянул сын Гарифа Чурмантаева — Фидан. Он летчик. Фардана приготовила отличный чай. Вспоминали его детство, нашу молодость. Сказал, что в повести «Первые уроки» я очень точно показал его отца.

Потом вышел погулять, дошел до редакции, получил небольшой гонорар, многих повидал и пошел обратно. День некрасивый.

9.04.69

Сегодня исполнилось 50 лет, как убили Ш. Бабича в 1919-м. Ему было всего 24 года. Целый день думал о нем. Приходил Топим, и ему рассказал о Бабиче, почитал его стихи, которые знаю наизусть. Стихи ему понравились. Потом нашел сборник его стихов на русском в переводе Липкина, дал Галиму с собой.

14.04.69

Сегодня практически весь день гулял на воздухе. Когда гуляю, голове полегче.

Встретил Азата Абдуллина. Где это вы, говорит, так загорели, совсем черный, как с курорта? На вечере смеха, ответил.

По радио весь день слушал рассказы. Днем — Стендаля, вечером — Куприна. Очень было хорошо. Спасибо Попову, создавшему радио! Для таких, как я, это просто вкуснейшая еда.

Вечером встретил Кузиева. Станный человек: всегда подчеркивает, что совсем не пьет, что очень порядочный. Будто бы порядочность определяется трезвостью. Хочет выглядеть образцовым.

16.04.69

Дни стоят теплые. Совсем нет снега, тротуары чистые. Первый раз надел летнее пальто. Позвонили из клиники и пригласили на прием — даже удивительно. Все им не понравилось. Когда старость на пятки наступает, что уж может нравиться?

17.04.69

Утром пошел сдавать кровь и наткнулся сразу на окулиста и отоларинголога. Они настойчиво повели меня к себе, игнорируя сидящих к ним пациентов. Давай дотошно проверять глаза, уши, горло. Нос вроде бы ничего. Про нос ничего плохого не сказали. Потом пошел пройтись, заходил в редакции и в Башгиз, пытался шутить, но, чувствую, шутки не удаются. Может, и с юмором что-то случилось, не только с глазами и ушами?

22.04.69

Чай попил и пошел в клинику на рентген. Там встретил Мاستуру, с которой мы вместе учились 48 лет тому назад. У нее есть брат, Кави Ниязов. Еще в 1921-м он писал хорошие стихи. Писал лучше Г. Амантая и Г. Хайри. Но никогда их не печатал. И только в этом году, в 64 года, вдруг напечатал в газете. Удивительно. Я послал ему поздравительную открытку. Если ответит, напишу письмо.

25.04.69

Лена выписалась из больницы, настроение у ней хорошее. Приходил Кулибай, вернул Фардане традиционные три рубля. Берет он в долг всегда уже пьяным и возвращает также пьяным. Как помнит? Удивительно.

Звонил Гайнан. Сказал, что магнитофонная запись «Голоса друзей», которую сделал Батыр Валит по его, Гайнана, подсказке, сделана. Ну и что? Тоже



мне великое дело — подсказал Батыру. Гайнан все хочет попасть в историю, донести до всех каждую мелочь, с ним связанную.

28.04.69

Сходил в Союз. Повидал кучу людей: и стариков, и молодежь. Странную вещь заметил: несколько стариков хвастались своими заслугами, беззастенчиво присваивая при этом чужие, — думают, что никто уже этого толком не помнит. Молодежь хвалится своим творчеством. Народ как-то меняется на глазах. Это правда, раньше некоторые молодые особо не считались со стариками, старались их игнорировать. Но хвалить себя считалось неприличным. Поэтому мы столь уважали Гафури, Юлтыя, Янаби. Правда, тогда им было по 40 лет, хотя их и считали стариками. А сейчас сорокалетние ходят в молодых.

2.05.69

Утром и в обед шел снег. Сейчас уж почти вечер, а снег все идет. Все вокруг бело, как зимой. Май называется. Не припомню такого. А Фардана говорит, что помнит, что в точности так же было в мае 1936-го.

Несколько раз выходил гулять. Ходили не спеша с Рамазаном Кузиевым. Говорили о национальном вопросе. Часто наши мнения расходились. Он рассуждает как-то по-книжному и осторожно, словно хочет обезопаситься от всех невидимых оппонентов. Своего мнения, похоже, нет. Второй раз вышел гулять по его просьбе — он позвонил. Приготовил мне вопросы, говорит «хочу уточнить». Опять ходили, «уточняли».

Перед сном вышел уже один, чтоб подумать о своем, устал от надуманных дискуссий.

7.05.69

Сегодня День радио. И по этому случаю слушали из Москвы записи с голосами Маяковского и Есенина. Наши дали голоса Рашита, Баязита, Батыра, Газиза Альмухаметова. Грустно.

В три часа пошел на беседу о детской литературе, организованную комсомольцами. Были конфеты, апельсины, цветы, хорошие слова. Пришел домой в приподнятом настроении. Вечером пришла Амина Бикбаева. Долго сидели, вспоминали покойных друзей.

9.05.69

Сегодня сразу после утреннего чая всей семьей поехали в сад. Очень хорошо! Целый день на воздухе. Воздух ароматный, вкусный, просто пьяным от него сделался. Загорел мгновенно, даже щеки горят.

Ехали назад в электричке, встретил двоих знакомых. Один — еврей, преподаватель нефтяного института. Дотошный до невозможности. Интересуется совсем не интересными вещами и сам тут же сомневается. Другой — мой бывший ученик. Такой важный. Сейчас какой-то большой пост занимает. Так категорично говорит, словно он один-единственный грамотный на этом свете. И кого только не встретишь в дороге. Эйфория от поездки чуть смазлась, но все равно замечательно отдохнули.

14—15.05.69

Два дня были в саду. Вчера день был хороший, а сегодня весь день льет дождь. Пришлось сидеть дома. Хотя работалось хорошо. Несколько часов писал о прекрасной женщине — художнице Марии Николаевне Елгаштиной. Давно собирался о ней написать. И почти закончил. Память, оказывается, многое сохранила. В годы войны она руководила кукольным театром, а я принимал ее спектакли, так как был реперткомом. Жаль, не могу перечислить то, что написал.

Приехали в город, опять вышел погулять. Ходили с Уразбаевым и Рабигой Хисматовой. Интересные люди: уверяют, что никогда в жизни не ошибались.

Вечером послушал радио, передали сообщение о том, что «Венера-5» вошла в атмосферу Венеры. Меня такие вещи всегда волнуют. Вышел пройтись. Опять встретил Уразбаева: я, говорит, Хрущева всегда критиковал, еще когда он был у власти. Не первый раз уже он мне это говорит.

19.05.69

В Союзе повстречал Х. Карима и Г. Хусаинова, давно их не видел. Правда, с Гайсой мы в комиссии по творческому наследию Х. Габитова. Гайса к нему раньше относился неважно, сейчас, чувствуется, его мнение изменилось, я этому рад.

Сегодня в газете «Литературная Россия» вышла теплая рецензия на моего

«Солдата Фатхи», мне ее прочитал Хасан Назаров. Вообще много интересного прочитал из этой газеты.

Потом ходил к Куватову, он пригласил. Спросил, что я могу дать на 1970 год. Сказал, что ничего. Что поделаешь? Обидно, конечно. Тогда, сказал он, мы включим переводы. Куватов ко мне очень хорошо относится, всегда старается все решить в мою пользу.

20.05.69

В «Кызыл тане» М. Гайнуллин поругал Сараму Фахри. Позвонил Г. Амири со словами: «Давай напишем что-нибудь в защиту». Я согласился, так как любил его. Он хорошо разбирался в искусстве и в литературе, его обижать нельзя.

27.05.69

В Москве открылась Декада литературы и искусства Украины. Сидел слушал радио. Особого воодушевления не получил. Выступление Корнейчука вообще не понравилось, слишком хвастливое.

Ходил на заседание правления Союза. Поругались с Гайнаном. Говорит: «Вот уедут украинцы, подам на тебя в суд!» Видимо, совсем не думает, когда говорит. Тоже мне напугал. В свое время мы как раз этого только и хотели — суда. Так ведь не дали дело довести. Украл либретто «Хакмара» у Хая, отделался испугом. Украл произведение Хадии, ему «поставили на вид». Свои прошлые грехи забыл. Одно время я даже думал, что он, может, в душе раскаивается. Ничего подобного....

1.06.69

Сегодня в Уфе открывается Декада украинского искусства. Ходили с Фарданой на торжественное открытие мемориальных досок Максиму Рыльскому и Павло Тычине. Затем нас повезли на машине на Комсомольскую площадь возложить венки Ленину. По дороге познакомились с одной украинской актрисой, всю дорогу смеялась моим шуткам. Сказала: «Все, я от вас теперь не отстану!» В обед мы ее потеряли, даже имя не запомнили.

3.06.69

К трем часам пошел в библиотеку Крупской, там была встреча с писателями Украины. Ничего интересного. Похоже, и они устали, и для нас особых новостей не было. Народ в перерыве и по пути

домой говорит не об украинцах, а о Гайнанах: что пытается как-то выделиться, лебезит. Люди смеются, а мне даже слушать о нем неприятно.

4.06.69

Ходил к Куватову просить машину: отвезти кое-что в сад. Он велел ждать звонка шофера, но тот так и не позвонил. Весь день бесполезно прождали. Вечером пошел прогуляться и встретил З. Она какие-то жуткие вещи рассказывает о Гайнанах.

1970

2.01.70

Проснулся и долго лежал не вставая. На улице буря. Это ощущается. Особо не погуляешь. А работать тоже не могу. Совсем не вижу. Пришло много поздравительных, насчитал ровно 50. Сегодня день рождения Хади Такташа. Я его увидел впервые в 1918 году в медресе «Хусаиния», долго думал об этом.

Надо будет позвонить в Ленинград Сайфи Муратову, сказать, что Лира туда приедет из Москвы. Наша Лира всю жизнь борется со своей болезнью. Должна там лечь в больницу.

5.01.70

Грипп и Фардану подкосил, сегодня она даже не вставала. Гузель ночевала у нас, но мы ее силком отправили домой, боимся за нее.

По радио передавали обзор 12-го номера журнала «Агидель», хвалили мои воспоминания о Бедер Юсуповой. Но все равно этого маловато для поднятия настроения. Прочитали стихи Рафаэля Сафина и Ханифа Карима. Рафаэль растет! Сейчас самое его время. Ханиф хотя и больной, все равно хорошие стихи написал.

На улице солнечно, это поднимает настроение, хотя мы и не выходим гулять.

7.01.70

Сегодня мой день рождения. Мы с Фарданой встречаем его в постели. Я стараюсь не лежать, хотя врач и не велит вставать. То горю, то мерзну. Пытаюсь шутить, но не очень получается. Прочел Гузель стихи Тукая:

*Йырлай-йырлай улэрмен мин улгэндэлэ,
Дэшмэй калмам Газраилде кумгэндэ лэ.*

Отметили-таки мой день. Все сидели за столом, который придвинули к дивану, а я разместился на диване.



8.01.70

Все болеем. В Союз пришла телеграмма с приглашением меня на юбилей Наки Исанбета. Обрадовался. И Сайфи-агая пригласили. Возможно, Наки-агай посчитал, что мы, вместе прошедшие «Етэ-гэн», и сегодня должны быть вместе. Дошли слухи, что завтра он, может, и сам в Уфу прилетит. Эх, как хотелось бы встретиться, посидеть хорошенько! Услышал, что в «Кызыл тане» собираются опубликовать какой-то критический материал о Наки-агае. Неужели? Фардана читает книгу «История татарской литературы». Там почему-то нет нормальных слов, хотя полно хвалебных пассажей, после которых следует обязательное «но». Автор и сам толком не знает, как оценить то или иное явление, — дает сразу две противоположные оценки типа: «Все это замечательно. Однако совсем не здорово». Зачем тогда вообще писать, если не имеешь собственного мнения?

9.01.70

Прилетел Наки-агай Исанбет. Жаль, из-за болезни встретить его не смог. Поговорили по телефону. В последнем номере журнала «Огни Казани», который пришел сегодня, поместили фото, где мы с Наки-агаем сидим, пьем кумыс, и его шуточные строки о том, что Башкирия не бывает без башкир, а башкиры — без мяса, меда и кумыса. Завтра хоть ползком до него доползу. Поговорить с этим шейхом — стоит жизни.

10.01.70

К 11 часам пошел в гостиницу «Агидель» к Наки-агаю. Еле дошел. Дежурный сказал: «Уехал». Куда, не знает. Еле живой прибрел домой. А в 6 часов дня Вазих прислал машину за мной. Оказывается, Наки-агай перебрался в гостиницу «Россия». Приехал, а там Мустай, Вазих, фотограф и сам Наки-агай с молодой женой. Очень красивая девушка. Выпили коньяку. Совсем не собирался я пить. Но после такой новости с молодой женой Исанбета не выпить было нельзя.

Домой доставили на машине. Рассказал новость Фардане. Да-а, ну и дела... Пожилая Гульсум-ханум, его первая жена, в свои 66 была такой красавицей, что могла посоперничать с любой актрисой.

Вот это сила! Пришла Раиса Мухамедьярова, сестра Хая, и ей рассказал по-

вось. Не очень нам понятна, конечно, эта женитьба.

12.01.70

В этом году впервые вышел на прогулку утром. Нужно возвращаться к старым привычкам — гулять до завтрака. Но после чая стало знобить, лег под теплый плед и уснул. Проснулся и лежал, слушал марийские рассказы. Живо представляешь эти характеры. На марийском рассказы наверняка звучат даже лучше. Жаль, авторов не запомнил. Лежал и опять задумал. Совсем как старый кот. Потом встал и ходил, ходил — лишь бы побороть соблазн лечь.

14.01.70

Сегодня Ш. Бабичу — 75 лет. Он поэт и татарский, и башкирский. Особенно много он значит для башкирской поэзии, ее основоположник. А вот молчат наши. Нет материалов ни в газетах, ни по радио. Вчера по казанскому радио о нем была очень хорошая передача.

16.01.70

Вчера в 11 часов вечера из Казани передали в записи репортаж с юбилейных торжеств в честь 70-летия Наки Исанбета. Мы с Фарданой слушали, разволновались. Как жаль, что его самого там не было. Ходит здесь по архивам. Позвонил ему в гостиницу, трубку никто не взял.

Позвонил Ярулле Вали, спросил, почему ничего не дают о Наки-агае. «Не знаю!» — ответил. И это ответ? И про Бабицу — ничего. И тоже «никто ничего не знает». Что за люди!

19.01.70

«Не поддавайся, Сагит!» — говорю себе. Встал, как раньше, до болезни, рано. Побрился перед зеркалом, выдул щетину из бритвы в холодный коридор, помылся холодной водой — сел завтракать. После чая очень захотелось лечь. Прилег было, потом начал себя накручивать: «Не поддавайся!», пнул одеяло, сел писать обещанную статью об Олимпиаде искусств народов СССР, которая проходила в Москве в 1930 году. В этой олимпиаде участвовал и наш башкирский театр. От пожилых писателей поехал Даут Юлтый, а от молодых — я.

Позвонил джигитам в «Хэнэк», попросил помочь отыскать Наки-агаю. Обещали. И где он все время пропадает?

Долго говорили с Наки-агаем по телефону, в основном о Галяви. У него при жизни вышла повесть «Уздечки», несколько пьес, они и на сцене шли. Песню написал, «Альфия». Был хорошим художником. В годы войны умер от голода. В юности мы дружили. «Напиши о нем», — говорит Наки-агай. Что напишешь о человеке, который хотя и был одарен, но совсем не реализовался? Буквально тургеневский Рудин.

...Наки-агай, я стал замечать, теперь частенько заговаривает о старости, раньше-то он был бунтарем.

По радио слушал про Грибоедова.

Вот и все новости. Бедновато живу. Все радости, все новости — в основном через радио.

21.01.70

Утром погуляли вместе с Фарданой. Она совсем не любит «шататься без дела». Так я и не смог приучить ее к прогулкам. Об этом даже соседи знают. Раньше все спрашивали, почему вместе не гуляем. И на скамейке с женщинами никогда не сидит. Даже диву дается: «Как это можно сидеть вот так, будто дел нет?!» У нее всегда дела. А когда нет особо неотложных, ляжет и читает. Прочитывает все журналы, что выписываем: «Новый мир», «Звезду», «Октябрь», «Москву», «Неву», «Огонек». Если б я видел, может, тоже так читал бы? Всегда поражался этой женщине.

Зашел в библиотеку слепых, встретил своего друга Тухватшина. Давно его не видел. Он еще в августе ударился о машину: не увидел ее — и сломал ногу, и с тех пор лежал. Сегодня впервые встал и сразу же приехал в библиотеку. Очень грамотный человек. Будучи слепым, получил высшее образование и теперь преподает русский у слепых. Советует мне купить магнитофон «Днепр», по нему, говорит, можно слушать пленки с записями книг, которые слушают слепые. А по моей «Чайке» нельзя. Плохой магнитофон эта «Чайка».

29.01.70

Приехали забрали статью о Шамуке. Потом позвонил Ярулла, попросил, чтоб я сам ее прочитал по радио. Я отказался. Читать написанное не могу, не вижу. Да и не люблю произносить готовый текст, всегда его по ходу меняю. А тут не тот случай, так что пусть артист читает.

30.01.70

Позвонил Наки-агай. Говорили почти час. Обо всем. Многих вспомнили: Тухвата Чунаки, Хайретдина Вали. Очень тепло вспомнили Шамукова. Говорили о языке, о нации, о будущем всего этого.

Сегодня — день рождения Гузель. Фардана печет зур балеш, пироги. В середине ее любимого, клюквенного, надпись из теста: «Гузель 14 лет!». Родители купили ей часы. Говорят, была довольна. Решили, что ее подруги будут гулять там у них, на Карла Маркса, а мы, пожилые, здесь, на Коммунистической.

10.02.70

И сегодня ждал газовика, не гулял утром. До обеда проторчал в коридоре, боялся не услышать звонка. Тот так и не пришел. Как вернулась Фардана с рынка, скорей пошел на прогулку. Дошел до «Пионера» и услышал от Шарифа Биккула тяжелую весть: трагически погиб сын Фатиха Хусни. Шариф узнал об этом из казанских газет. Я тут же позвонил в Союз Гиляжу, сказал, что надо бы дать телеграмму с соболезнованием. Гиляж обещал. Оказывается, два года назад у Фатиха Хусни трагически погиб зять. Вот несчастный человек. Не хотел говорить Фардане, у нее сердце побаливает, но потом все же сказал.

После обеда опять пошел на улицу. Фардана сказала: «Не заходи никуда, не то опять что-нибудь плохое услышишь...» Видит, что я долго не могу отойти от плохих вестей, все хожу думаю.

21.02.70

День очень теплый, совершенная весна! Весь день гуляю, наслаждаюсь воздухом. Потом сел было слушать радио — позвонил Сайфи-агай. Очень долго разговаривали. Он сказал, что в Оренбурге праздновали 100-летие Фатиха Карима. А в Казани, найдя всякие причины, проигнорировали юбилей. Поскольку он, мол, в Казани не работал.

Фатих Карим — мой учитель, я учился у него в Оренбурге. Он пользовался громадным авторитетом. Весь вечер думал о нем.

24.02.70

Фардана повела Гузель на рентген, всю жизнь боится за ее ногу. А мне велела сидеть дома, ждать мифического газови-



ка. Существует ли этот газовик реально, который должен прийти? Похоже, нет его. Фардана с Гузель уже вернулись, а газовик так и не пришел.

Сегодня 90 лет со дня рождения Сагита Рамиева, моего любимого поэта. Сидел думал о нем. Первый раз я его увидел в обществе «Знание» в приоткрытую дверь. Он громко говорил: «Вход со двора. В слове «вход» слышится «т», а пишется «д»».

Во второй раз увидел в Башгизе. Стоял возле окна, насыпал табак в бумажку, чтоб сделать самокрутку. Я подошел к нему и попросил закурить.

— Ты разве куришь? — спросил он.

— Курю.

— И давно?

— Да уж года два, — соврал я. Тогда вообще не курил.

— Раз ты куришь уже два года, то табак, браток, должен иметь свой. Просить можно начинающему...

И закрыл портсигар.

— Да у меня есть табак. Просто искал предлог с вами познакомиться.

— Пишешь стихи? Давай прочти.

— Стесняюсь что-то...

— Раз стесняешься своих стихов, то зачем пишешь?

Я ему прочитал одно стихотворение. Он любя похлопал меня по спине, сказал улыбаясь: «Желаю удачи!» Об этой истории я рассказал Сайфи-агаю. Он говорит: «Ты что, напиши! Интересно ведь!»

26.02.70

Последние дни все одинаковые: Фардана с Гузель идут к врачу, я жду газовика. Морока это ожидание — даже радио не послушаешь. Стою как сторож у двери. Два шага направо, два — налево. Вчера вечером по радио передали интересное сообщение: один ученый в Канаде изобрел аппарат, с помощью которого незрячие могут читать обыкновенные книги для зрячих. Как Фардана с Гузель вернулись, пошел в библиотеку слепых рассказать им эту новость. А они об этом уже знают. Восприняли скептически: разве, мол, до нас эта штука вина дойдет. Вот у нас, говорят, одна женщина поехала в Москву за специально обученной собакой-поводырем. Это, мол, сильно! Оказывается, эти чудесные собаки необыкновенно надежны: умные, преданные, все умеют. Сидят

слепые, завидуют той даме. Видно, трудно такую собаку достать.

28.02.70

Сегодня день рождения Шарифа Комола. У меня было очень много любимых учителей. Шарифа-агая я любил больше всех. В 1921 году в Оренбурге он у нас преподавал литературу. Когда я начал писать, особенно когда со стихов перешел на прозу, очень хотел на него походить.

До войны в Казани проводили юбилей Ш. Комола. Так я хотел тогда туда поехать — увидеть его, сказать, что стал писателем. Но Юсуф Гарей непустил. В те годы все писатели подчинялись ему.

Сегодня весь день гулял и вспоминал. Так и день прошел.

1.03.70

Начало марта — начало весны.

И на душе становится веселей!

Эти очень простенькие строчки Тукая я, кажется, каждый год записываю в дневник. Днем поговорил с Ленинградом, Лиру хорошо было слышно. Назар отдыхает в Янгантау, ему написал письмо с шутками-прибаутками. Если, конечно, не обидится. С ним шутить надо осторожно, характер такой.

Слушал по радио «Огненный вихрь» Мирзагитова. Не в первый раз слушаю, и всегда с большим удовольствием. Бесспорная удача не только Асхата, но и театра.

8.03.70

Мои поздравительные открытки женщинам перепутались. Написанное Магафуре Кудашевой получила Зулейха Гиззатуллина. Звонит Сайфи-агай и говорит: «Сагит, моя жена же не Зулейха. Но она ничуть не хуже Зулейхи. Это правда, к старости мы с ней стали уже как Юсуф и Зулейха!» Рассказал об этом Фардане, а она: «Вы только к старости почему-то Юсуфами становитесь!..»

Вечером пришли дети. Зульфия своей бабушке нарисовала вазу с цветами. Очень красиво, нам понравилось. Лена подарила платок, который сама вышила. Я как-то говорил им, что в семье Ульяновых принято было дарить подарки не покупные, а своими руками сделанные. Они, видимо, запомнили.

22.03.70

Сегодня приезжает Лира. Фардана пошла занимать очередь за апельсинами.

Сразу в двух домах идет подготовка к ее встрече. Гузель вымыла полы у нас и пошла к себе, помогать маме.

Звонил Сайфи-агай, интересовался, как прошел юбилей Булата Ишемгулова. Сказал, что очень хорошо. Оказывается, в Казани вышла книга о Г. Ибрагимове, где мы с Сайфи-агаем названы в числе его учеников. Потом позвонил Алибаев, сообщил, что в «Правде» вышла интересная статья о татарской литературе. Я тут же набрал Лену, и она по телефону мне ее прочитала. Хорошая статья, но не отличная. Пришел второй номер журнала «Агидель», где опубликовали интересный документ о Мусе Муртазине. Кое-кто сразу же захотел его исказить. А его жизнь, судьба очень интересны.

Рамазан Кузиев каждый раз просит написать о Батыргарее Шафиеве. Я его видел несколько раз в 1917–18 годах. Не знаю уж, как он использует мою статью. Плохо, когда ученый не имеет своего мнения, все осторожничают, перестраховываются.

24.03.70

Профессор Кудояров сказал, что нужно срочно лечь в институт глазных болезней, не то остатки зрения потеряю. А мест нет. Ходили сегодня с Фарданой на Пушкина уже в третий раз, но опять не поехали.

Узнал, что Баязиту Бикбаю и Фариту Исангулову должны дать премию Салавата. Позвонил Амине, обрадовал ее. А Фарит в Москве, на съезде писателей РСФСР, ему вроде телеграмму послали.

Из Казани позвонил Амирхан Еники, попросил написать о Салихе Сайдашеве, я сразу согласился. Потом в своем архиве нашел вырезку из газеты за 1954 год: на снимке Салих Сайдашев, Акрам Вали, Гилемдар Рамазанов, Шариф Биккул и я. Написал, самому понравилось.

13.12.70

Сегодня мы с Фарданой купили билеты в Казань, чтобы поехать на 70-летие Хасана Туфана. Вдруг пришла телеграмма с приглашением на юбилей Хади Такташа, который состоится 12 января. Мы так поняли, это означает, что на юбилей Туфана ехать не надо, не было же официального приглашения. Спросил у Назара, он ничего вразумительного не сказал. Наверное, говорит, не следует ехать, а сам,

знаю, тоже хотел. Мы сдали билеты. Я бы к Хасану поехал не с пустыми руками — написал о нем статьи в журналы «Агидель» и «Пионер».

14.12.70

Весь день слушал казанское радио, ждал, не дадут ли Хасану орден. Сегодня справляют его юбилей. Вспомнил одно его стихотворение, написанное им еще до войны, и подумал, что Хасан и любить умел в стихах, и ненависть свою умел показать. Стал перебирать фотографии и с ходу наткнулся на ту, где мы сняты втроем: Хасан Туфан, Тимер Арыслан и я. Да, жалко, с юбилеем как-то не вышло, мы с Фарданой очень были настроены поехать.

18.12.70

Сегодня из Казани позвонили в Союз, извинялись за телеграмму и сказали, чтоб непременно приехал на юбилей Такташа. Какая-то вышла путаница, что ли? Не пойму. Или Назар что-то напутал. Сам-то он, оказывается, поехал на юбилей Хасана Туфана. Я всегда его плохо понимал. Все время он какой-то обиженный и одну песню поет: как поздно к нему все пришло. Что, мол, недооценивают его.

19.12.70

Ну на редкость бестолковый день. Сколько ни гулял, никого путного не встретил. В шесть вечера вдруг передали по радио стихи Назара. Вернее, он сам их читал. Потрясающие стихи. Сразу его простил. А то ходил злился на него. Мало того, что сам втихую уехал, так по приезду еще и не звонит — ведь наверняка мои казанские друзья мне тысячу приветов передали! А сейчас думаю, может, как раз в это время он эти замечательные стихи писал. Отличный поэт он, этот Назар, черт возьми!

20.12.70

Проснулся рано, но боялся разбудить Лиру. Поэтому лежал долго, не вставал. Сегодня воскресенье, пусть поспит подольше. Под впечатлением вчерашних стихов написал Назару письмо, завтра отправлю. Был в библиотеке слепых, и они слушали стихи Наджми, и им понравилось. Они готовятся проводить юбилей Бетховена.

По радио ничего интересного. Весь день гулял и размышлял. День очень уж хорош, домой заходить не хочется.



21.12.70

В эти дни я каждый день получаю письма из Казани. Рассказывают о юбилеях Амирхана, Туфана, Сайдаша. Вот и сегодня от друга Амирхана получил подробное, теплое письмо. Конечно, все они меня слегка упрекают, что не приехал. Но я боюсь пускаться в дорогу, стар стал. Просто никогда не жалуясь, даже, наоборот, всегда стараюсь шутить, вот они и думают, что я в порядке. Пусть так думают. Лучше выглядеть бодрым и веселым, чем вечно жалующимся и больным.

25.12.70

Дни все холоднее и холоднее. Утром на прогулке совсем замерз. После чая сидел слушал радио. И Фардана себя плохо чувствует. Тоскливо.

После обеда опять вышел пройтись. Замерз. Чтоб погреться, завернул в «Хэнэка». Пришел туда и Кулибай, как-то неудачно пошутил, и обидчивый Назар просто взвился. Заодно и ко мне привязался: вы, говорит, за то, что я поехал в Казань, сейчас меня ненавидите! Такую сильную страсть, как ненависть, я никогда не испытывал к коллегам. Да, некоторых не любил, но чтоб ненавидеть?! Хорош поэт, но характер просто г... Раньше таким был Карнай. Но Назар его превзошел.

28.12.70

Сегодня день рождения Лиры. Домашние к нему всюю готовятся. Сама Лира на работе. Гости придут к шести часам.

Чтоб не мешать, пошел гулять. Дошел до Союза, узнал, что Туфану дали орден Трудового Красного Знамени. Обрадовался. А то боялся, что никак его заслуги не отметят. Послал ему свои статьи, написанные к его юбилею.

Столько народу пришло на Лирин день рождения! Фардана отлично приготовилась, мы с Галимом немного выпили.

29.12.70

Начали приходить новогодние поздравления.

После чая пошел попрощаться со своим другом врачом Геллером. Он покончил с собой. Знал, что неизлечимо болен, не хотел мучительно умирать.

31.12.70

Последний день этого года. Домашние готовятся к празднику, я, чтоб не болтаться под ногами, пошел гулять. На ули-

це тепло. Дошел было до Союза, потом до «Хэнэка» — никого, не работают сегодня.

Пришел домой, читал поздравительные открытки. Как всегда, их пришло очень много.

К восьми вечера дом был полон гостей. В девять сели праздновать. В два ночи пошел прогуляться, а в три гости начали расходиться.

1971

1.01.71

Поздновато встали. Днем с Ахунзяновым долго гуляли. Он рассказал интересные случаи о наших товарищах — оказывается, я ничего не знаю.

Из Казани опять пришла телеграмма с приглашением на юбилей Такташа вместе с супругой. Они знают: один я не езжу.

2.01.71

День как резко изменился! Надел было валенки, Фардана говорит: «Ты что, на улице дождь!» Вышел в ботинках. Действительно, по тротуарам течет вода. Такой январь я видел в Серменево в 1936 году.

3.01.71

Дни стали похожи на Назара: посмотришь — вроде тепло, ступишь — лед. Вчера по тротуарам текли потоки воды, а сегодня везде — лед, каток буквально.

Позвонил Фарит Исангулов, начал высказывать свою обиду, что мы в Казань не хотим ехать. А мы с Фарданой еще до сих пор не решили, поедем или нет. Холода пугают.

Сходил в Башгиз, но там испортили настроение, передав какие-то нелепые сплетни про то, что не поехал в Казань. Похоже, ноги к этим рассказам Назар приделал.

Вечером слушал концерт Масалима Валеева. Пришлось по душе. Он, покойный, был действительно народным и мелодичным композитором.

9.01.71

День красивый. На юбилей Такташа не смогли поехать. Все время думаю про это. Днем Фардана почтала мне журнал «Огни Казани». Мой друг Амирхан Еники в своем рассказе «Курай» упомянул меня. Когда-то я ему рассказал легенду о курае. Сайфи-агай в своей статье «Туфан» тоже про меня вспомнил.

По радио передали отрывки из романа Фарита Исангула, сидел слушал.

Очень понравилось. Есть любопытные, точные детали. Позвонил ему, хотел похвалить, но не застал дома. Звонил Сайфи-агаю и его не застал.

16.01.70

После утренней прогулки сел было слушать радио, но пришел Рамазан Усманович. Он прочитал моих «Земляков» и принес 10 вопросов, связанных с Оренбургом. Сидел отвечал на них.

Из Казани от друга Амирхана Еники пришло письмо: переживает, что не был на юбилее Такташа. Сейчас, говорит, торжества в его честь пройдут в Москве и в его родной деревне Сиркынды. Может, говорит, хотя бы туда приедешь.

В Москве, думаю, будет неинтересно, а вот съездить в его деревню было бы хорошо.

Пошел прогуляться и отнести статью о Г. Саяме в «Совет Башкортостаны», заодно забрал в «Кызыл тане» наше фото с Салихом Сайдашевым. По пути домой заглянул в журнал «Пионер», там они готовят мою статью о Г. Саяме. Откуда-то нашли фото, где мы сфотографированы втроем: Баязит, Саям и я. У меня такой фотографии нет. Спросили, когда мы фотографировались. Не смог сказать, похоже, году в 1925 или 26-м.

Пришел домой, отдохнул. Затем с Фарданой не спеша пошли прогуляться и незаметно дошли до телевидения. Раз так — зашел, получил гонорар. Потом вновь не спеша пошли домой. Шли разговаривали, вспоминали прошлое. В Уфе много памятных мест. На углу улиц Аксакова и Пушкина долго стояли, вспоминали про «Етэгэн», организованный здесь.

21.01.71

Утром отнес в починку часы Гузель знакомому часовщику Мугаллиму. Заодно зашел в «Хэнэк» отдать им написанный материал — они готовят юбилейный 500-й номер. Подписал псевдонимом — Ишти улы (Сын Ишти).

Сегодня получил письмо от Хибатуллы Таналина, это братишка Чунаки. Он был в Оренбурге, в библиотеке Ямашева, и просмотрел все газеты и журналы за последние четыре месяца. Прочитал все мои статьи и рассказы и о каждой публикации написал свои вдохновенные мысли. Удивительно энергичный человек этот Таналин. Он глухой и, видимо, все свое время проводит за чтением и писаниной.

24.01.70

Воскресенье. Позвонили из библиотеки слепых. Они сегодня отмечают 80-летие Эренбурга. Пригласили лектора, и меня просят рассказать что-нибудь. Сидел в кресле, думал. Вышел на улицу, встретил Ахунзянова, и он рассказал интересный эпизод об Эренбурге.

К четверем пошел в библиотеку. Рассказал кое-что об Эренбурге. Они, даром что слепые, столько знают сплетен, мне и не снилось. Задавали много вопросов, я старался отвечать дипломатично. Один слепой рассказал, как он встречался с Эренбургом в Бирске.

Пришел домой — слышу по радио свое выступление о романтизме, я и забыл про него совсем. Несколько лет назад, помню, что-то говорил на эту тему.

Вечером пришел Рамазан Усманович, принес газету, издающуюся в Оренбурге. Там написано, что мы с Мусой Джалилем (ему — 11, мне 12 лет) руководили движением оренбургских шакирдов. Кто поверит этой глупости? Ученые порой совершенно не думают, что пишут.

27.01.71

После вчерашнего вечера Саяма, который я вел, чувствую усталость. Народу было очень много. Люди постоянно подходили, говорили хорошие слова. Из Казани на вечер приехал Гариф Ахунов, сказал: казанцы обижены, что не поехал на юбилей Такташа.

Вечером по радио дважды говорили о вчерашнем вечере. Сказали, что вечер блестяще вел близкий друг Саяма. Приятно, конечно. Даже продавщица из соседнего магазина высказалась: «Дед, я и не думала, что вы так хорошо выступаете».

28.01.71

Ясный, безоблачный день. Давно таких не бывало. Утром пошел гулять и дошел до сапожной мастерской, отдал в починку Лирины сапоги. Там работает давнишний мой знакомый Алексеев. Раньше он был писателем, членом БАПП, а теперь вот сапожник. Очень пожилой хороший человек, и сапожник отличный.

После чая пошел в Башгиз, хотел взять авторские экземпляры книги «Честь по чести», но нужных мне людей не было на месте. Так что вечером, когда пошел забирать сапоги, не смог подарить Алексееву обещанную книгу.



3.02.71

С утра сходил в Союз, расстроился. Какое-то недовольство исходит ото всех, все чем-то обижены. Группу писателей выдвинули на награждение орденами, остальные злобствуют. Абдуллин скандалит, мне, говорит, на 50-летие дали только Почетную грамоту.

Потом пошел в филиал Академии наук, там должна была быть встреча ученых с художественной интеллигенцией. Меня усадили в президиум. Встреча действительно получилась интересной, содержательной. Понравился руководитель филиала Сагит Рафиков. Сильно отличается от остальных наших ученых смелостью и оригинальностью суждений.

После встречи нас, членов президиума, пригласили на чай. А потом меня с Сайрановым Рафиков на своей машине привез домой. Я был удивлен, не привык к такому вниманию.

Дома Фардана вот уже несколько дней приводит в порядок мой архив. Она настоящая трудовая пчела. Послушал новости, пару раз сходил на прогулку. Можно сказать, день прошел хорошо.

6.02.71

Сегодня встреча творческой интеллигенции с представителями Альшеевского района в оперном театре. Если верить организаторам, они очень просили меня выступить. Не люблю я такие «солянки». Привык говорить по-башкирски. А тут много будет русских, и не только русских. Язык ломать не люблю, не приличествует писателю говорить с ошибками. Эх, как уж мы ни любили нашу преподавательницу русского Марию Николаевну Стефанову, а вот русского никто толком не знает!..

Пошел уж, раз так просили, решил, что буду говорить по-башкирски. Мне первому дали слово. Начал с того, что ровно 36 лет тому назад здесь же, в оперном, была подобная встреча с альшеевцами и давлекановцами. Неожиданно хорошее выступление получилось, по ходу вспомнил массу подробностей, люди слушали очень внимательно. Потом много народу подходило.

Пришел домой в приподнятом настроении, думая, что вот сейчас поговорим с Фарданой. Но она к разговору совсем не расположена: хотя и болеет, все

равно занимается моим архивом. Сосредоточена, не хочет, чтоб я ее отвлекал разговорами.

Из Оренбурга прислали приглашение на торжества в честь 65-летия Мусы Джалиля. Работники тамошней библиотеки имени Ямашева делают большие дела. Вообще Оренбург по-настоящему культурный город, второй после Казани. И газеты, и театры, и школы там на уровне. Много делается и для башкирской культуры.

Ходил на встречу с учащимися 11-й школы. Не хотел, зная, что там-то уж точно придется говорить по-русски, но они так умоляли. Старинная школа, хорошие традиции — пошел. Чувствуется, дети не только прочитали мою книгу «Земляки», но и как следует были натасканы учителями — такие серьезные, не детские вопросы задавали о Мусе Джалиле.

Пришел домой усталый, с цветами, а Гузель вдруг говорит: «И что эта слава, суета вокруг имени, когда самого уже давным-давно нет в живых?» Она вообще склонна философствовать, и всегда с каким-то оттенком пессимизма. Меня огорчает эта нежизнерадостность. Такие они с Зульфией разные.

Фардана возится с архивом. Весь дом завален книгами, передвигаюсь по дому какими-то узенькими тропочками, одно неосторожное движение — и стена из книг рухнет. Оказывается, не сохранилось ни одного экземпляра таких книг, как «Наш смех», «Пара пуговиц» («Куш тоймэ»), «Шартына килхен» («С учетом обстоятельств»).

Зато в архиве неожиданно обнаружилась рукопись Перчаткина. Я брал переводить ее на башкирский для газеты и забыл отдать. И он забыл. Пошел отдал ему рукопись. Он был просто потрясен: оказывается, на русском это даже не выходило! Как это, говорит, возможно, чтоб чужую рукопись хранить 17 лет? Другой бы уже давно порвал. Пришел домой, а он уж звонит вдогонку — все удивляется. Но я мог бы порвать только свою вещь, которая не нравится, а чужую как порвешь?

17.02.71

Такое обычное, спокойное, несуетливое утро. Встал, побрился, погулял, позавтракал, сел слушать радио. Передали рассказ Раиса Габдрахманова «Солдатская

каша». Его все почему-то недолюбливают, и я никогда не восхищался его талантом. А этот его рассказ понравился. Сюжет аккуратный, в маленьком объеме два выпуклых характера. И поступки убедительные, остаются в памяти.

Пошел пройтись. Все думал о рассказе. Иногда хорошо не быть знакомым с автором. Если б я его не знал, то рассказ, думаю, даже больше понравился бы. И не плохой вроде человек, но на редкость необаятельный.

1.03.71

Начало марта — это начало весны, Веселее становится на душе!

Так сказал Тукай. Но сегодня особо радоваться не получается. Холодно. Весна совсем не чувствуется.

Сегодня началось совещание молодых творческих работников. В валенках идти вроде неудобно, а в ботинках холодно. Поэтому не пошел.

Вчера написал кучу поздравительных с 8 Марта знакомым, подругам — тем, что живут за пределами республики. Сегодня пошел на почту их отправлять. Одна женщина, работница почты, вдруг недоверчиво спросила: «Вы что, действительно Сагит Агиш?» Сказал, что да. Может, думала, что я посимпатичней...

12.03.71

Погулял, попил чаю, послушал радио и к 11 пошел на выставку Ахмата Лутфуллина. Талантливый художник и талантливый человек. Я его хорошо знаю. Как-то ему позировал. Но у меня не хватило тогда выдержки, и это, видимо, отражалось на его работе. Он постоянно рвал и начинал заново. Потом сказал: «Да, что-то не заладилось...» А потом мы оба пожалели, что не довели дело до конца.

Выставка оставила приятное впечатление. Есть замечательные портреты. Портрет Хадии Давлетшиной хорош. Волнение целый день не покидало меня. Гулял несколько раз, а перед глазами — лутфуллинские портреты. Думаю, и завтра загляну на выставку.

13.03.71

Сегодня опять ходил на выставку. Уже четвертый день я туда хожу. Пришел домой, меня поджидает письмо от Амирхана Еники. Он написал, как обижали Дардемана. И еще написал о своих планах — в конце марта собирается в Таш-

кент, хочет поискать материалы о Чунакее. Я быстренько ему тоже отписал, дал адрес родственника Чунакея — Х. Таналина. Таналин такой деятельный человек, наверняка Амирхану это будет большим подспорьем.

К вечеру сильно разболелось горло: ни говорить, ни даже глотать не могу.

17.03.71

Встал рано. Погулял немного, так как горло болит. Пришел 500-й номер «Хэнэка», там и моя заметка есть, а еще очень забавные шаржи Штабеля.

К вечеру боль в горле опять усилилась. Случайно к нам пришла Лирина подруга, врач. Посмотрела меня и отругала. Какая, говорит, прогулка? Горло страшное. Сидеть дома. Беспрестанно полоскать. И Фардана досталось, что идет у меня на поводу.

20.03.71

Встал позже обычного. Долго и тщательно брился. Пошел гулять по Дорофеева. Пришел, слушал радио — ничего интересного.

После обеда вдруг решил опять заглянуть на выставку Лутфуллина. Каждый раз, как схожу, потом долго разговариваю с портретами.

Завтра — Лутфуллин пригласил меня — пойду к нему позировать. А послезавтра должен лечь в институт глазных болезней.

21.03.71

Погулял совсем недолго, позавтракал и пошел позировать Лутфуллину. Весь день пробыл у него. Правда, трижды отдохнули по часу. В каждый перерыв приходил домой. Не могу без движения.

Лутфуллин закончил и, кажется, доволен. Действительно, похож. Вечером вместе со мной пришел к нам. Настроение у него приподнятое. Когда работа ладится, я бываю такой же. Проводил его и сел слушать радио. Потом вышел подышать воздухом. Лутфуллинские портреты по-прежнему со мной. Мысленно обращался к его героям и моим хорошим друзьям. Да-а, жизнь проходит...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Через тридцать два года после дедушкиной смерти среди бумажных отвалов



его архива я случайно нашла шесть записных книжек. Оказалось, его дневники. Он вел их с педантичной аккуратностью с 1966 по 1971 год. И еще один выбивающийся из хронологии год, 1958-й, посвящен мне, двухлетней. Я тогда сильно болела, а дед, оказывается, жутко переживал. Найденные записки взяла с собой в Германию. Здесь, под ритмичные удары колокола, летящие с морозным воздухом прямо с горы, и читаю их. Понемногу, смакуя, как хороший коньяк. Почитаю, похожу, повспоминаю — и на воздух!

Под ногами слегка подмороженная листва, белки носятся у самых ног, не боятся. Легкие, как пушинки, с раскосыми загадочными глазами. Буки и вязы невообразимой толщины, совсем малахитовые от мха и времени. Я рисую. Просто так, от полноты чувств: так лучше думается, лучше вспоминается.

Вспомнились его строчки, почти молитва:

«Я в поезде. Думы о Гузель. Только думаю и думаю о ней».

«Я в Москве. Вечером улетаю в Баку. Где ты, Гузель?»

...А я сижу на замшелом основании каменного католического креста, чудом уцелевшего в городе гугенотов, и думаю о тебе, бабушка. Штрихую шероховатую бумагу и опять думаю о тебе. Вижу, как ты

стоишь, щурясь от солнца, и крошишь хлеб на утрамбованный, пахнущий арбузами и весной снег. Потом поднимаешь палку к небу и с удовольствием цитируешь Тукая. Что-то насчет птиц, которые, конечно, никуда не улелят, останутся здесь, с нами...

Лес совсем не похож на наш, юматовский. Ни одной березки. А я все равно думаю о той жизни и о тебе. И о твоих записках. Безыскусных и простых, как деревенский ситчик. Натуральный, веселенький, так легко вбирающий в себя окружающие запахи и так долго их хранящий... И не могу не подивиться тому, как практически незрячий и глухой человек пытался реализоваться, как мог оставаться таким добросердечным, внимательным к людям, таким оптимистичным и быть совсем не завистливым! Как умел радоваться чужому успеху, восторгаться чужим талантом. Прощал за талант и дурной характер, и личные обиды. Редчайший дар.

За свою журналистскую жизнь я была знакома со многими большими, признанными писателями. С некоторыми из них общалась неформально в течение многих лет. И ни у кого не встретила этого дара — преклонения перед чужим талантом. Это как взобраться на Килиманджаро. Не меньше. Поэтому так часто я думаю о тебе, бабушка.

Непарадные портреты

Записки спичрайтера

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Все представленные здесь вожди, руководители и политики входили в число людей, с которыми автору так или иначе довелось соприкоснуться в работе. Лишь фигура Сталина знакома в основном по портретам, но зато создаваемым прямо на глазах.

Дипломатическая служба в Москве и за рубежом, работа в аппарате власти — в ЦК КПСС и Правительстве Российской Федерации — не только позволяли, но и требовали от автора участия в делах, которые принято называть политическими.

Если с отдаленного расстояния политика представляется цельной, продуманной системой действий, то вблизи видно, что она составляется подчас из кусочков, которые сшивают не всегда умелые мастера, наделенные к тому же разной долей старания.

Соответственно и эти истории представляют собой не систематизированный, академический взгляд на власть, а всего лишь отдельные зарисовки, сложившиеся как воспоминания о различных эпизодах, запомнившихся прежде всего своей курьезностью.

Приглашая вас, уважаемый читатель, пройти по кабинетам и коридорам властных зданий, автор рассчитывает вместе с вами побывать на некоторых совещаниях и переговорах, подумать над тем, как сочинить речь, с которой мог бы выступить если не царь или президент, то по крайней мере воображаемый глава правительства.

Позвольте выразить надежду, что после такой экскурсии белый или иного цвета дом за неприступной оградой не покажется вам пристанищем Бога. Да и люди, что произносятся с экранов телевизоров пронизанные заботой о человечестве речи, могут стать более понятными и близкими, почти как соседи по лестничной клетке.

Правда, большинство из тех, с кем автор имеет честь познакомить вас, относятся к категории прошлого. Многие из них ушли вместе с номенклатурным социализмом. Но пусть это вас не расстраивает. В основных чертах проявления людей во власти и около нее неизменны, они диктуются скорее инстинктами, чем интеллектом. Какими были в прошлом, такими, скорее всего, покажут себя и в обозримом будущем.

Зеркало этих рассказов едва ли будет льстить и представлятелям нынешней правящей генерации, которые, может быть, увидят здесь и свое, отчасти виртуальное, изображение. Скорее всего, это пошло бы только на пользу.

ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ И ЕГО СПОДВИЖНИКИ

* * *

Дача, где умер Сталин, так называемое Волынское-1, теперь оказалась в черте Москвы. Она находится сразу же за мемориалом Победы на Поклонной горе, в зеленом квадрате, ограниченном с вос-

Валентин Алексеевич Александров родился в 1931 году. Окончил арабское отделение Института востоковедения, был принят в МИД, работал за границей. Был приглашен в аппарат ЦК КПСС, где готовил тексты выступлений для Л.И. Брежнева и других руководителей государства. Был помощником председателя Правительства РСФСР, помощником секретарей ЦК КПСС, позже ушел во внепартийную журналистику. В последние годы возглавляет журнал «VIP-premier».



тока и юга Старовольнской улицей, с севера — Староможайским шоссе и с запада — Давыдовской улицей.

Долгие годы этот мрачный комплекс с выпирающим из земли бункером принадлежал Управлению делами ЦК КПСС. Время от времени его предоставляли для работы над докладами партийных руководителей и другими материалами КПСС.

Первый раз мне, тогда консультанту отдела ЦК КПСС по социалистическим странам, довелось оказаться на даче Сталина поздней осенью 1966 года. Я был в составе группы, которой дали поручение в крупном плане показать порочность теории и практики маоизма как главного извращения внутри коммунизма в то время. Материал готовился для совещания представителей компартий ряда социалистических стран по китайскому вопросу, нареченному впоследствии в рабочем порядке «Интеркит».

Парадокс состоял в том, что именно эта дача была единственным местом, где останавливался и жил Мао Цзэдун во время приезда к Сталину в 1950 году, вскоре после победы революции в Китае. Для размещения Мао был надстроен второй этаж ранее одноэтажной сталинской дачи. Апартаменты Мао состояли из двух огромных сообщающихся широким проемом комнат, каждая площадью примерно по пятьдесят квадратных метров. Для подъема на второй этаж был установлен лифт, почему-то с тремя кнопками, что вызывало предположение о каком-то тайном помещении внизу.

Наша группа редко собиралась в полном составе, но постоянно на огромной даче оставались три человека. Кроме меня, еще были академик А.М. Румянцев и мой коллега по ЦК КПСС, а ныне директор Института Дальнего Востока и академик РАН по философии Китая М.Л. Титаренко.

Румянцев жил в одной из комнат Мао Цзэдуна, Титаренко — в дальнем крыле, где останавливались вызванные к Сталину руководители республик. Я же размещался в комнате Светланы, дочери Сталина, вблизи парадного входа в дом.

В обстановке многое оставалось еще от старого хозяина. Один из десяти одинаковых диванов был помечен с задней

стороны, чтобы не забыть, что на нем скончался Сталин. У каминов лежали поленицы дров, наколотых «самим». В одной из комнат стоял «его» письменный стол. В большой столовой из панели торчал гвоздь, вбитый «им», чтобы повесить китель после Парада Победы. На фанерровке стен еще видны были следы от кнопок, которыми «он» прищипливал полюбившиеся картинки из «Огонька». Там же на потолке оставались следы от пробок, над дальним концом стола, где Берия, сидевший рядом с «самим», открывал шампанское, но так, чтобы пробка — в потолок.

По вечерам мы расходились по своим комнатам, отделенным друг от друга несколькими помещениями, и тогда казалось, что дом наполнялся какой-то призрачной жизнью. Слегка подвывали трубы каминов. Потрескивали деревянные панели, которыми были обиты стены. Ветки обступившей дом туи под ветром скребли оконное стекло. Из угловой комнаты, где нашли «его» без сознания, доносился бой напольных часов, который перекликался с боем часов в комнате, хранившей «его» последнее дыхание.

Такой дом не мог ни заснуть, ни затаить в покое. Он мог только затаиться, погрузившись в собственные воспоминания.

Огромный текинский ковер, застилавший всю большую столовую, зеленое сукно стола, стулья с высокими спинками — все дышало памятью прошлых страстей.

Жар неуголенного тщеславия, страх неистребимых подозрений, муки заглушённой совести, тоска одиночества в сжимающемся кругу ненавидящих сподвижников, старческое бессилие при верховном всемогуществе, бессмертие момента перед лицом истории и немощь дряхлого тела, усталость от бдения и боязнь сна. День, перепутанный с ночью, друзья — с врагами, жизнь — со смертью.

Со времени кончины Сталина вытоптан и обветшал текинский ковер, освежающий ремонт стер щербин с панелей и следы с потолка, диваны поменялись местами и потеряли нехитрые приметы, поленья, лежавшие у каминов, послужили своему прямому назначению. За эти пятьдесят лет сменилось много правите-

лей в Кремле. Но так никто из них и не придумал, как поступить с домом, где «он» умер.

А сталинское наследие меж тем переселилось из сознания в подсознание, обретая оттого еще большую устойчивость. Прошлое смотрит на нас из настоящего.

* * *

В школе, куда я поступил в первый класс в год начала Второй мировой войны, учебники передавались от старших к младшим, и страницы их несли печать политической борьбы, которую вел Сталин со своими противниками в масштабах всей страны. На «Истории СССР» под некоторыми портретами слова «друг народа» были перечеркнуты другими — «враг народа». А особенно неполюбившимся из них мои предшественники прокаливали глаза, пририсовывали страшные усы и бороды. Но и через эти карикатурные искажения проступали черты прошлого.

Потом, когда кончилась война, борьба со сталинскими врагами приобрела новый разворот. С портретов вождей она переместилась на знакомых мне конкретных людей. В Марьиной Роще, окраинном тогда районе Москвы, где, казалось, о политике знали только из радиопередач, один за другим стали исчезать соседи, клейменные как политические преступники. Муж первой моей учительницы английского языка, затем — отец одноклассницы, за ним — товарищ из соседнего двора, а следом другой — чуть постарше. Потом еще несколько человек — уже из интеллигентского окружения.

И вот 1953 год, смерть вождя, участие в битве за прощание с ним. Арест Берии и первые сброшенные наземь портреты. Скупые строки официальных сообщений и море слухов. Наглядно демонстрирует себя цензура. Подписчикам БСЭ присылают новые страницы для замены части из ранее выпущенных томов с неудобными фамилиями.

Драму цензурных изъятий переживает на глазах миллионов москвичей мозаичное панно «Апофеоз Победы» работы Павла Корина, что было одним из укра-

шений станции метро «Комсомольская — Кольцевая».

На панно были изображены мавзолей Ленина, стоящий на его трибуне Сталин в окружении сподвижников и брошенные к подножию мавзолея фашистские знамена.

Как только арестовали Берию, его фигуру на панно скололи и замазали краской. Едва успели люди привыкнуть к новой композиции, как была разоблачена антипартийная группа в составе советского руководства, и с панно за одну ночь соскоблили изображения Молотова, Маленкова, Кагановича, а чуть погодя еще и Ворошилова. И получилось так, что на трибуне стоит один Сталин, в отдалении от него — Хрущев и совсем рядом — Микоян.

Потом грянул XXI съезд КПСС, когда было решено вынести Сталина из мавзолея. Портреты его стали всюду снимать. Даже там, где он стоял рядом с Лениным, как, например, в верхнем вестибюле станции метро «Арбатская».

Это создало критическую ситуацию для панно «Апофеоз Победы». Как быть со Сталиным? Оставлять нельзя, а без него какой же апофеоз? На всякий случай загордили панно строительными лесами.

Пока думали да гадали, тут и Хрущева сняли с должности. Что же тогда получается? Если Хрущева со Сталиным замазать, то один Микоян Парад Победы принимать будет. Это ни в какие ворота социалистического реализма не могло пройти.

Тогда пришло прямо-таки соломоново решение. Всю картину велели сколоть, а на ее месте разместить изображение ордена Победы. За работу взялся тот же народный художник страны Павел Корин.

Много позже наткнулся я на статью в популярном журнале о том, какой был великий творец Павел Корин и что надо бы работу «Апофеоз Победы» восстановить. Таким образом, прошлое, описав дугу забвения, вновь стучится в настоящее. Хорошо, если не со злыми намерениями.

Поэтому, осмысливая свое «закулисье», я не могу обойти отдельные картинки, не самые мрачные, но характерные, осевшие в сознании с далеких времен.



СМЕНА САПОГ НА ПОРТРЕТЕ СТАЛИНА

— Не приняли портрет. Остолопы. Будто я не в те сапоги его обул, — с досадой сказал дядя Вася, художник, вернувшись с заседания закупочной комиссии МОСХ. — Прошлый раз, когда я его портрет сдавал, никто о сапогах не сказал ни слова, а сапоги были такие же — хромовые. А теперь, видишь ли, время изменилось. Говорят, что Сталина надо в яловых сапогах писать.

Дядя Вася развернул холстину, поставил незадачливый портрет на мольберт. На полотне был изображен вождь на фоне кремлевской стены. Взгляд сосредоточен. На лице печать мудрости, и улыбка у глаз. В руке трубка. Китель. Брюки вправлены в сапоги. Сапоги не начищены до блеска. Но видно, что сделаны из мягкой кожи, какие носили в то время командиры Красной Армии.

Было начало 1940 года. Невиданно лютые морозы вторглись не только в жизнь людей, но и в политику. От них застыло продвижение советских войск в Финляндии в начавшейся войне, сбилось движение на железной дороге. Мои родители и старший брат поехали с продуктами к деду с бабушкой в город Калязин в Калининской области да и застряли там. Меня, школьника-первоклассника, на эти дни «подбросили» мамину дяде, занимавшему вдвоем с женой две просторные комнаты в доме у Никитских ворот, где тогда был магазин «Консервы».

Дядя Вася, которому я приходился внучатым племянником, был добротным живописцем. Его призвание — натюрморты с дичью, рыбой, полевыми цветами, которые он привозил из лесов и с озер Подмосковья. Но деньги платили не за это. Закупочная комиссия Союза художников была щедра в оплате только портретов. И не всех, а лишь портретов вождей.

Дяде Васе повезло — в галерее созданных им полотен не было ни одного из тех, кто был признан врагом народа. Он писал в основном портреты Ленина и Сталина. Поэтому заказы не кончались.

Никто ему, конечно, не позировал. Лики делались с фотографий. Атрибуты (кепка у Ленина, трубка у Сталина) — по

газетным версиям. Композиция (елочки, Кремль или небо за спиной) — по собственному наитию. Казалось бы, он учитывал настроение времени. В одном случае показывал улыбку в уголках глаз вождя. В другом — настороженность. Ну и соответствующий фон подбирал — от солнечного утра до дождливых сумерек.

И вот надо же — случилась беда с сапогами. Портрет Сталина он делал под заказ и закончил к 7 ноября. Но комиссия по закупкам почему-то не собралась. А через три недели началась война с Финляндией.

Теперь, когда комиссия снова стала заседать, оказалось, что хромовые сапоги на Сталине — неверно. Нужны яловые, походные. Деньги не заплатили. Велят переделывать.

Дядя Вася листал альбомы, перебирал фотографии. Но нигде не было Сталина в яловых сапогах.

— Ну что тебе, трудно нарисовать им то, чего они хотят? — вносила свое понимание ситуации жена художника, тетя Фаня. — А иначе он так и останется всю жизнь у нас в комнате стоять.

Дядя Вася вздыхал, смирившись со своей участью. Он отложил в сторону открытки, которые не помогли поискам нужных сапог. Вытащил откуда-то мешок с охотничьим снаряжением, достал свои болотные сапоги, поставил их на табуретку. И, глядя на них, стал «переобувать» Сталина.

Работая кистью, он вел со мной тихую беседу. Говорил медленно, должно быть, чтобы слова не мешали движению руки.

— Вот, видишь, как трудно все угадать. Где какие сапоги нужны? А кто знал, что будет война с Финляндией? И так всегда — думаешь одно, а выходит другое.

Набрасывая контур первоначально левого ялового сапога, дядя Вася погрузился в воспоминания:

— Мы вместе с твоим дедом иконы писали, церкви расписывали. Только прямо скажу — у него не все получалось. В церквях он только «студень» мог расписывать. Смеешься? «Студнем» у нас ручки и ножки у ангелов называли. Это — твой дед расписывал. А лики изображать — мое дело. Ведь мою «Юдифь» единственную от Строгановского училища на выставку в Лондон отравили. Еще до мировой войны.

Дядя Вася отошел от полотна. Сталин теперь был в двух разных сапогах. На левой ноге — тяжелый и грубый походный, яловый сапог, на правой — мягкий, командирский. Весь портрет от этого получился какой-то неуклюжий, скособоченный.

— Конечно, хромовый сапог лучше, — прервал художник свои раздумья. — Ни за что не стал бы его переобувать, но и так теперь нельзя оставить. А ты никому не говори, что видел его таким недоделанным. То есть в разных сапогах.

— А чего тут такого? Какая разница? — удивился я.

— Разница большая. Только она не на портрете, а на нас с тобой скажется. Собственных сапог можешь не сыскать.

Он стал быстро набрасывать контур второго ялового сапога.

— Вон как с твоим дедом получилось. Живопись у него шла хуже, зато он свое дело завел. У него сорок мастеров иконы писали. Оклады из серебра делали. Потом — бац, революция. И где он сейчас? В Калязине. На лесопилке.

— А чем плохо жить в Калязине? — опять настало время для моего несмысленного удивления. — Там Волга.

— Волга-то там течет. Но только это за сто первым километром. Твои родители и повезли ему гостинцы к Рождеству, то бишь к Новому году. Да разве это гостинцы? Просто еда. Хорошо еще, что твой дед жив остался.

Дядя Вася помолчал, обдумывая то ли новую линию сталинского сапога, то ли общую судьбу. Потом продолжил тихую речь:

— А я как писал лики, так и продолжаю их писать. Конечно, теперь не ангельские. Да и «студня» меньше, потому что ноги-то обутые, не то что у ангелов — голые.

Незаметно, за разговором, художник придал сапогам на портрете новые очертания, они стали более тяжелыми, вроде бы передающими тяготы трудных военных дорог. От этого и вся фигура выглядела менее парадной. Но теперь неуместен был на портрете лукавый прищур.

— Вот так, — вздохнул дядя Вася, — надеешься, что перемены коснутся только одного, а меняется все вокруг.

Он долго мешал кисточкой краски, находя какой-то видимый ему одному

тон. Сделал несколько мазков на брюках, на кителе. Потом еще поколдовал над краской и положил едва заметные тени на щеки, чуть сдвинул Сталину брови. И на портрете оказался совсем другой человек.

— Смотри, — сказал он мне, — вот к чему ведет смена сапог. Правда, если меня не нам с тобой, а ему! И долго ли мне теперь яловые сапоги выписывать?

— А ты как хочешь, так и делай, — сорвался у меня простой совет.

— Моя бы воля, я вообще бы его босиком пустил.

— Как ангела? Но ангелы с усами не бывают.

— И то верно. Такие ангелы не бывают, — согласился художник.

Быстрота, с которой поменялся образ Сталина и мог еще больше поменаться, если бы дядя Вася вместо сапог нарисовал голые ноги, потрясла меня.

Как же так? Значит, на открытках, в газетах, журналах могут напечатать Сталина совсем другим? Какой же Сталин на самом деле? И кто решает, каким ему быть? Неужели закупочная комиссия, которая не приняла Сталина в хромовых сапогах? Что же получается — закупочная комиссия главнее Сталина? А дядя Вася сказал, что в комиссии — остолопы. Значит, эти остолопы и решают, каким печатать Сталина? Неужели Сталин их слушается? Что же лучше — быть Сталиным или в закупочной комиссии заседать? А может быть, лучше писать портреты, как говорил дядя Вася, лики изображать?

Вопросов было так много и они были такие важные, что задавать их кому-либо было страшно, а ответ найти трудно.

... Много лет прошло с тех пор. Давно нет художника Василия Дмитриевича Медведева, что жил у Никитских ворот и писал портреты Сталина. Поди, не сыскать и полотен, расписанных им по заказам МОСХ. Но я не уверен, что мне удалось найти ответы на вопросы, которые вызывались, казалось бы, простым делом — сменой сапог на портрете Сталина.

А сколько вопросов появится еще, если у вождей вновь в моду войдут сапоги? И кто-то из них будет носить хромовые. А кому-то захочется примерить яловые. Походные.



ЕДИНОДУШИЕ — НЕ ЕДИНОГЛАСНО

После XIX съезда КПСС, на котором Сталин произнес свою последнюю публичную речь, началась подготовка к съезду комсомола. На районных конференциях выбирали делегатов. Так было и в самом конструктивистском здании Москвы — клубе имени Русакова, где проходила конференция комсомола Сокольнического района.

По традиции верноподданничества участники конференции называли «первым делегатом великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина». Имя Сталина было названо под гром аплодисментов.

Создали счетную комиссию, в которую включили и меня, в ту пору студента и комсомольского активиста Института востоковедения.

Преисполненные чувства ответственности и некоторой приподнятости в связи с хотя бы маленьким, но все же заметным доверием райкома, члены счетной комиссии собрались в просторной комнате и готовились выгрузить содержимое избирательных урн на длинный стол, как вдруг открылась дверь и вошли двое. Одно лицо нам было известно — первый секретарь райкома комсомола Мясников. Рядом с ним была старше по возрасту с демонстративно волевыми чертами лица незнакомая женщина. Секретарь райкома представил гостью, которая оказалась инструктором горкома ВЛКСМ. Затем, сославшись на то, что он не имеет права присутствовать при работе счетной комиссии, Мясников удалился.

Руководящая дама села рядом с председателем счетной комиссии, привычно спокойным и твердым тоном произнесла краткую речь:

— Сейчас вы будете подсчитывать голоса. Первым кандидатом делегаты назвали товарища Сталина. Все мы уверены, он будет избран делегатом съезда комсомола. Вместе с тем, вдруг кто-нибудь из участников конференции случайно или по какому-то злобным чувствам вычеркнет эту всеми одобренную кандидатуру. Вы были бы не вправе даже упоминать о таком голосе. Поэтому уславливаемся так: если кандидатуру товарища Сталина получает сто процентов голосов, то вы напишите «единоглас-

но», если подсчет голосов будет каким-то иным, то напишите — «единодушно».

Члены счетной комиссии сидели не шелохнувшись. Никто не отводил глаз от произносившей речь, да и она не смотрела в одну точку, а медленно обводила взглядом собравшихся, будто включая каждого в замкнутый круг. Еще раз она выделила два слова:

— Единогласно или единодушно.

И заключила:

— Такая информация будет послана в горком, ЦК комсомола, в партийные органы. Там знают и поймут. У меня — все. Можете приступать к подсчету голосов.

Начальствующая дама будто отпустила привязанных к ней взглядом членов комиссии, повернулась к председателю. Тот засуетился, повторяясь на каждом слове, сказал о важности внимательного подсчета голосов, проверке и перепроверке, о том, что все бюллетени имеют характер документов и будут сохраняться в райкоме.

От приподнятого настроения не осталось и следа. Члены комиссии не решались посмотреть друг на друга. Никто не проронил ни слова. Но, кажется, всеми овладело одно гнетущее чувство.

Подсчет, проверка и перепроверка длились долго. Члены комиссии были разбиты на пары. Каждая пара приносила свою порцию бюллетеней председателю. Начальствующая дама не вмешивалась в подсчет. Она сидела рядом со столом, молча наблюдая за происходящим.

Наконец председатель комиссии, пошептавшись о чем-то с представительницей горкома, объявил, что все сто процентов членов конференции единогласно назвали первым делегатом на съезде комсомола великого друга молодежи и вождя трудящихся всех стран товарища Сталина.

Сказать, что члены комиссии вздохнули с облегчением, было бы неточно. Казалось, что к концу подсчета голосов мы были закованы в тяжелые цепи. И вот они упали. Исчезли. Вроде бы стало возвращаться и первоначальное приподнятое настроение.

Все было бы хорошо, но почему-то мы не хотели смотреть в глаза друг другу.

КАДРЫ — ЗОЛОТОЙ ФОНД... СТАЛИНА

Из советских руководителей хрущевской и брежневской поры было немало

таких, кто работал со Сталиным. К политическим старожилам принадлежал и секретарь ЦК КПСС, ответственный за связи со странами социализма К.В. Русаков, помощником которого я работал в 1983—1986 годах, перед его уходом в отставку.

Как и многие другие выдвиженцы сталинской кадровой политики, он исключал разговоры о вожде, ограничиваясь в случае необходимости казенными характеристиками сталинизма.

Сопровождая Русакова в поездках за рубеж и по Советскому Союзу, общаясь с ним не только на протяжении всех рабочих, но и многих выходных дней, я не раз выслушивал его рассказы о работе на различных стройках пищевой индустрии — в Ленинграде, в Закавказье, в Сибири, об учебе в Ленинградском политехническом институте, даже о школьных годах в Торопце. Но работа на посту министра рыбной промышленности не фигурировала в этих воспоминаниях.

Занавес приподнялся только в короткий период пребывания у власти Черненко. Случайно или нет, но воспоминания о Сталине прорвались именно тогда, когда стало известно о поразившем многих наблюдателей в Москве решении ЦК КПСС о восстановлении в членах партии Молотова, который почти за тридцать лет до этого был заклеймен Хрущевым как главарь антипартийной группировки и отпетый сталинист.

Ранней весной 1985 года мы прилетели с Русаковым в столицу Марийской АССР город Йошкар-Олу, где он должен был встретиться с избирателями накануне выборов в Верховный Совет РСФСР.

Медленная прогулка по дорожкам дачного поселка обкома КПСС, где находилась резиденция высокопоставленного гостя из Москвы, а может быть, совпадающая с теми днями годовщины сталинской смерти поворачивала память к фигуре вождя. Для большинства советских людей к тому времени Сталин терял черты реальности, но не тех, кто долго ли, коротко ли был с ним рядом.

— Я вам не рассказывал, как меня назначили рыбным министром? — скорее риторически, чем с подлинным интересом спросил Русаков, повернув внезапно разговор с текущих дел в сторону далекого прошлого. И дальше пошел его рассказ, как всегда в нервной манере, построенный из коротких, емких фраз.

— С рыбной отраслью, — сказал Русаков, — я был связан давно, но не как рыбак, а как строитель. Рыбу если и ловил, то лишь в речке на удочку. На рыболовческих судах вообще никогда не плавал. После окончания института строил один за другим мясоперерабатывающие заводы.

Когда кончилась война, был взят курс на развитие морского рыболовства, создано несколько флотилий. И тут оказалось, что у нас нет достаточных холодильников для хранения рыбы. Срочно стали строить. Но строителей в Минрыбхозе не было. Назначили меня начальником строительного главка, заместителем министра по строительству. Поручили строить холодильники. Принципиальной разницы со строительством мясокомбинатов здесь нет. Вся работа — на берегу.

Затем оказалось, что не хватает и причалов для рыболовного флота. А это потребовало больших капиталовложений, рабочей силы. Ясно было, что без крупного решения ЦК партии и Совета министров не обойтись. Подготовили текст проекта и отправили на утверждение. Когда бумага попала к Сталину — а она не могла его миновать из-за запрашиваемых больших средств, — он ее стал прорабатывать в своей манере. Спросил: кто визировал и кто готовил проект из специалистов? Ему, видимо, сказали: такой-то замминистра. Он распорядился: вызвать, чтобы сам все объяснил, своими словами.

— Нашли меня, — продолжал вспоминать Русаков, в деталях восстанавливая немаловажный для него день из далекого прошлого. — Никаких объяснений мне никто не давал. Пригласили в присланную машину и в сопровождении молчаливого человека куда-то повезли.

Выехали на Минское шоссе. Свернули в лесок. Заехали за ворота с охраной. Машина тут же остановилась, дальше не пошла. Меня повели. Никто ничего не говорит. Но понятно было, что это сталинская дача. Так она и представлялась по разговорам тех, кто здесь бывал.

В помещении дачи Сталина не было. Кто-то из охраны сказал, что он работает в беседке и велел привести меня туда.

Беседка с тыльной стороны дома, ближе к пруду, открытая. В ней столик круглый и два легких кресла. Вот и все.



Сталин без малейшего вступления: «Вы готовили? Подробнее. Зачем такие объемы? Почему такие суммы?»

Вопросы были — мои, профессиональные. Поэтому и никакого волнения у меня не было, — сделал упор Русаков, видимо и сам удивившийся в дальнейшем обстоятельствам и последствиям той беседы со Сталиным. — Все объяснил четко. Чувствовалось, что долгих комментариев делать не надо. Хотя на отдельных деталях Сталин сам останавливался. И тогда надо было тут же излагать конкретные данные с цифрами, с подробностями. Вплоть до начертания тут же, от руки, схем или общих чертежей.

В целом разговор продолжался часа три. Ни по имени, ни по фамилии он меня не называл. Оборвал разговор так же, как и начал, — почти на полуслове: «Так, вы свободны».

Ушел я от Сталина в полном непонимании — принял он мои доводы или нет.

Однако вскоре состоялось решение Политбюро. Наш проект в целом утвердили. Министр Ишков был на том заседании и говорил потом, что Сталин детальные знания проявил, будто он всю жизнь порты и холодильники строил.

— Прошло какое-то время, — продолжал Русаков экскурс в свою биографию. — Программа строительства идет полным ходом. Я занимаюсь всеми этими делами, езжу по стройкам из конца в конец страны.

Вдруг — беда. Один за другим гибнут несколько кораблей. Эта сторона работы министерства меня не касалась. Я — не рыбак, а строитель. Но все равно земля под ногами ходит. Ишкова за общие недоглядки с работы снимают. Хотя он — специалист, каких мало в рыболовной отрасли.

Ждем, кого назначат новым министром. Перебираем в голове фамилии начальников рыболовного флота. Их по пальцам можно пересчитать.

Выходит решение. Узнаю о нем, когда оно уже подписано, — назначить министром рыболовного флота Русакова. Как гром среди ясного неба. Ни кораблей, ни снастей, ни технологии я не то что не знал, но и понятия о них не имел. Моя зона ответственности — берег, стройка. А тут — флот. Земля и небо, вернее — суша и море!

Потом мне рассказывали, как было дело. Когда потонули корабли, Сталин сразу же отрубил: министра снять, если личная вина вскрыется — отдать под суд. Министром назначить нового.

Начались поиски кандидата на вакантный пост. Человек семь Сталину предлагали. Но каждый чем-нибудь не подходил.

Потом он сам вдруг вспомнил: был тут у меня один такой светленький, вроде бы толковый паренек.

Кому нужно, быстро высчитали, что светленький — это я, и хотя давно уже не паренек, это значения не имело. Перечить никто не стал, зная об отвергнутых уже кандидатурах. Дали решение на подпись. И все. Меня даже и не ставили в известность до назначения.

Первый раз я попал на корабль, ведущий лов сельди, уже став министром. Все пришлось осваивать на ходу. Не двадцать четыре, а, кажется, сорок восемь часов в сутки работал. С одного флота — на другой.

Освоился было. Удалось соединить возможности морской и береговой службы. Но тут новая смена кадров. Вернее, не кадров — всей системы.

Сталин умер. Хрущев решил: Ишкова вернуть, поскольку того Сталин снял. Ну а меня — в аппарат Совмина. Проработал там пару лет. Хрущев стал главой правительства, и меня с глаз долой — экономическим советником в Польшу, потом послом в Монголию. Должно быть, с умыслом — чтобы ни моря, ни рыбы и в помине не было.

Снимал с себя министерские обязанности словно кандалы. Хотя и привык уже их носить.

Судьба поворачивалась в один момент то так, то эдак, — заканчивал рассказ Русаков. — А ведь дело-то касалось министра, с которым связана целая отрасль, работа сотен тысяч людей. Кажется, с тех пор я о рыбе в товарных количествах и думать не могу. Хотя от малого увлечения меня волнения не избавили. По-прежнему люблю с удочкой посидеть. И не у моря. А на речке. Еще лучше — на пруду. Чтобы я мог отвечать только за одного рыбака — за себя самого и за одну снасть — свою удочку.

(Продолжение следует).

КАСЫМОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Прошло пять лет с того июльского дня, когда не стало Александра Гайсовича Касымова. Ему было всего 53 года. Но, пожалуй, не было личности ярче в культурной жизни города Уфы. Поэт, журналист, литературный критик, искусствовед каких поискать, — его рецензий жаждали художники и скульпторы, при том что он не имел никакого художественного образования, — разве что кроме собственного вкуса, — все это Касымов.

Нам остается помнить Александра Гайсовича и учиться у него той литературной щедрости, с которой он открывал новичкам путь в литературу.

Александр Касымов

НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ К СОСНЕ!

Иосиф Гальперин. Литая сфера. Москва, Издательский Дом Русанова, 1997. Иосиф Гальперин. Дневник разных лет. — «Новая Россия», 1997, № 1.

Поэзия — это не проза. Или: не-проза. Хотя бы потому, что ей безразличны отношения слов в прозаическом тексте (или шире — контексте). Она порождает другие связи, и сама состоит из других связей-связок.

«Получается, новые теоретики рассматривают и строят искусство вне нравственности, от эстетики форм переходят к эстетизированию сути, творческого мышления», — заметил Иосиф Гальперин, беседуя с Иваном Ждановым («Арион», 1996, № 2). Получается ли?

Поэзия, с точки зрения прозы, — сплошной адюльтер. Чего только не позволяют себе всякие там вольнолюбивые синтагмы! И поэт (каждый — иначе) тащит с собой в текст свои веревки-нитки, чтобы хождения слов выглядели пристойно: не проза, но не-проза. И какое мне дело, что в голове у автора, когда шьется или вяжется стихотворение, за красных он или за белых...

Но поскольку Иосиф Гальперин складывался как поэт «в эпоху войн, в эпоху кризисов», его долгое время волновала проблема противостояния гнету этих войн и этих кризисов... Человеку трудно знать, что где-то летает кровь, а он тут живет, тихий и счастливый. И чело-

век выводит пером что-нибудь решительное: «Арестуйте меня, арестуйте!..» — и приписывает этот вопль Христу. Человек (автор, персонаж, некто) начинает прорисовывать, прочерчивать, конструировать позиции и оппозиции, путая риторику и эстетику, пытаясь с помощью своих очков со сложными линзами заглянуть под человеческую кожу и кожу вещей. Происходят метания от молекулы ко Вселенной и назад... Так много мысли — и совсем не дурной, — но как будто мало песни...

Я бы назвал это прозой. В ней стихотворение, репортаж, научная статья — один жанр. И все это дидактики (самодидактики) для.

Что получается у теоретиков, не нам судить. Мы не вычитываем нравственность из литературы. Не вычитаем. Не вгоняем одну в другую и не выгоняем, как в средние века бесов. Нас интересует движение Иосифа Гальперина к искусству от риторики, от проповеди к натюрморту или пейзажу, от логицизма к художественной логике.

*Последние осы последний сок
сосут из последних цветов...*

*Последний осень назначила срок —
шиповник еще не готов.*

Три «последние» колонны в помещении двенадцатистрочного стихотворения несколько тяжелы. О них стучаешься и царапаешься, ведь ежили это шиповник — то с шипами.

литературоведение



Троекратный (почти фольклорный) повтор — три логические ступеньки, чтоб рук хватило — на колонны прицепить транспарант с поученьем (моралью), которое из-за инверсии выходит неловким:

Последний осень назначила срок.

Sic transit, по-русски говоря. Он ответит, она подождет — и август скажет: «Пора»... Тут уж милая мальчишеская невнятица. Жалят-колят-рубят осень, шиповник, осы, пьющие из последних сил... Руки не дотянулись — пришлось пристроить еще ступеньку...

Когда отошла былая (почти диссидентская) фронда, что осталось на белой бумаге?

*Чему сосна учила, следуй,
Не оборачиваясь к ней.*

Читатель, как жена Лота, замирает от желания повернуться назад. И при чем здесь ученье сосны?

*Но эта бабочка способна
на поворот внутри себя...*

Последняя осень — это когда сходят с круга. С того самого, по которому мчатся листья, изображая листопад. В этом «непрозории» не оборачиваться к сосне, не возвращаться к ней означает двигаться к новой вершине, к повороту внутри себя... Макромир осмысливается через микрофилософию... И только капельки времени

мешают логике поступательно-кругового движения...

*О круг точильный, стрелочный!
Я стачиваю час,
до неразменной мелочи,
но не могу совпасть,
касанием запомниться,
проникнуть, не убив!
Спасибо, друг-бессонница,
за проповедь любви!*

Ужасная недорифма «убив/любви», конечно, портит дело, но, возможно, круг точильный, на котором стачиваются время, жизнь, вечность, — центральный образ поэзии Иосифа Гальперина, тем более центральный, что в нем конденсируются, соединяются, собираются все виды кругового движения. И это соединение намекает на спираль... Может, отсюда и возникает

*Предвиденья литая сфера —
Звезда из темного стекла.*

Что тут с астрономическими представлениями? Звезда и сфера — разве это одно и то же? Но если начинать движение раньше, издали, от осеннего листа, то, возможно, все получится: песочные часы, или звездная сфера (литая), или солнце...

Так вот, поэзия — это не-проза. В движении слова, к которому прикасается Иосиф Гальперин, слова изменяют первоначальные значения, движутся по спирали — ведь автор одержим идеей нравственно-эстетического совершенства... Не-проза!

Иосиф Гальперин

КРИТЕРИЙ КАСЫМОВА

Послесловие к жизни

1

Тяжело писать об умершем друге, как будто плыть в стекле. Кажется — вот-вот коснешься живой руки, услышишь ответ, увидишь улыбку, а не пробиться...

Помог он сам. Я перебирал старые книги, из сборника статей Игоря Дедкова выпал листок с шестью строчками, написанными знакомым остролистым почерком. Наверное, Саша использовал рваный листок в клеточку вместо зак-

ладки. Я не знаю, может, где-то есть полный вариант этого стихотворения, здесь приведу только то, что Саша вроде бы послал мне спустя почти двадцать лет (книга Дедкова называется, так совпало, «Живое лицо времени», издана в 1986 году, примерно тогда он и брал ее у меня почитать).

Итак, вот строчки:

*Лук перышки расправил,
пытается взлететь.*

*Не изучивший правил –
лететь, алеть иль петь.*

*Похожие на дудки,
его остры листы...*

Конечно, написано о себе. Стихи для Касимова всегда были осознанно факкультативным занятием, способом самопознания. Да, при всем внешнем педантизме и врожденном филологическом буквоедстве, Саша старался не изучать правил. Он любил приемы, формальные стилистические и композиционные трюки, но общие правила поведения в профессиональной литературной среде не принимал во внимание. Чужую, кем-то данную иерархию отвергал. К литературе он применял общечеловеческие критерии: презумпцию невиновности, например, то есть право на собственный взгляд автора. Там, где нетерпеливый редакторский глаз видел ляп, ошибку, невежество, Касимов мог угладеть свежий образ. Он даже любил графоманов, хотя и понимал им цену.

При этом ориентиры у него были самые суровые. Неслучайно листок выпал из книжки Дедкова, провинциального критика, сделавшего из родной вологодской литературы одно из самых серьезных явлений русской словесности двадцатого века. Думаю, Александр Касимов хотел обратить внимание читателя на уфимскую культуру. Но предвзято мерил ее мерками своих любимых Виктора Шкловского и Ильи Эренбурга (о нашем свидании и не-свидании с Ильей Григорьевичем я напишу ниже, а по поводу Виктора Борисовича могу добавить, что Саша очень ценил прозу и критику молодого Шкловского – Евгения).

В молодости одним из Сашиных идеалов были питерские литературные «Серрапионовы братья», их знаменитую фразу «Здравствуй, брат, писать очень трудно» я неосознанно повторил в начале этих заметок. Мы дружили почти сорок лет, с подросткового желания переделать мир до взрослого отчаяния, поэтому я не могу рассуждать о Сашином творчестве, не вспоминая наших с ним отношений. Этот перекося легко можно исправить, обратившись непосредственно к предыдущим страницам данной книги.

Но сначала хотел бы вспомнить о Сашиных родных. Его отец Гайса Мусинович Касимов и мать Софья Павловна Сорокина (отсюда один из Сашиных псевдонимов – Искандер Сорокин) были типичными служилыми уфимскими людьми. Их мудрости хватало на то, чтобы не мешать младшему сыну в его не вполне понятных им увлечениях, их внутренней интеллигентности – чтобы привить ему естественный интернационализм и внимание к наследию предков. Но бытовое двуязычие не перешло у Саши в литературу, оно лишь подарило ощущение многомерности культуры. Отстраненность от интересов семьи, сознательная, но естественная независимость от быта сделали таким же естественным умение жить в своем мире, не отрекаясь от мира внешнего. Отсюда, наверное, такая своеобразная смесь объективности и субъективности в его работах, сочетание наивности и трезвости.

2

Я знал Александра Касимова еще примерно за полгода до знакомства. В республиканской молодежи «Ленинец» работал мой отец, поэтому я ее читал. И запомнил фамилию автора-школьника, выделявшегося яркостью не только среди своих сверстников. Просил отца познакомиться, а произошло это случайно – у нас оказался общий приятель. Его звали Женя Каплун, он учился с Сашей, жил в соседнем доме. Он был болен раком, кажется, знал об этом. Но не терял интереса к жизни, пытался бороться.

Он умер в 15 лет, а мы с Сашей посчитали, что он завещал нам дружить. Я был болезненным мальчиком, Саша – сухим и жилистым, его отец с такой же конституцией дожил до девятого десятка. Поэтому мне всегда казалось, что это Касимов будет писать обо мне воспоминания.

А воспоминания значили для нас много, и не только потому, что мы считали себя приверженцами тайной секты ценителей книги Эренбурга «Люди, годы, жизнь», но и потому, что были уверены в том, что сами станем людьми, посвятившими годы своей жизни литературе. Осваивая ее, мы пародировали все жанры,



начав с того, что совместно лет в 16 написали два «романа». Один свидетельство-вал о нашем отвращении к монументальной пропаганде, другой – о таком же глубоком чувстве к драматургу и подручному (или заплочному?) партии Сергею Михалкову.

Мы даже в газету писали совместно. Летом 1966 года, например, опубликовали в «Ленинце» фельетон «Танцбище», баловались, описывая порядки на танцплощадке в парке, даже псевдоним придумали общий – М. Твистер (не в честь героя Маршака, а по имени популярного тогда твиста). Но по итогам этого стебного, говоря нынешним языком, фельетона уволили курьеза парка. Такая тогда была сила у печати. Впрочем, мы сами испытывали ее рамки на растяжение. И своих взрослых товарищей по газете мерили способностью выходить за пределы дозволенного. А они нас – способностью быстро и точно выполнить задание.

Вот тут Саша был старателен, как отличник. Не изменяя своему собственному отношению к действительности, он научился легко входить в ситуацию, о которой писал, находить общий язык с будущими героями своих заметок. Когда мы потом делали в газете спецвыпуск для бойцов студенческих строительных отрядов, Саша садился на заднее сиденье мотоцикла нашего фотографа Володи Карабанова и колесил с ним по жаре, распуская шлейф пыли по степным дорогам. Он многие годы потом писал о милиции и коммунальном хозяйстве, экономике и политике, относясь к ним с той же ответственностью, а подчас и увлечением, как и к литературе, театру, живописи, развитию которых в Башкирии старался помогать.

В «Ленинце» нас воспитывали Лиля Перцева, Венера Карамышева и Рашида Курбангалеева, которые были ненамного старше нас, да к тому же и слабого пола. Поэтому и мы в свою очередь как бы опекали их. И на Башкирском телевидении нашим шефом стала женщина – Ирина Константиновна Любимова, редактор передач для детей и юношества. Вот последней категорией мы практически самостоятельно и занялись. Сами писали сценарии, сами вели в прямом эфире (записи тогда еще не было) передачи клуба «Романтики», сами получали гонорар, что

еще больше возвышало нас в глазах воспитуемого ТВ юношества. А в студии с «журавлем»-микрофоном на нашей программе стоял помощник звукооператора Володя Абросимов, тогда самый обаятельный и привлекательный плейбой Уфы, а позже – известный театральный актер и режиссер.

Имея такую профессиональную подготовку, мы с легким сердцем поехали поступать в МГУ на журналистику. Саша на год раньше меня окончил школу и год работал на той же телестудии. Не только ради стажа. Но и ради того, чтобы поступать и учиться вместе. К экзаменам мы не слишком готовились, даже попытались сходить в гости к Эренбургу. Постояли перед квартирой, адрес которой узнали зимой на встрече с избирателями, когда Илья Григорьевич избирался в Верховный Совет от Башкирии. Но постеснялись, Саша дернул меня за руку, когда я потянулся к звонку. Через несколько дней Эренбург скоропостижно умер, я проник на панихиду...

Но уже без Саши – он не поступил в МГУ. Получил тройку по немецкому, который знал гораздо шире школьной программы, любил читать Гейне наизусть (по этому признаку определяли степень его эйфории в застолье). Он даже родился в один день с ГДР (пишу за неделю до 7 октября), и Германская Демократическая Республика была единственной заграницей, куда он попал за свою жизнь. А на экзамене переволновался.

Фальшивить, надуть щеки, блефовать он не умел. Кстати, та панихида по вольнодумцу Эренбургу сентября 1967 года была одним из мест, где проявилось начавшее разгораться диссидентское движение. И когда я через некоторое время вернулся в Уфу, переведясь на заочное, Сашу допрашивали гэбисты по поводу моих настроений. О чем он тут же мне и рассказал.

Мы учились и работали. Уезжая в очередной раз в Москву, я запомнил его на мокром перроне и позже в письме написал:

*На вокзале льет истошно дождь,
мы стоим и сигарету курим.
Ты когда-нибудь на чай ко мне придешь,
а останешься – на всю литературу.*

Сигарета, как и жизнь, казалось, всегда будет одна на двоих. Тогда я, наверное, и подумал в первый раз, что наши с ним удачи и неудачи связаны. И чувство вины с тех пор при малейшем успехе (при его неуспехе) меня не покидало. Тем дороже были все его достижения.

3

Он делился со мной открытиями – друзьями, прочитанным, продуманным. И мои друзья – школьные, московские – становились его товарищами еще до очного знакомства. Так совместно создавался тот КВН БГУ, который в 1971 году вышел на последний доперестроечный всесоюзный экран. Так он пришел в литобъединение при «Ленинце». Если раньше, при Газиме Шафикове в 60-70-е, мы там бывали гостями, то при Рамиле Хакимове, который возглавил лито во время моей работы в «Ленинце», Александр Касымов стал одним из уважаемых лекторов и экспертов. А потом и сменил Рамиля Гарафовича. Хотя и служил не в «Ленинце», а в «Вечерке». Куда попал в штат на ту ставку, которую я оставил, переходя в «Ленинец». Так уже в 1990-м, совместно, была задумана и создана одна из первых в стране межрегиональных газет – «Волга–Урал». Саша при ней открыл литприложение.

Оно и стало началом всех его издательских проектов. Воспитанный на «Новом мире», он видел в журнале, посвященном литературе, культуре в целом, самое полное выражение духовной жизни. Одинаково ценил микротиражные «самodelки» и толстые журналы, интернетные сайты и серии книжечек. В конечном сче-

те, он победил: культурой в Уфе стало то, о чем написал Касымов. И уфимской культурой для российского читателя – то, о чем в «Культуре» или «Знамени» сообщил Касымов.

Я говорю именно об уфимской культуре. Что-то есть общее, теперь уже глядя со стороны, в живописи Сергея Краснова и графике Игоря Тонконового, стихах и прозе Айдар Хусаинова, в статьях самого Александра Касымова. Возможно, это спокойная страсть к деталям при неуклонном следовании высшим целям, это аромат толерантности при уверенности в своей правоте. Кажется, даже вышедшие из Уфы рок-звезды несут этот отблеск уфимской школы.

Только вот Шашины стихи – совсем другие. Я уже говорил об их факультативности. Кажется, Саша сознательно не применял все свое понимание механизмов поэзии, делал ставку на интуицию. Ему одно это было в них нужно, интересно. Если честно, и я факультативно относился к его стихам. Не как к творческому труду, а как к выпискам из дневника. А он, если признаться, тоже поначалу не видел в моих виршах высокой поэзии. Мерил уровнем не Уфы, а русской литературы. Потом я его признал. Потом он меня. Спасибо. Отдельно – за рецензию в «Знамени» на одну из моих книг. Открываю страницу – и могу спорить с Сашей. Как с живым.

Хорошо, наверное, всю жизнь иметь такого собеседника. Да, конечно, правилам он не научит. К нему, как к эталону, не приложишь свое свежее изделие, чтобы узнать цену. Он другому учит: стараться каждую минуту быть честным – и потому не бояться сомнений.

Айдар Хусаинов

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК КАСЫМОВ

Размышляя о смысле жизни, приходишь к выводу, что фраза «быть в нужное время в нужном месте» является чуть ли не главным условием для того, чтобы человек состоялся, с единственным уточнением – в нужной среде.

Представим себе, что в нас есть движущая сила неодолимой силы, ко-

торую сломать надо очень постараться. Тогда, как броуновская частица, любой зависит от того, в какой среде он живет, чем занимается и в какое время. Вот в таком духе я и хочу написать о Касимове, передав, по возможности точно, обстоятельства места, времени и действия.



Впервые я услышал о Касымове в годы существования литературного объединения при газете «Ленинец», в 1985 году, на поэтическом вечере, который проводил в авиационном институте Виктор Жиганов. Вечер был посвящен выходу в свет кассеты, в которой были опубликованы первые тоненькие книжки титанов нашего лито — Шалухина, Гальперина, Еникеева, Хвостенко, Грахова, Воробьева. Айрат Марсович Еникеев сказал тогда речь, перед тем как спеть под гитару. Настойчиво так он втолковывал студентам, что вот есть такой редактор газеты «Уфимская неделя», который много сил уделяет — и тут память моя отказывается сообщать точные сведения — то ли культуре, то ли самообразованию, то ли читает много. Ощущение от речи было такое: человек хороший, занят нужным делом, брать с него надо пример оболтусам.

Немудрено, что большинство пишущих так или иначе прибиваются к Дому печати. Символично, что познакомились мы с Касымовым хотя и не в нем самом, но возле него.

В июле 1988 года я вернулся в Уфу из Алтайского края, где работал в лесничестве по распределению после сельхозинститута. Каждый день заходил в Дом печати — искал работу. В один из дней моя тетя попросила купить баллон с газом и привезти его в сад. С ним-то я и пришел в средоточие республиканских СМИ и был задержан бдительным постовым. Почувствовав себя идиотом, как, впрочем, себя чувствует каждый, кто соприкасается со стражами порядка, после интенсивных препирательств я вышел на воздух и даже отошел к памятнику Шагиту Худайбердину, дабы при взрыве ущерб учреждению был минимален. Здесь и обнаружила меня пробегавшая мимо Света Хвостенко, которая стала радостно смеяться нелепости — моей, ситуации, всего на свете. Радостно возбужденная, она убежала в Дом печати делиться с его обитателями переполнявшими ее эмоциями. Первым она встретила поэта Владислава Троицкого,

вторым — Касымова. Они и подошли ко мне друг за другом. Мы пожали друг другу руку и по-интеллигентски смущенно стали ждать, что будет дальше. Разумеется, они не увидели ничего странного в том, что человек пришел к Дому печати с газовым баллоном в руках.

Беда мемуаров — это взгляд на прошлое с позиции сегодняшнего дня, когда ты что-то уже понял, переоценил, узнал, убедился, причем не раз и не два. Посмотреть на сегодняшний день с точки зрения прошлого, когда все в тумане, все только мерцает и колеблется, как пьяный воздух лета, — трудно, может быть невозможно.

Но главное, видимо, все-таки было в том броуновском движении, которое мы тогда совершали. Тогдашнее состояние Касымова я бы определил так — успешный журналист второго плана. Он писал о репрессированных-реабилитированных, какие-то юридические статьи, редактировал «Уфимскую неделю». Что еще нужно человеку, чтобы счастливо встретить старость? Ему было 39 лет в то время, самое время для кризиса среднего возраста. Мне было тогда 23 года, я был моложе Касымова ровно на 16 лет. Это важно.

В Уфе дело с поэтическими поколениями обстоит так: самое старшее представляют Хакимов и Шафики, старшее — Шалухин и Касымов, среднее — мы с Юнусовым, Глинским и Керчиной. Разница между всеми нами как раз и составляет в среднем 16 лет. На этой основе я вывел теорию, подробнее о которой пишу в своем живом журнале, куда и отсылаю любопытствующих (<http://husainov.livejournal.com/>). Важно следствие из нее, что люди тянутся к тем, что их старше на половину большого периода, то есть шестнадцать лет, с ними наладить взаимопонимание бывает легко.

Так или иначе, это самое желание вырваться из пределов броуновского движения в состояние осмысленного движения, в какой-то поток и привело к тому, что Касымову пришло предложение привезти уфимских поэтов в Стерлитамак. Он его принял и, что называется, воплотил в жизнь.

Мы собрались на автовокзале — Касымов, Троицкий, Хвостенко и я. Помню, как долго обсуждали, оплатят ли нам дорогу — четыре рубля двадцать шесть копеек туда и обратно. По бюджету это было сильно, скажем прямо.

Из перипетий вечера, который прошел в ДК «Содовик», если не ошибаюсь, я запомнил только выступление Ильдара Хайруллина, отличного певца и очень деятельного человека со своей философией. В нем жило яркое чувство гражданской ответственности за происходящее в стране. Это его и погубило, в конце концов. Ушло время перестройки, и его песни перестали вписываться в окружающую действительность.

Понятное дело, что наша поездка тоже была вызвана к жизни перестройкой. Кто бы куда повез в советское время молодых поэтов-неформалов!

После концерта мы пошли в гости к стерлитамакской поэтессе Земфире Муллағалиевой, которая инициировала вечер, за что ей огромное спасибо! Там он продолжился, там же мы и переночевали, а наутро уехали домой. Из перипетий того застолья запомнилось одно — я спросил у Касимова: «Александр Гайсович, можно я буду называть Вас Саша?». Спокойно до того воспринимавший тыканье от людей почти вдвое его моложе, он чуть не лопнул от возмущения. Самое смешное, что если бы я начал ему тыкать между делом, он бы и слова не сказал. Но тут произошло что-то, какая-то искра пробежала, отчего затем мы с ним стали видеться чаще.

Станным образом я воспринял Касимова как своего товарища, несмотря на разницу лет, и мы после той поездки стали видеться и разговаривать. Именно общение с ним рождало во мне ощущение общего, очень важного дела.

Жил он тогда в однокомнатной квартире на проспекте Октября, на остановке Степана Халтурина. Мы сидели на кухне, которая вся была заставлена книгами, пили чай и разговаривали.

Разговоры с Касымовым — это нечто особенное. Очень эрудированный и понимающий, что говорит, он был замечательным собеседником. Легче все это представить как отношения учителя и ученика; сам Касымов, кстати, отдал этому дань.

Впрочем, я с этим не собираюсь спорить, потому что вряд ли кто-то из моих современников в 23 года представлял из себя что-то из ряда вон выходящее. Но в том-то и дело, что общение никогда не бывает односторонним. Дружба — это соединение людей в нечто более высокого порядка.

Надо заметить, что касымовский дом был первым в Уфе, куда я стал вхож. Благодарен супруге Александра Гайсовича, Ольге Павловне, что она с замечательным тактом и терпением относилась к молодому человеку с (что греха таить) деревенскими манерами. Касымов был вообще очень домашний человек, не случайно понятие «дом» было для него таким важным. Он даже у меня спрашивал: «Как вы, Айдар Гайдарович, можете питаться в столовой? Я могу есть только домашнее!».

Но если я под влиянием Касимова превращался в городского человека, то он под моим влиянием все больше становился литературным человеком, как бы это странно ни звучало. Я вытаскивал его в поле литературной деятельности. Разумеется, я делал это бессознательно. Впрочем, тут возможна абберация моей памяти, и на самом деле главное в том, что наступало то время, когда Касымов мог самореализоваться, осуществиться, ведь тяга к литературе, как мы знаем, жила в нем с самого детства. Тогда мои попытки быть причастным к этому процессу объясняются достаточно просто.

Кроме того, как это ни странно, я оказался единственным человеком, давшим ему наиболее разумный совет в сложной ситуации. Он жил в однокомнатной квартире с тремя детьми. Город дал ему трехкомнатную, с условием, чтобы он эти две квартиры соединил. Поскольку все было мучительно, весь поиск обмена, то мы об этом часто разговаривали. И я предложил ему: «Александр Гайсович, живите в трехкомнатной, а эту сдавайте». Александр Гайсович долго смеялся над моей наивностью, но с течением времени оказалось, что я, к сожалению, был прав.

Переход в новую для него сферу — литературную — вызвал в нем культуртрегерские действия. Он взялся печатать мои стихи в «Вечерней Уфе», где стал отделом культуры. Доходило до смешного — я приносил ему свои стихи, что на-



зывается, нарастающим итогом, то есть старые плюс новые, и некоторые стихи он публиковал в газете несколько раз. Просто они ему нравились.

Любопытно, что забота о продвижении чужого творчества подспудно жила в нем все время. До того он вызвал к жизни такого поэта, как Юрий Андрианов. Работавший на почтамте юноша прислал свои первые стихи в «Вечерку», они попали в руки Касимова, и, вместо того чтобы, по примеру более старших товарищей из русской секции, раздолбать в пух и прах его творчество, как это случилось с Шалухиным и тысячами других начинающих, не менее юный Александр Гайсович их опубликовал. Вдохновленный успехом, Андрианов поступил в Литературный институт. Любопытно, что в журнале «Бельские просторы», который возглавлял Юрий Анатольевич, Касымов также опубликовался один раз. Баш на баш, скажем так. Вообще число людей, которым Касымов помог, исчисляется сотнями, если не тысячами.

Перестройка продолжалась, процесс, что называется, углубился, и в городе появилась газета «Волга — Урал». Касымов перешел в нее работать заместителем главного редактора и еще больше ушел в литературную работу — стал выпускать приложение «Белый лист». Я к тому времени учился в Москве, в Литературном институте, встречал его первый номер и передал Маэлю Исаевне Фейнберг, известному филологу. С этим номером произошла комическая история — Маэль Исаевна загрузила его в багажник своего «жигуленка», увезла в Переделкино, и там пачку газеты стащили неизвестные, не позарившись на какие-то материальные ценности, лежавшие рядом. Андрей Вознесенский даже написал по этому поводу восторженные стихи, тем более что в газете была опубликована статья самой Фейнберг про Пастернака, любимого учителя сами знаете кого.

По поводу этого «Белого листа» мы спорили с Александром Гайсовичем. Я, по выражению Касимова, «отданный в обучение в Литературный институт Льву Адольфовичу Озерову», был недоволен изобилием всякого рода москвичей, которые заполняли девяносто процентов газеты. Касымов, как всякий либерал, ху-

лил уфимских авторов, которые, не спорю, бездельники еще те. Но газета «Волга — Урал» обнакротилась, как, собственно, и вся перестройка, и Александр Гайсович вернулся в «Вечернюю Уфу».

К тому времени я тоже вернулся в Уфу после учебы в Лите и стал работать в Доме печати. Каждый день я спускался на третий этаж, и мы часами разговаривали с Александром Гайсовичем. И тут наши фазы существования стали разделяться. Я осваивал компьютер, он кривился в ответ на упоминания каких-то терминов и всячески высмеивал новые веяния. Прошел год, и наши роли поменялись — Касымов стал с восхищением рассказывать, что он удачно записал на дискетку и что такое «формат Це». Я издал самодельную книжку, он снова смеялся такой самонадеянностью. Через год он стал издавать журнал «Сутолока», который начался с того, что я принес ему рассказ Гульсиры Гиззатуллиной «Богатырша», переведенный нами с Зухрой Буракаевой.

Он стал больше уделять внимания критике. Наконец, его заметил журнал «Знамя». Познакомившись с кучей людей, написав чуть ли не сотню рецензий, став лауреатом премии журнала «Знамя», Касымов захотел большего. Когда освободилось место заведующего отделом критики, он думал, что его пригласят. Разумеется, должность заняла какая-то московская родственница. Но для Александра Гайсовича это был большой удар. По большому счету, всей своей жизнью он был готов к тому, чтобы жить в Москве.

В жизни есть разные люди — редактора, которые тебя публикуют после сотни истерик по поводу неправильно поставленной запятой, после редакции в стиле компрачиков. Затем они же всю жизнь считают, что создали тебя как автора, и требуют коленопреклоненного почитания. Существуют и поэты, которые заявляются со словами: «Я уже три месяца пишу стихи, когда меня примут в Союз писателей?».

Все эти издержки литературного процесса Касымов испытывал на себе чуть ли не каждый день. При этом порой можно услышать о ком-то, что вот человек основал журнал, является основателем. На бюджетные деньги журнал может ос-

новать любовью. Касымов действительно основал журнал «Сутолока» и выпускал его несколько лет. Сам нашел деньги, авторов, читателей. Он получил известность в России, да и сам Александр Гайсович стал литературным критиком все-российского масштаба.

Наконец, он опередил свое время — начал вести в Интернете дневник, в котором откликался на литературный процесс. Это было за несколько лет до расцвета «живого журнала». Представляю, как популярен был бы в нем Касымов.

Уфимская интеллигенция ничем не отличается от всероссийской и так же заражена преклонением перед Западом, на худой конец перед москвичами. Покупать свой доморощенный журнал было выше чувства собственного достоинства, хотя речь, понятное дело, не идет о суммах свыше ста рублей. Даже книгу Касимова купили не более ста человек. Говорят, дорого. Хотя рубль в день — за год можно было бы накопить.

Есть мистика в том, что два лучших представителя уфимской литературы старшего возраста — Шалухин и Касымов — ушли почти в одно и то же время, друг за другом, даже в одном и том же месяце июля. Через год умерла и московская поэтесса Татьяна Бек, к которой Касымов относился с большим уважением. Этому объяснения у меня нет, разве что время вышло для таких людей, как они.

Жизнь циклична, человек живет и реализуется в обществе, в своей среде, — все это банальности, которые, тем не менее, каждый открывает для себя заново. Главное, чтобы было желание прожить свою жизнь ярко и интересно. Касымов это сделал. Теперь он растворен в воздухе, в земле и воде, без его опыта уже не обойтись. Есть книга, в которой он живет, есть имя, которое значимо для каждого, кто занимается литературой. И если не это главное для писателя, то что же тогда главное?

Александр Залесов

СЛОВО О КАСЫМОВЕ, КУЛЬТУРТРЕГЕРЕ И ЛИТЕРАТУРНОМ КРИТИКЕ

Варианты знакомства

С Касымовым можно было познакомиться по-разному.

Например, так. Г-н Залесов появлялся однажды в Союзе писателей РБ со своей подборкой стихов. Спустя какое-то количество дней г-н Залесов наведывался в Союз писателей, и убежденный сединой литконсультант извлекал из недр письменного стола толстый литературоведческий словарь — солидное издание времен построения развитого социализма, мечтаю купить такой. Так вот, литконсультант со ссылкой на вышеупомянутый словарь подвергал вполне справедливой критике все стихи, попутно жаловался на сердце, изумлялся, что автор учился на филфаке, а писать стихи не умеет, выделял, впрочем, одно-другое четверостишие со словами «Ну вот можете же...», однако весьма категорично не давал ни единого шанса ни автору, ни стихам. А впрочем, добавлял литконсультант, сту-

пайте-ка вы в «Вечернюю Уфу», там есть такой Касымов, вот он нянчится с такими, как вы. Тон посыла был спокойный и доброжелательный, но определенное наслаждение, возможно, в нем присутствовало. И г-н Залесов отправлялся на поиски Касимова, знакомился с ним и встречал в его окружении таких людей, как Станислав Шалухин, Айдар Хусаинов, Игорь Фролов, Алексей Кривошеев, Роберт Ибатуллин, Владислав Абдулла и другие. И начиналось то, что и называется литературным процессом, или литературной жизнью, — публикации, общение, причастность к чему происходила благодаря Александру Касымову.

Другой вариант знакомства мог выглядеть так. Г-н Залесов прогуливался однажды около горсовета и наткнулся там на наклеенное на всеобщее обозрение объявление следующего содержания: такого-то дня сего года в картинной галерее неподалеку будет иметь место литературное мероприятие в связи с выходом в свет



очередного номера литературного журнальчика «Сутолока», вход свободный. И г-н Залесов, весьма заинтригованный, размышляя о пользе объявлений, отправлялся на это мероприятие и обнаруживал там людей, которые говорили о литературе, читали стихи, общались, и присутствовало также угощение в виде бутербродов и разлитого по разовым стаканчикам сока, и происходило знакомство с Касымовым, который говорил: да, конечно, появляйтесь и приносите что пишете.

Культуртрегер и литературный критик

Будучи демиургом литературного процесса, Александр Касымов, как атлант, гордо водрузил на свои плечи две литературные площадки: газету «Вечерняя Уфа» (одна полоса в месяц «Литературный альманах» плюс отдельные публикации) и созданный им литературный журнальчик «Сутолока».

Авторов он публиковал по принципу: всех понемногу и много немногих.

Любимых своих авторов он публиковал много, как мог. И даже издавал их тексты самиздатским способом в виде брошюр в мягком переплете. Таким образом у молодых авторов появлялись первые книжки. Например, именно так появился первый изданный сборник у уфимского поэта Алексея Кривошеева. Далее Касымов сам на своих литературных площадках организовывал отклики на выход в свет этих книжек.

Я по просьбе Александра Гайсовича – так сказать, под заказ – написал небольшую статью о повести Всеволода Глуховцева «Перевал Миллера» для «Вечерней Уфы» и о сборнике рассказов Артура Кудашева «Последний лимон» для «Сутолоки».

Касымов не ошибался в своих любимцах. Отбор авторов был верным. Они продолжают набирать обороты. В частности, не так давно поэт Алексей Кривошеев издал книгу стихов «Исполнение пустоты» в Уфе, в издательстве «Китап», а прозаики Глуховцев и Фролов издали свои книги в центральных издательствах.

Выход каждого номера «Сутолоки» – это случалось несколько раз в год – со-

провождался презентацией продолжительностью около часа. Однако было это нерегулярно. Дальнейшим общением литературной молодежи Касымов не интересовался.

«Сутолока» – у меня сохранились четыре номера за 1998 и 1999 годы – представляла собой сборник формата А4 объемом около 40 страниц. Оформлен и сверстан каждый номер был с тщанием и вкусом.

В конце спаренного номера 4-5 за 1998 г. (10-11), например, можно прочесть: «Наш журнал является формой самиздата, но выходит при техническом содействии редакции газеты «Вечерняя Уфа», а также при сочувствии «Новой галереи» и галереи «Урал». Часть тиража в рамках акции «Вечерней Уфы» «Библиотека» бесплатно передается в центральную городскую библиотеку Уфы и 35 ее филиалов. Наш журнал читают в городах Екатеринбург, Липецке, Москве, Нижнем Новгороде, Салавате, Саратове, Челябинске. Тираж – 200 экз. Редактор-составитель – Александр Касымов».

В конце же спаренного номера 2-3 за 1999 г. (13-14) есть такая информация: «Городской клуб писателей и читателей «Сутолока». Наш журнал выходит в рамках совместного проекта Централизованной системы массовых библиотек города и редакции газеты «Вечерняя Уфа», но является формой самиздата. Тираж – ограниченный».

«Сутолоку» Александр Гайсович издавал, как я понимаю, преимущественно своими силами и за свой счет, и пытливым исследователем, вероятно, без труда отыщет следы этого уникального издания в недрах уфимских библиотечных фондов. Фактически это была альтернативная литературная площадка, где опубликовались десятки авторов, – и те, кто публиковался и в других изданиях, и те, чьих публикаций за пределами «Сутолоки», возможно, и не существует. Сейчас, спустя почти десять лет, держать номера «Сутолоки» в руках и перелистывать их – большое удовольствие. И ностальгия.

Вот это и есть культуртрегерство, или, иначе, литературное подвижничество, – создать такой литературный проект, как «Сутолока», журнал и одновременно литературный клуб с открытым

членством, и вести этот проект, пока хватает сил.

Александр Гайсович Касымов явил «Сутолоку» как гордое знамя своего одинокого альтруизма. Кратковременность – несколько лет – и нерегулярность – выход номеров «Сутолоки» по мере накопления материала – следствие такого положения вещей.

В связи с «Сутолокой» я вспоминаю русского философа Николая Федорова, который в своей «Философии общего дела» учил: не эгоизм (жизнь для себя) и не альтруизм (жизнь для других), а жить со всеми и для всех.

Задача нынешних культуртрегеров – проникать всюду, искать контактов со всеми, у всех находить поддержку, объединять все культурные силы, и только тогда литературные проекты могут обрести качества долговременности и регулярности. Также я сторонник того, чтобы литературные проекты имели как следствие и приложение неформальное общение участников, что сближает авторов, дает им ощущение литературной среды и вообще может быть плодотворно для творчества, если, конечно, авторы не против, ибо люди все разные, и интроверту таких приложений не надобно, а экстравертам подавай.

В своей литературной критике Александр Гайсович не расставлял акценты и не выдвигал идей, в ней нет драйва и напора, но есть проникновенный разговор о литературе с растеканием мысли по древу, велеречивый и обволакивающий. Можно сказать, что это была критика с позиции любви к текстам и авторам. Поскольку Касымов писал много и регулярно, его критика – это литературная хроника тех лет, в том числе и уфимской литературы. Написано с любовью – это прежде всего об уфимских авторах, ибо, что касается Уфы, Александр Гайсович писал о людях, которых хорошо знал и которых публиковал.

После смерти Касимова никакого другого литературного критика его уровня, его любви к текстам и его плодovitости в Уфе не появилось. В этом качестве Касымов был уникален.

«Вечерняя Уфа» потеряла интерес к регулярным публикациям стихов и прозы уфимских авторов на своих страницах.

«Сутолока» как журнал выходила в свет несколько лет и осталась, вероятно, непревзойденным достижением литературного самиздата в Уфе по периодичности и продолжительности.

Штрихи к портрету

...Александр Гайсович мог позвонить г-ну Залесову поздно вечером домой и весьма многословно заявить: в Москве выходит справочник о молодых писателях России, я нашел основания включить вас в это справочник, надеюсь, вы не возражаете?

В другой раз причиной столь же позднего звонка мог стать вопрос: а почему мне не звонит такой-то уфимский поэт, я о нем в Москве в одном толстом литературном журнале переговорил, так он и туда не звонит, уж вы свяжитесь с ним, пусть объявится.

О некоторых людях и творческих союзах Александр Гайсович отзывался в беседах весьма колоче.

В критических статьях Касимова нет никакой колочести, там – самые проникновенные чувства к текстам и авторам.

Тех авторов, в чьи тексты он влюблялся, он продвигал как мог. Благодаря ему, например, молодой уфимский прозаик Роберт Ибатуллин опубликовал в журнале «Знамя» свою повесть. Получив гонорар, автор устроил у себя дома вечеринку по такому поводу. Я там присутствовал. Хороший пример для подражания: получил гонорар за публикацию в Москве, зови к себе уфимских литераторов, корми-пой.

Также вспоминаю, что однажды, по итогам литературного года, Касымов на очередном собрании своих авторов одарил Роберта Ибатуллина призами как лучшего автора «Сутолоки». Молодому прозаику была подарена больших размеров какая-то картина, что-то еще, говорилось много приятных слов. Трудно сказать, стимулирующе действовало зрелище такого чествования на всех остальных или обескураживающе, но Роберт выглядел, как мне показалось, несколько растерянным.

Сам Касымов, бородатый, в очках, несколько угловатый в движениях и им-



позантно-чуждаковатый на вид, представлял собой в литературной жизни Уфы большой знак вопроса – в том смысле, что, не являясь членом Союза писателей, был активным литературным критиком журнала «Знамя», регулярно и много там публиковался. Среди его публикаций в «Знамени» есть, в частности, одна весьма продвинутая – это довольно обширная электронная переписка Александра Касимова с его визави на литературные темы. Подобная публикация и сейчас для некоторых изданий выглядела бы весьма смело. Касымов не боялся экспериментировать в литературном пространстве.

Однажды Александр Гайсович устроил вечер чтения своей литературной критики.

Более скучного собрания не припомню. Все-таки литературная критика, особенно пера Касимова, – это не песни под гитару и не стихи, едва ли она хоть как-то воспринимается при чтении в зал. Но, разумеется, Александр Гайсович – и только он – мог себе это позволить, и все собравшиеся внимали. С трудом могу представить себе, что еще где-то возможно подобное мероприятие, – кто же будет почти битый час или более слушать чтение литературной критики? Касимова слушали внимательно. Это был уникальный вечер.

Сильное впечатление произвел на меня вечер, когда приглашенный Касымовым Станислав Шалухин читал свои стихи и перемежал это историей их создания. Это было удивительно. Неисповедимыми путями являются к поэту его строки в течение жизни. Поэт Алексей Кривошеев – я слышал это недавно – сформулировал: настоящие стихи хороши тем, что они отредактированы... Богом. Я смутно что-то припоминал, когда услышал эту формулировку, но так и не припомнил, что. Теперь я вспомнил: тот давний вечер, Шалухин на сцене небольшого зала центральной городской библиотеки, звучание стихов, гитара, ибо некоторые стихи превращались в песни и исполнялись как песни, внимательная публика и эти истории создания стихотворений, звучавшие как прямая иллюстрация высокопарной формулировки.

После того вечера я сказал Шалухину, что ему непременно надо издать сбор-

ник стихов с историей их создания – в таком виде, как он это преподносил публике. Шалухин отвечал неопределенно. Не знаю, появился ли такой сборник у поэта.

Благодаря Касымову одно из моих стихотворений однажды было исполнено весьма необычным способом. На презентации очередного номера «Сутолоки», а происходило это в том же здании центральной городской библиотеки, в том же небольшом вполне уютном зале, две дамы, работницы библиотеки, заявили, что желают исполнить одно из стихотворений номера в жанре мелодекламации. К моему удивлению, было выбрано одно из моих стихотворений (в номере были и стихотворения других авторов). Одна дама, поднявшись на сцену, стала читать стихотворение громко и нараспев, другая сопровождала это чтение аккомпанементом на пианино. Все это было столь же неожиданно, сколь и пафосно. Никогда ни до, ни после я не видел такого. Я решительно растерялся. Мои друзья, присутствовавшие на мероприятии, отнеслись к такому прочтению весьма иронично: дескать, ну и посмотри, что ты пишешь, если это можно воспринимать только как мелодекламацию. Может быть, они были просто сбиты с толку? По нынешним временам такое прочтение стихотворения – сущий авангард. А ваши стихи исполнялись подобным образом?

Касымов как ощущение

Он умер в 2003 г. Что он оставил после себя, кроме памяти о себе и публикаций?

Прививку культуртрегерства как регулярную привычку к непреклонным действиям по продвижению текстов и авторов, авторов и текстов.

Отношение к текстам, схожее с чувством любви.

Уверенность в том, что вокруг много молодых талантливых авторов, с которыми – да, надо возиться и нянчиться, но которые и есть та часть уфимской литературы, которая в тебе, для тебя и благодаря тебе.

Георгий Кацерик

ШАЙТАН–ТРАВА

Книгу Александра Касимова «Критика и немного нежно» (Издательский дом «Новое время», Москва, 2007) принес мне в редакцию «Истоков» теперь уже вполне продвинутый поэт Сергей Янаки.

Подумалось: а сам Касимов, называвший себя «типоманом» (мания печататься, неологизм Касимова), как бы порадовался этой книге! Довольно увесистый экземпляр. Твердая зеленая обложка с прекрасной монументальной фотографией автора. 520 страниц убористого текста. Но и такого увесистого тома все же недостаточно для памятника.

Забота Касимова о памятниках, премиях и поощрениях, не говоря уже об орденах и медалях, просматривается с самой первой страницы его посмертной книги. То он произносит речь при вручении премии ему самому. То вносит предложение о выдвижении на премию собрата по перу. То сам спешит поощрить какого-нибудь едва оперившегося сердягу собственным поощрительным пером. То вдруг вспоминает почти сакраментальное и такое наивное никулинское: «А может, меня даже наградят...».

Или огорчается, что замечательному писателю-фронтовику и доброму человеку Анатолию Генатулину не дали Аксаковскую премию. Про себя же замечает, что сам он никогда не гонялся за какими-нибудь грантами: «Но вот я, честное благородное, не делал попыток никаких грантов получить... был беден, но горд». И никаких тебе амбиций. Но это – скорее из ложной солидарности с нами, не менее бедными и гордыми, честными и благородными, неамбициозными писателями, никогда не получавшими никаких грантов.

Касимова в Уфе так и не заметили. Во всяком случае, при его жизни. Может, отметят после. Например, учреждением премии имени литературного критика Александра Касимова. С вручением памятного знака в виде колючего мексиканского кактуса или не менее колючего, но нежного цветка – башкирской шайтан-травы. Как писал поэт:

*Ее цветы –
Нежнейших роз нежнее,*

*Острейших роз шипов –
Шипы ее острее...*

Другая, не менее светлая печаль Александра Касимова – о чтении текстов: «Если читать, а не листать... откроется, что чтение – занятие благородное». Когда бы я был повелителем всех наград и памятников, награждал бы Касимова еще и как благородного читателя. Ибо он был читателем редкого благородства. И вообще, если бы награждали читателей, то все мы стали бы больше читать. Хотя бы друг друга. Впрочем, читая, читатель награждает себя и сам. Вот и я, читая Касимова, испытываю явное удовольствие. Разве это мне не награда? Награда! Да и ему тоже. Хотя и посмертная.

Я никогда не думал, что критику можно вот так, запросто, без всякой натуги читать и перечитывать. И надо же – читаю и перечитываю – «немного нежно» и все такое прочее, критическое, лирическое, нежное, читабельное. А какие же художественные тексты, на мой неприхотливый взгляд, обожал читать и перечитывать незабвенный Александр Гайсович? Прежде всего, творческие – незаурядные творческие тексты, разнящиеся своей новизной и неповторимостью. Исключительно самостийной творческой отсебятиной, какая больше всего и отвечала его личной литературно-эстетической концепции. Тексты, не подверженные никакому идеологическому давлению. Без всякой тени лояльности, верноподданничества, политкорректности. Хотя такие требования было бы правомерно отнести к тому же самому нажиму. Или прессингу.

Наконец, художественные тексты, по Касимову, должны были быть еще и неременными носителями философско-лирической мысли. Лучше в закрытом, в герметично законсервированном, так сказать, виде. Особенно в поэтических текстах. Например: «Но крылья бабочки с тех пор все ловят лопнувший простор...». Не правда ли, лихо закрученная метафора! Почти шифровка, какую без «консервного ножа» самого Касимова не расконсервируешь. Не расшифруешь. Не декодируешь.



Подобные стихи писаны, скорее всего, от большого многоумия. Или от еще большего многознания. А, как известно, от многоумия или многознания писать гораздо проще, чем от души. Хотя и не чернилами, а кровью! Как писали Лорка, Есенин, Цветаева, Рубцов. Или наши земляки Рами Гарипов, Эдуард Годин... И никакой тебе закамуфлированной порхающей мимикрии!

Другое дело – эта самая загадочность. Некая загадка подобного творчества с сотворением. «Лично для меня не загадка ни Пикассо, ни Дали, ни Шагал с Кандинским, а вот Леонардо или Эль Греко – загадка!» – как говорил в свое время Алексей Кузнецов. Сам по себе тот еще загадочный художник.

Мне думается, что истинное умение современного поэта, художника – не в том, чтобы огорошивать любителя поэзии, прозы, живописи своим изощренным многоумием и всезнанием, а в том, чтобы пробуждать его ленивую сонную душу, растормаживать его напрочь заторможенное подсознание. Чтобы он вдруг хоть как-то да встрепенулся, окрылился, прозрел, просветлел умом и вдруг почувствовал себя живым, внезапно проснувшимся человеком. Хотя бы на самую малость.

Словом, любое искусство, всякая поэзия, проза, живопись должны прежде всего вочеловечивать самого человека. И они должны быть для него черным хлебом жизни, повседневности, бодрствования, без какого невозможно выжить.

Касымов как записной читатель был явным гурманом, а как заклятый критик – скорее всего, редким дегустатором. Со своим вкусовым, крайне обостренным обонянием всего нового, обаятельного. Красивого. Мозговитого. Многоумного. Интеллектуального. А кто, спрашивается, всего этого из нас, рядовых читателей, не хочет? Даже читающая привереда-публика хочет нового и красивого...

Вместе с тем Касымов как литературный гастроном был, пожалуй, совершенно равнодушен к основному вкусовому литературному «подливу» в смысле текстов-подтекстов-затекстов. А между тем способность писать как бы между строк – божий дар всякого мастера литературно-

го писания. За что, по сути, наиболее изощренный в этом писатель Эрнест Хемингуэй и получил в свое время Нобелевскую премию.

Создается все же такое ощущение, что Касымову, по его художественному вкусу, дорога была прежде всего современная, неореалистическая поэзия, проза, живопись избранных для избранных. И то правда, не любил Касымов соцреализма. Правда, неизвестно за что. За исторический оптимизм? За оптимистический трагизм? За веру в «коллективного» человека? За призыв к социальной справедливости?.. Увы, ясно прописанных аргументов этому нет. Может быть, ему когда-то просто сказали, что соцреализм – это такая бяка, которую давно пора похоронить?

Сам Касымов пишет очень читабельно. Как это у него получается? Как он расставляет слова, натягивает строки, как некие тетивы? Или просто пишет, без всякой натяжки: «Надо бы прибратъся на кухне...». Дальнейшее не важно, важнее – завершающее: «На кухне надо бы прибратъся». И все. Великолепно! Или вообще обходится одной фразой: «Инсталляции как перформанс». Вы что-нибудь поняли? Я – тоже не понял. Хотя и козе понятно, что «критика – тончайший инструмент более зрелого (по эволюции) интеллекта», главнейший признак, отличающий человека от недочеловека.

Или вот еще касымовский перл: «Искусство не информация, а скорее дезинформация». Вот она, звучка! Ведь именно так ты и сам думал об искусстве, только, что называется, не умел сказать. И так думать может только воистину умелый критик.

...У меня складывается ощущение, да и не только у меня, что среди нас, уфимских литераторов, литературный критик Александр Касымов как-то вдруг неизвестно откуда появился и вдруг неизвестно куда подевался. Исчез! Только его и видели, слышали, читали. Любили – не любили. Недолюбливали. Появился, возник, рисовался: растрепанная прическа, высокий прямоугольный лоб, широкие квадратные очки. Глаза с прищуром.

Все это живописание – всего лишь штрих к портрету нашего (а в основном не нашего – московского, питерского, екате-

ринбургского, чешского, канадского) литературного критика, каковой так полностью и не самореализовался. Не раскрылся. Во всяком случае, по своему незаурядному виртуальному потенциалу.

Касымов появился и исчез... И в нашей литературной стенке образовался чуть фосфоресцирующий пробел. Как выражался и сам исчезнувший критик по поводу других, не менее горьких исчезновений – невосполнимых утрат и пробелов: «Эти пробелы означают минуту молчания».

Что ж, помолчим... Как собратья по перу, как друзья по пробелам... За чашкой кофе. За стаканом водки. И вдруг спохватимся: как катастрофически не хватает нам этой самой критики! Этих колючих, нечесаных, небритых литкритиков. Даже мертвых – их мало нам! А живых – и того меньше. Почти ни одного! И особенно не хватает Касымова. Как критика. Как кактуса в нашей уфимской апсиде. Как розы в саду. Как шайтан-травы в поле. Как человека в самом расцвете своих сил и дарований...

В тельняшке — на аргамаке

*Сперва явил ты свой бушлат,
Над ухом бескозырку тискаю,
По жизни будничный мне брат,
Ну а по творчеству — друг близкий мой.*

*В твоей душе — разлив морей
И океанов даль глубокая,
Помноженная на хорей
И ямба иноходь широкоую...*

К тому времени, как написались эти строчки, мы были дружны с Иреком Киньябулатовым много лет. А познакомились на ступеньках Башгосуниверситета, заполненных бурлящим множеством тех, кто только вчера назывался просто абитуриентами. А сегодня они уже были первокурсниками, пристально вглядывавшимися друг в друга, интуитивно узнававшими тех, с кем через день-другой студенческая судьба не только сблизит, но и сделает неразлучными друзьями и даже пронзит первой искрой грядущей взаимной любви.

Особенно выделялся из толпы парень в матросской форме, ибо все в нем было именно морское, терпко пропахшее какими-то романтическими далями океанских просторов, и никого он не выискивал в толпе, а чувствовал себя в ней свободно и уверенно, как мичман (а он и впрямь оказался им) среди матросов своего корабля. И я не удивился тому, что он через какое-то время почти на равных разговаривал с Равилем Бикбаевым, тогда уже третьекурсником и устоявшимся стихотворцем, с пятикурсником Булатом Рафиковым, круглым отличником и известным во всем БГУ человеком. А потом он подружился со всеми более или менее выделяющимися студентами и даже преподавателями. Позднее я понял, что это

умение весьма скоро сближаться с разными примечательными личностями — в самой его натуре, а сказать точнее — в крови: как-никак, был он человеком бывалым, воистину «морским волком», который проплыл на боевом корабле чуть не полмира.

Так вот, возвращаясь к строчкам, с которых я начал свои заметки, скажу: «По жизни будничный мой брат, ну а по творчеству — друг близкий мой». Да, именно так получилось у него и со мной, причем не через какие-то годы, а вскоре после личного знакомства, которого, разумеется, невозможно было избежать. Когда он впервые подавал мне руку, то уже знал, что я перевожу стихи башкирских поэтов на русский и иные из них печатаются в республиканских газетах. Ирек Киньябулатов не стал откладывать «деловой разговор» в долгий ящик.

— Может, попробуешь перевести мое небольшое стихотворение «Кузнец»? — с известной долей бесцеремонности спросил он.

— Ну что ж, попробуем, — ответил я, предварительно ознакомившись с виршами моряка.

И они, как говорится, легли мне на душу. Вскоре «Кузнец» был напечатан в газете «Ленинец» и даже удостоен редакционной похвалы.

Когда я вспоминаю те годы, мне почему-то все время кажется, что Ирек учился со мной на одном курсе. Видимо, дело в том, что мы очень много времени проводили вместе, у нас было много общих друзей и, значит, общих интересов. Удивительное дело: уже через какие-нибудь полгода он знакомил нас со многими артистами, иные из которых еще занимались в своих училищах и институтах, но уже выходили на заметные роли. Среди них были и Рифкат Исра-

филов, и Ильфак Смаков, и Марат Зарипов, и многие другие, с которыми он был «на ты» и которые нередко посещали наше студенческое общежитие. Раньше нас он познакомился и с выпускниками Литературного института им. Горького; а еще были певицы Башгосфилармонии – именно ему, Иреку, поручалось приглашать их на университетские вечера, и он весьма успешно справлялся с этим заданием.

Вот уже десятки лет я продолжаю удивляться тому, что он накоротке со многими главами районных администраций, директорами различных заводов, известными врачами, членами правительства и считает это в порядке вещей. Казалось бы, такой дар – уже вне поэзии, искусства, творчества. Но ведь все знают его именно как поэта, журналиста, писателя. Воистину, нет в нашей республике района, где бы Ирек не побывал, чаще всего – по нескольку раз, и потому везде его встречают как старого друга. Согласитесь, такой феномен «обратной связи» не так-то часто встречается в биографии поэта.

За минувшие годы я перевел на русский язык чуть ли не сотни стихотворений Ирека, и он воистину стал «по творчеству друг близкий мой». Но дело в том, что его переводили на русский язык еще десятки поэтов-переводчиков: А. Филиппов, В. Денисов, Р. Паль, А. Хусаинов, А. Кривошеев, ныне покойные Ю. Андрианов, Д. Даминов. И почти все они признавались, что переводы стихов Киньябулатова доставляют им удовольствие. Может быть, потому, что в них как ни в каких других в полной мере отражается современность, день сегодняшний с его сложными, порою крайне противоречивыми проблемами. Желание говорить как бы с глазу на глаз заставляет Ирека посвящать многие свои стихи конкретным людям, в том числе историческим героям: Салавату Юлаеву, Габдулле Тукаю, Мифтахетдину Акмулле, Шайхзаде Бабичу; руководителям правительства. Не говоря уже о коллегах по искусству и творчеству. Эта «всеядность», масштабность общения как раз идут от той самой широты натуры и желания познать как можно больше самых разных людей. Не опасаясь двусмысленных упреков, он обращается в стихах и к Президенту Башкортостана М. Рахимову:



*И нет предела удали башкира,
Нашедшего во тьме свою звезду.
Мы на виду у всех народов мира,
И Муртаза Рахимов на виду.
Ты не надейся, что в дали незримой
Не будет бурь, туман развеял весь,
Но верь и знай – высоты покорим мы,
Когда у нас такой возница есть*.*

В результате на свет родилась отменная книга на русском языке под названием «Доброе утро!».

Тем не менее, нельзя сказать, что Ирак Киньябулатов ворвался в башкирскую литературу бурно и ослепительно, как, скажем, семнадцатилетний Рашит Назаров. Нет, и у него была первая дорожка, которая часто открывает еще неуверенное творчество многих поэтов. Да и само название первой книжки стихов Ирека «Полевая дорожка» как будто только обозначает его будущие шаги в мир поэтического творчества.

*Здесь все со мною ожидало встречи:
Леса и реки, солнце над горой.
И, словно детство, выбежит бесечно
Навстречу жеребенок озорной.
Эх, мне бы так, земля моя родная,
Промчаться через ширь твоих степей –*

* Перевод А. Филиппова



*Печаль и радость жизни принимая
Как высший смысл простой судьбы своей*.*

Вторая книга развивает тему первой, она обращена к матери, выпускающей из дома своих детей-птенцов, – «Скворцы выпускают птенцов». Открытым текстом заявляет он в этой своей поэме, что самым строгим судьей его судьбы и личности является мать, и ее праведный суд сопровождает его всю жизнь до самого конца, – мысль не новая, но неизменно целомудренная:

*Мои ошибки бьют меня наотмашь
И выпрямляют кривизну судьбы...
А ты стоишь
И тихо шепчешь что-то –
И нету строже для меня судьи**.*

Так, постепенно, поэт все глубже и разностороннее входит в цельный необъятный мир человека и природы. Эта святая неразделимость, которую я назвал бы философией пантеизма, особенно присуща стихам Киньябулатова. Она проникает почти во все стихи Ирека, а порой властно вбирает в себя целые поэтические циклы, олицетворяющие и лик, и душу родной земли, наполняет стихи глубоким историзмом и блеском народного творчества. Наиболее характерны в этом смысле стихотворения и поэмы Бурзянского цикла, недаром названные поэтом «стихами о сердце башкирского края». Сердцевина всей красоты, конечно же, пещера Шульган-Таш с ее древними рисунками и мифическими мотивами, оплодотворяющими своеобразный фольклор башкирского народа.

*В распахнутые Богом двери
Вхожу, шепча молитвы вслух, –
Ведь рода нашего поверья
Здесь обрели плоть и дух...*

Лучи от этого сердца башкирского края расходятся по всей родной земле, не обходя ни чудных ее рек, ни изумрудных лесов, ни величественных гор, ни зеркальных озер, ни ковыльных степей... Только на подобной земле могли родиться и взойти такие замечательные люди, как военачальники М. Шаймуратов и Т. Кусимов, мастера пера Зайнаб Бишшева и Мустай Карим... Десятки других широко известных личностей. И воплощением могучего глубинного духа,

разумеется, является бессмертный Салават Юлаев. Великий, как сам его народ.

*Ты – памятник отверженным и гордым,
Увидевшим в тебе свою мечту,
Всем, кто унижен был, но непокорным,
Всем тем, кого я и не перечту**.*

Но пусть перечисление лиц, кому поэт посвящает свои строки, не создает у читателя впечатления сплошной патетики и возвышенных слов, когда забывается сила образа, мощь внутреннего чувства. Ирек Киньябулатов ярый противник пустословия. Чего стоят хотя бы такие сравнения: «когда прилягу на стерню, она напомнит мне щеку отца», «кажется, вдруг постарела земля», «вовек я не берег себя – меня мой верный Бог берег». Этот список можно продолжать бесконечно. Но мне хочется привести одно стихотворение, которое называется «Ибо». Не так то просто построить целый стих, каждая строка которого начинается этим индифферентным на первый взгляд словом:

*Ибо жизнь проходит – не иначе,
Ибо стержень сущего утрачен,
Ибо не влечет к пустому трепу,
Ибо в темноту уводят тропы;
Ибо воды растекутся ядом,
Ибо мое слово камнепадом
Рухнет вместо нежного созвучья
Из гортани – как с высокой кручи;
Ибо к нелюбимому не ластись,
Ибо изменить я мир не властен,
Ибо нету в жизни интереса,
Ибо нет судьбе противовеса;
Ибо солнце клонится к закату,
Ибо это есть за все – расплата**.*

Недаром профессор Ахмет Сулейманов посвятил поэтическому мастерству Ирека Киньябулатова отдельную работу под названием «Летопись земли – на ладони».

Теперь, когда к семидесятилетию поэта вышла новая солидная книга, можно уверенно сказать: срок жизни немалый, и сделано за это время тоже немало. Следовательно, жизнь прожита не напрасно, можно не краснеть перед памятью родителей и не стыдиться перед современниками.

* Перевод Ю. Андрианова

** Перевод Г. Шафикова

Евангелие и вожди большевизма

О некоторых поучительных уроках прошлого

Один из самых ярких впечатлений юности были завораживающие образы литературных революционеров — Овода, Базарова, Рахметова, а затем и реальных лиц — Желябова, Ленина, Камо, Сталина, Дзержинского, позже — Фиделя Кастро и Че Гевары. За этим стояло восхищение необычными, новыми людьми, увлечение пафосом справедливого переустройства общества.

Возвращение к чувству реальности, отрезвление шли медленно, но неуклонно. Говорилось же, что если ты в молодости не был трубадуром, то у тебя нет сердца, а если к старости не стал эпикурейцем, то у тебя нет головы. В данном случае, конечно, речь не только о «поумнении» с возрастом и накоплением житейского опыта. Дело в более существенном. Подобные сдвиги в сознании связаны с глубокими процессами осмысления социального бытия. Их надо было выстрадать, каждому по своей судьбе.

Помню, сначала я невольно обратил внимание на скрытый симбиоз религии и революционной идеи — по целям, экзальтации, влиянию на людей. Еще С. Г. Нечаев в XIX веке пишет «Катехизис революционера», где обосновывает право революционеров на любые средства в достижении своих целей. По мнению Н. А. Бердяева, это предельно выраженные принципы безбожной революционной аскезы, вывороченной православной аскетики, причудливо смешанной с инквизицией — фанатизмом, изуверством, раскольничеством. В революционном движении возникали «Манифест», «Кредо»,

«Принципы коммунизма», «Азбука коммунизма». Даже «Моральный кодекс строителя коммунизма», записанный в Программу КПСС в 1961 году, являлся перделанной, дополненной и «усиленной» калькой христианских наставлений.

Провозгласив свою идеологию «научной», коммунисты опирались на принципы классового и формационного подхода, атеизма и интернационализма. Поэтому отказ от религии был для них только частью общего отказа от цивилизационного контекста, национальных традиций, духовных, нравственных и культурных ценностей. Так и пели по Евангелию: «Отречемся от старого мира, / Отряхнем его прах с наших ног». Это одна из граней попытки построить «правильное» общество с чистого листа!

«Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса существенно «зеркалит» христианство — не только по основам своей этики, но важнейшим, афористически выраженным политическим положениям. «И пусть господствующие классы содрогаются перед грядущей коммунистической революцией. Пролетариям в ней нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир», — провозгласили они в ответ на «вызов» христианства. «Что пользы человеку приобрести весь мир, если при этом он теряет душу?» — из глубины веков возражало Евангелие. Переключка стала принципиальной, ключевой. И только Россия в силу своей самобытности довела ее до логической завершенности.

Ямалов Марат Барыевич родился 27 марта 1947 года в селе В. Ярkeeво Илишевского района БАССР. Закончил Башкирский государственный университет и аспирантуру МГУ им. Ломоносова. Доктор исторических наук, профессор. Возглавлял кафедру исторического факультета БГПИ. С 2001 года — начальник информационного управления Администрации Президента РБ. В настоящее время — старший референт Президента. Автор монографий и многих научных публикаций. Отличник просвещения РСФСР и РБ.

Киркоров



Это было соперничество за умы и сердца людей. Называя религию «опиумом», «мракобесием», «поповщиной», «труположеством» и другими хлесткими эпитетами, приводя примеры реакционности церковников, революционеры яростно воювали с фактическим конкурентом, пытаясь отвоевать эту нишу сознания для себя. Цивилизации, базирующейся на христианской морали, предлагались другие основы, на классовых и атеистических принципах. Такой посыл и оказался грандиозной утопией.

Тенденция к превращению марксизма-ленинизма в светскую религию уже исследована в научном плане (В. Бондаренко и др.). Но диагностировалась она с самого начала большевизма. Здесь были налицо своего рода священное писание, апостолы, пастыри-вожди, служители организации, великомученики, ритуалы, гимны, песнопения, клятвы, обеты и заклинания, иконы, фетиши, свой талмудизм и догматизм... Тяготение к религиозности определилось вместе с зарождением партии нового, тоталитарного типа. Наступила эпоха вхождения в политику больших, манипулируемых масс.

Репрессии против религии были кровавыми, широкомасштабными. Допускалось немало бессмысленных зверств. Разгром церкви сопровождался надругательствами, глумлением. Храмы взрывались, сжигались, превращались в склады, клубы, музеи. Казалось, что революционеры яростно воюют с идейным противником. На самом деле это была война со своим народом, с людьми, в конечном счете — с самими собой. Стремление уничтожить религию было признаком слабости, а не силы. Известен эпизод, когда в центре разграбленного собора перед потрясенными прихожанами комсомолец отбил чечетку и насмешливо закричал: «Ну, что, наказал меня ваш боженька?» На что один из старцев печально ответил: «Какой же кары вы еще ждете от Бога, если он уже лишил вас разума?»

Преданность революционной идее, убеждения в России приобретала характер фанатической Веры. Все, что прославлялось в большевизме, подозрительно напоминало религиозное самоотречение. То же самое, только на основе боготворчества, то есть как бы с другим знаком!

Показательно, что высшей оценкой партии в устах И. В. Сталина было сравнение ее с Орденом меченосцев! Конспиративность и тайные операции, железная дисциплина и милитаризм стали неизменными атрибутами такой структуры.

Все эти параллели и метаморфозы не следует считать изобретением большевизма. Так, еще Этель Лилиан Войнич в «Оводе» отразила столкновение двух вер, напрямую противопоставив христианство и революционаризм. Роман разоблачал «фальшивость» первого и возвышал «истинность» второго. Но в морально-этическом плане победа Овода все же представляется сомнительной. Просто в нем горит другая вера, со смещенными ценностями. Та свобода Италии, за которую он борется всеми средствами и которая кажется ему высшей справедливостью, на деле вовсе не затрагивает нравственных устоев человека. В яростном обвинении Монтанелли, церковной организации и религиозной идеологии Овод невольно поднимает вопросы, которых не решить заговором, подпольем или револьвером. В нем желчно говорят человеческая уязвленность, оскорбленные любовь и совесть, возмущение предательством Учителя и Отца. Эти чувства выражены намного сильнее решимости сделать что-то полезное для Родины. Правомерно возникает вопрос: а каким будет тесто на революционной уже закваске?

Особенно далеко продвинулась в анализе данного явления русская литература. Это прежде всего бессмертные произведения Ф. М. Достоевского: «Бесы», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот». Федор Михайлович глубже всех проник в дихотомию «христианство—коммунизм», вскрыл и общие корни их исторического симбиоза, и непримиримую противоположность. Более того, столь всемирное, всеохватывающее понимание феномена, универсализм позволили ему заглянуть далеко в будущее. Его предвидение нашего XX века, изложенное в «Легенде об Инквизиторе», поражает точностью даже в деталях. Показано неизбежное вырождение революционного идеала. Предельно остро сформулирована дилемма: «Если нет Бога, то, значит, все дозволено?». Диалектика человека, веры и власти («тайна, чудо,

авторитет»!), обрисованная Достоевским, напоминает великое мироздание, новейшую физику Эйнштейна. Не имеет оправдания счастье, построенное сознательно на слезах хотя бы одного ребенка, утверждал он, показав бессмысленность стремления к царствию небесному без человека, без веры. И стоит ли удивляться, что до сих пор многие крайние (правые, левые!) не воспринимают Достоевского, не прощают ему «Бесов».

Место веры в системе общественного сознания, роль религии в процессе социализации личности осмысливались Л. Н. Толстым. Для него характерно неприятие подмены внутреннего совершенствования человека внешними движениями, отрицание преувеличенных оценок революционаризма, «левизны» в общественном прогрессе. Проявления истины всегда кротки, смиренны и просты, отмечал писатель. Он не считал оправданными огромные жертвы политических потрясений за скромные плоды демократизации. Исключительно важными представлялись ему качество человека и человеческих взаимоотношений. Это главное мерило, базовые координаты для общества. Хотя критики показывали несостоятельность и односторонность его резких выпадов против государства, культуры, цивилизации.

Здесь проявились истоки и противоречия гуманизма XX века — века Николая Рериха, Махатмы Ганди, Альберта Швейцера, Альберта Эйнштейна, Януша Корчака, Бертрана Рассела, Андрея Сахарова, матери Терезы... Исключительно остро эти идеи поданы не только в трудах великих философов, но и в произведениях Антуана де Сент-Экзюпери, Эрнеста Хемингуэя («По ком звонит колокол»), Эриха Марии Ремарка («Три товарища»), и многих других.

«Доброта, красота и правда — вот идеалы, которые освещали мой жизненный путь, вновь и вновь возрождая в моей душе радость и мужество», — отмечал Альберт Эйнштейн. Такой настрой соответствует мировоззрению и добродетелям христианства, а не революционному самозаточению и беспощадности.

Целостно, как явление отечественной и всемирной истории, большевизм рассмотрен в блестящих трудах Н. А. Бердяе-

ва: сборник «Вехи» (1909), «Духи русской революции» (1918), «Истоки и смысл русского большевизма» (1937), «Русская идея» (1946) и других. Анализируя антропологию революции через миры и образы Гоголя, Достоевского и Толстого, он утверждал, что нарастающая революционная идея выдвигает новый человеческий тип полулюдей с искаженными от ненависти и зависти лицами. «Наша эпоха задыхается от злобы, потому что изменила христианству», — с горечью писал философ. Это не гимн христианству, не приговор Ницше, но констатация фундаментальных, тектонических сдвигов в социальных основах современного общества.

Не касаясь всей глубины проблемы человека, и М. Горький, сам отдавший в юности щедрую дань ниществу, бунтарству и революционаризму, в зрелости ставил принципиальные духовные проблемы: «Я не устану думать — кто я, что я, и я не побоюсь ответа на вопрос — зачем я». Он писал в своих «Несвоевременных мыслях» о значении культуры в преобразовании общества. Представляют особый интерес его рассуждения о двух типах революционеров. Основная масса — «революционеры на время», это фанатики, расчётливые, жестокие аскеты, оскопляющие творческую силу революционных идей. Вторые — «вечные революционеры» — люди идеи, гении, новаторы, характеризующиеся величием, гуманизмом, скромностью и самопожертвованием.

В этих заключениях писатель, как видно, ухватил суть. Читая И. Бунина, Н. Бердяева, И. Франко, А. Кропоткина, В. Короленко, М. Пришвина, И. Павлова, М. Булгакова и других мыслителей и творцов, чувствуешь подтверждение таким выводам. Внешне все сходно — пастыри, проповедники, лидеры, паства. Но внутри, в главном — пропасть различия. Это отношение к человеку. За пренебрежение к человеку вас ждет неминуемая расплата, предупреждал большевиков В. Короленко. Е. Замятин в своей притче показывал, как смердит мертвечиной и ни к чему не пригоден общинный храм, построенный на месте и за счет средств убитого в этих целях купца.

А. Платонов отразил нарастающее обесмысливание языка и социальной практики вне человека, исторический ту-



пик строя гигантомании, «котлованов» и «ювенильных морей». Не случайными подтверждениями такого анализа оказались не только бесчисленные жертвы и страдания, но и различные проекты типа поднебесного Дома Советов или поворота сибирских рек на юг, к счастью не успевшие воплотиться в жизнь... М. Булгаков в «Собачьем сердце», «Мастере и Маргарите» говорит о том же.

Разве Иисус не был величайшим революционером всех времен и народов? Да. Но он был революционером от любви, в отличие от профессиональных глашатаев борьбы, которых во все века на баррикады толкала ненависть. Это предельно ясно сформулировал Эрнесто Че Гевара, который на вопрос: что приводит человека в революцию? — искренне отвечал: «Голод. Свой или чужой, осознаваемый как свой». Красиво, но страшно. Здесь и пролегает водораздел между двумя типами революционеров, а фактически — между добром и злом, христианством и коммунизмом, Учителем и Инквизитором, блестяще проанализированный Достоевским.

В. Солоухин в эссе «При свете дня» рассуждает, кого реально мог любить вождь Октябрьской революции? При провозглашаемой любви к человечеству — увы, равнодушие к судьбам Отечества, ненависть практически ко всем слоям общества — интеллигенции, служащим, офицерскому корпусу, крестьянству, религиозным деятелям, предпринимателям, даже к большинству внешне воспеваемого рабочего класса. Все приносится в жертву Идее, Молоху Революции. Нетерпение, пламя вождизма и революционных амбиций оказываются выше всего. Последующее умиротворение страны, экономический и социальный прогресс не подчеркивают сути этих людей, не оправдывают бесчисленных жертв.

Пытаясь разжечь революции в Азии, Африке и Латинской Америке, Че Гевара на деле доказал несостоятельность своего лозунга: «Революция не знает границ». Он утверждал, что настоящий герильеро (партизан) хорошо знает страну, местность, пользуется поддержкой населения. Между тем предсмертные его дневники свидетельствуют совершенно об обратном. Не зная ситуации с земельным воп-

росом в Боливии, он тщетно пытался поднять крестьян против местных «эксплуататоров» — убивать зажиточных, старост, служивых. Переправляясь через незнакомые реки, воюя во враждебной, неизвестной ему обстановке, он не мог полагаться ни на кого, был для населения непонятным, чужим и даже пугающим. Трудно представить себе более сокрушительное крушение революционного мессианства, стремящегося насильственно «осчастливить» народы и континенты! Кстати, после отхода Фиделя от власти его брат Рауль Кастро уже в наши дни сделал знаменательные «уступки» своему народу — разрешил пользоваться мобильниками, покупать электронную аппаратуру, селиться в гостиницах рядом с иностранцами... Как говорится, комментarii излишни.

Революция без любви превращается в свою противоположность, в великий, но несостоятельный соблазн. В искушение силой. Об этом и просится в молитве «Отче наш»: «и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого»... Не случайно последующие жестокости и несправедливости революции по масштабам всегда превосходили то «устройство старого мира», против чего и разжигалась ненависть...

А. И. Солженицын сказал про это убежденно и точно: «С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить. С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах, — и носителей добра), — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство» («Архипелаг ГУЛag», т.2).

Каждый наш революционер не мог не чувствовать этого в душе. Все они знали основы христианства, а многие прошли и специальную подготовку (семинарии). Любимый великий деятель революции вел свой скрытый спор-диалог с верой. Отсюда многие пронзительные детали, знание Евангелия, оговорки, противоречивые поступки, библейские сюжеты. Отсюда же и заключение, что ни один революционер никогда еще не поднимался выше эшафота! Это и есть своего рода пьедестал на-

силию. Жорес назвал революцию варварской формой прогресса. Бердяев убежденно писал, что вообще не бывает удачных революций.

Прорыв в эволюции, скачок, вынужденные политические потрясения, конечно, объективны. Ошибка в попытке воспеть их и сделать постоянными: «Есть у революции начало. Нет у революции конца!» или «И юный Октябрь впереди!». Это напоминает гимн хирургической операции, стремление сделать ее вечной и единственной формой терапии всех недугов... Кстати, некоторые из них уже после первой российской революции, почуяв неладное, обратились к «богостроительству» и «богоискательству», за что были хлестко критикованы своим вождем. Потом они каялись, как, например, А. В. Луначарский, вступавший в диспуты с церковными иерархами. Но и тогда сквозило ощущение, что атеистическая ярость и воинственность были их последним словом... Параллельно шла государственная жестокость.

Сам В. И. Ленин в марте 1920 года, продолжая полемику с обреченными меньшевиками и эсерами, цинично признавался: «Нашелся бы на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы вы действительно начали социальную реформу?». Между тем сам он сделал все, чтобы не допустить движения по пути мирных преобразований, чтобы в интересах «мировой революции» во что бы то ни стало превратить в своей стране «войну империалистическую в войну гражданскую»... Только в радикальном исходе он видел самое оптимальное решение поставленных задач: «перевернуть Россию!», «разжечь мировую революцию!».

Изучая ораторские приемы Ильича, я поражаюсь его постоянному обращению к Евангелию. Можно сказать, он был пронизан миром Нового Завета, черпал из него аргументы, хотя и постоянно, по призыванию ортодоксального материализма, с юношеским задором оспаривал его дух! Сорвав с шеи свой крестик, он еще в детстве не просто отказался от веры (это право каждого). Существенно то, что это было сделано в вызывающей форме, демонстративно. Ничто уже не могло показаться чрезмерным на пути к его целям. В

гордыне и ненависти он снял с себя все ограничения, развязал руки. Между тем вопросы не исчезли, взаимоотношения продолжались (кстати, брак свой он вынужденно узаконил все-таки венчанием в церкви!).

Один из его товарищей по юности, в будущем академик, в 1924 году вспоминал: «Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что на все вопросы, которые можно поставить, его цельность дала бы такой ответ: «Что есть истина?» — «То, что ведет к революции и победе рабочего класса»; «Что нравственно?» — «То, что ведет к революции»; «Кто друг?» — «Тот, кто ведет к революции»; «Кто враг?» — «Тот, кто ей мешает»; «Что является целью жизни?» — «Революция»; «Что выгодно?» — «То, что ведет к революции». Этот моральный кодекс революционера, как раз напоминающий знаменитый нечаевский Катехизис, писатель Л. Колодный в книге «Ленин без грима» справедливо расценивает как свидетельство безнравственности. Ничто, никакие проявления совести не могли остановить вождя! Всепоглощающее значение придается энергетике достижения поставленной, как ему кажется, главной цели.

Оттенок харизмы, религиозности носили названия и дух многих его публицистических брошюр и статей: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Что делать?», «С чего начать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Война и российская социал-демократия», «Письма издалека», «Большевики должны взять власть», «Марксизм и восстание», «Советы постороннего», «Государство и революция» и т.д.

Наряду с великолепным знанием фактуры русской классической литературы, в его трудах и выступлениях не было числа цитированию, перефразированию и упоминанию библейских выражений и слов. Но это только внешнее, художественно-публицистическое проявление библейской эрудиции. Более важна оборотная сторона его радикального отказа от православия. Это харизма, маниакального типа Вера в свое исключительное предназначение — возглавить движение пролетариата в стране и мире, повести за собой Россию, создать новый строй. Своя



организация — не менее чем ум, честь и совесть эпохи! Иногда кажется, что он упивается величием жестокости — по отношению к политическим противникам, социальным антагонистам. Когда он слышал о революционном терроре, лицо его начинало светиться вдохновением, радостью... Страдания отметались, как мелочевка. Наставления дружинникам в годы первой революции потрясают почти садистскими, уголовными подробностями партизанской тактики. В более поздних приказах, не предназначенных для обнародования, азартно, горячо расписывается технология расправы — расстрелять, ставить к стенке, повесить, карать массово и беспощадно, чтобы трепетали, отбить охоту оказывать даже ничтожное сопротивление... Как лейтмотив, как девиз — «война им — и война беспощадная!».

Из этого невероятного пафоса безжалостности рождалось кощунственное вдохновение Маяковского: «Это единственная великая война из всех, какие знала История!». В 2004 году издана книга Е. П. Данилова «Тайна российского сфинкса», которая рассказывает о многих ранее неизвестных фактах из реальной биографии вождя. В том же году вышел сборник — свод воспоминаний, документов, версий историков «Ленин в жизни», составленный Е. П. Гусляровым.

Соппротивление верующих изъятию церковных ценностей в Шуе вызвало у Ленина ярость и одновременно восторг по поводу якобы просчета, допущенного «противником». В его письме Молотову для членов Политбюро терминология военная: «с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления... мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий... Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Как юрист и политик, не забывает он и о маскировке противоправных действий: публично — телеграмма о приостановлении изъятия ценностей, на деле — созда-

ние законспирированной комиссии, характер распоряжений (секретно, устно), порядок публичных выступлений (исключительно Калинин!) и т.д. И по некоторым данным, только в 1922 году было уничтожено 8100 духовных лиц (Журнал «Слово», 1991, № 5). Репрессии накатывались волнами, повторившись еще раз в период коллективизации сельского хозяйства.

Стиль выступлений Ленина, в зависимости от аудитории, сильно напоминал религиозные проповеди, поучения, пророчества. Вождь и лучшие ораторы большевизма блестяще владели приемами нейро-лингвистического программирования (то есть скрытого воздействия). Многие хлесткие выражения и понятия, экзальтированная манера подачи тезисов, близких слушателям, действовали без расшифровки непосредственно на подсознание и чувства. Митинги выливались в литургии. В эмоционально-политическом накладе принимались желаемые резолюции. Как совершенно религиозными получились клятвы на похоронах Ленина. Транспарант: «Могила Ильича станет колыбелью нового мира»... В наэлектризованной толпе исчезали индивидуальные проявления здравого смысла, совести, человечности (это анализировали еще Густав Ле Бон и другие психологи). Торжествовала тактика. Им казалось, что «победителей не судят», а история разберется («потом», «прошлое принадлежит богу» (Сталин)).

Несомненно, вождями всегда мысленно проигрывались ситуации из Евангелия, где были и трижды прокричавшие петухи, и Савлы, внезапно ставшие Павлами, и поцелуй Иуды, и единожды солгавший — кто тебе поверит, и пророк в своем Отечестве, и глас вопиющего в пустыне, и верблюд, не способный пройти сквозь игольное ушко, и талант, зарытый в землю, и семена, отделенные от плевел, и семена, брошенные в каменистую почву, и пресловутые тридцать сребренников...

Оставшиеся в живых делили имущество отправленных на закланье. Опять как в Евангелии... Вышинский жил на даче Серебрякова, Берия — Чубаря, Молотов — Ягоды и т.д. Подобный же пример имелся в истории декабризма. Так, когда военный министр и член следственной

комиссии по делу декабристов А. И. Чернышев стал преследовать своего родственника декабриста З. Г. Чернышева в надежде получить наследственный графский майорат, генерал А. П. Ермолов сказал: «Что же тут удивительного: одежды жертвы всегда поступали в собственность палача». Но в XX веке эта практика приобрела массовый характер, как ритуал Приобщения. В деревнях односельчане якобы по справедливости расхватавали скарб раскулаченных. Поощрялось и стимулировалось доноительство. Известен случай, когда в подкулачники записали учителя — только ради того, чтобы отобрать для правления его дом, наиболее приличный в деревне. Террор вовлекал, развращал, развертывал свои социально-психологические механизмы, раскручивался.

В этих условиях Церковь новой властью была приговорена, обречена на ликвидацию. Взамен выстраивалось колоссальное общественное здание на основе лжи — о революции и революционерах, об их святом праве на насилие. «Нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики». «Нас недаром прозвали твердокаменными» — по Ленину. Буревестник, Данко и Сокол — по Горькому. «Эта сталь, железо это» — от Маяковского. «Гвозди бы делать из этих людей» — из Тихонова. «Как закалялась сталь» — от Островского. При этом большинство, поддерживая эпическую мифологию революции, смутно или четко осознавало, что она весьма далека от реальности. Никакой «особенности», совершенства даже в близком окружении, даже на самом верху, увы, не существовало. Зачастую и они зарастали бытом, развращались и вырождались. Наметилось такое сразу, уже с 1917 года. Как всегда бывает с нуворишами в неожиданной, абсолютной власти. Или — с «мещанами во дворянстве». Новая элита в целом, за редкими исключениями, не отличалась образованностью или культурой. А духовный запас прочности был растрочен «во имя».

Особенно все это понимал и чувствовал Сталин, который стал режиссером-постановщиком, актером, участником, зрителем и критиком дьявольски талантливо разыгрываемых им комедий и трагедий. У него была какая-то особая, мифическая

отшельская отстраненность от происходящего вокруг. Всегда оставался зазор, чувствовалась сатанинская усмешка. Видя «несовершенство», ущербность окружения, «вождь» сознательно опускал их, втягивал в мафиозную избранность. Как на одном из последних предвоенных новогодних вечеров, где его, молчаливого и одинокого, многие родные и близкие жалели, не понимая, что он, как Хозяин, мысленно решает их судьбы, неочевидно прощается с ними.

Эти шекспировские мизансцены были доступны лишь ему одному, и это оказалось не менее интригующе, чем захватить грандиозную власть, руководить огромной страной и тасовать жизни десятков миллионов. Их трагическую «статистику» он оправдывал необходимостью, великими переломами в собственной душе, восхождением общества, возрождением державы. Раздавив человека, Сталин усматривал в этом объективность происходящего. И употреблял технологизмы, техницизмы, абстракции: «приводной ремень», «аппарат», «обострение борьбы», «чистка», «лес рубят — щепки летят», «недорубил», «уничтожить как класс» и т.д.

Многие считали, что, несмотря на грузинские происхождение и биографию, он действительно любил Россию. Дочь, С. Аллилуева, писала: «Еще в Сибири отец полюбил Россию по-настоящему: и людей, и язык, и природу. Он вспоминал о годах ссылки, как будто это были сплошь рыбная ловля, охота, прогулки по тайге. У него навсегда сохранилась эта любовь»... Фактически здесь твердо констатируется, что он участвовал в революционном движении, еще по-настоящему не полюбив Россию. Что же тогда привело его в стан борцов? Ненависть? Далее, как понять, что человек, так тепло рассказывающий о дореволюционной Сибири и ссылке, полюбивший страну, затем покрыл ее лагерями? И там обстановка стала уже совсем другой, очень далекой от прежней «идиллии»!

А как быть с отношением вождя к соотечественникам — соратникам, родственникам, партийным, хозяйственным работникам, деятелям культуры, военным, крестьянам, священнослужителям, лидерам национальных регионов и т.д.?



Как соотносить с любовью параноидальные проявления его жестокости, мстительности, недоверчивости и коварства? Совместить расстрелы списками, по разнарядке, по категориям, внесудебными решениями, при бесчеловечном и бессмысленном «выбивании» признаний как «царицы доказательств»? Как, подписав расстрел «оптом» на почти четыре тысячи человек, потом идти любоваться «Лебединым озером»? Не меркнул ли прегрешения Романовых перед его произволом? Можно ли эти миллионы погибших считать за объективные жертвы на алтарь величия державы, историческую дань за модернизацию страны? Если он был государственным, державником и патриотом, то достаточно ли такой констатации для понимания мотивов его решений?

Внутренняя полемика вождя с христианством была особенно принципиальной, заостренной, профессиональной. Он отлично знал и глубоко презирал слабости людей. «1) слабость 2) лень 3) глупость — единственное, что может быть названо пороками, — записывал Сталин. — Все остальное — при отсутствии вышеуказанного составляет добродетель! NB! Если человек 1) силен (духовно) 2) деятелен 3) умен (или способен), то он хороший, независимо от любых иных «пороков»! (1) и (3) дают (2)». Духовным, нравственным качествам места здесь не оставлено. Это прямой вызов Новому Завету, христианским заповедям.

В этих его откровенных постулатах изложено продуманное, выношенное, принципиальное неприятие христианства. Это также больше, чем просто сорвать крест. Это попытка в собственной душе раз и навсегда ответить на вопросы, которые тысячекратно решало человечество. День ото дня доказывать себе, что преступать во имя высокой цели можно и нужно. Что на это ты имеешь право («не тварь», совсем по Достоевскому!). Это гордыня, оправдывающая другие «смертные грехи» и низводящая до ничего христианские добродетели. Переделанные в нормы революционной морали, те же нравственные установки Евангелия превращались в нечто противоположное. Как крепость брачных отношений под строгим надзором парткома. Как ордена за убийство Троцкого, Михоэлса...

С таких позиций Сталин разобрался и расправился с целыми поколениями революционеров — от теоретиков большевизма, членов политбюро, героев Гражданской войны и агитаторов до рядовых партийцев. «Железом», «сталью», «твердокаменными» они были только для пропаганды. Все оказались под общим знаменателем, сформулированным выше. Никого не минула чаша испытаний. Никто не бросил вызова главному — революционному идеалу, детичу борьбы, мечтали лишь заменить Вождя. На более подходящего.

Они несли свой крест, проходили свою Голгофу, жизнью подтверждая предупреждения Евангелия. Ленин, Бухарин, Сталин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Дзержинский, Томский, Рыков, Орджоникидзе — любой из них в конце своего пути мог подумать о смысле происходящего, о вызове, брошенном душе, совести, небесам, вере и вечности. Об Отце и Сыне. О неизбежности расплаты — тоже.

В интересах революционного дела они поступались многим, а потом оказывалось — всем... Это люди, вышедшие за грань. У Сталина в потрясении Зиновьев спрашивал накануне конца: «Коба, неужели тебе неизвестно чувство благодарности?» — «Ну, почему же, это такое собачье чувство», — отвечал ему прежний друг, во многом и ему обязанный своим восхождением... «Боже, неужели на свете нет справедливости!» — перед расстрелом закричал потрясенный Зиновьев, обманутый коварными обещаниями Сталина сохранить жизнь в обмен на признание в нелепых обвинениях. И Сталин заставлял своего охранника Паукера вновь и вновь передразнивать, изображать эту сцену казни, весело смеясь... И это похоже на правду и напоминает притчу. Такое уже не раз встречалось в истории. Не судите — да не судимы будете. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься... «Какой мерою мерите, так и вам будет мериться». В начале юности Сосо писал стихи религиозного содержания. А к концу жизни тайно посещал часовню, начал менять отношение к церкви.

В Евангелии есть строгий сюжет-предостережение о том, чтобы возвратившийся хозяин застал вас не спящими, а бодрствующими. Убиваемые своими, предан-

ные и оболганные, лишенные простого участия, революционеры в последний момент обращались к самым затаенным уголкам своей души, к совести, к добру и справедливости, к любви и надежде. Значит, они просыпались! Приходили отчаяние и озарение, словно травиночка, выросшая из мрачной каменной стены расстрельных казематов. И здесь не может быть никакого злорадства и мщения, потому что в такой момент все — Человеки...

Клайв Льюис об этом писал: «Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышал, то голосом совести; если человек не слышит и голоса совести — то бог обращается через рупор страданий». Никому не дано было самонадеянно доказать, что это не так!

«В окопах не бывает атеистов», — утверждал генерал де Голль. Но между жизнью и смертью пролегают не только окопы. Это может быть и судьбоносный шаг, и просто Рубикон, который переходят, переступают многие, и лезвие бритвы между настроем души, решениями разума и дерзостью воли. Наконец, необходимость прямо ответить на беспощадные вопросы перед величием внезапно подступившей вечности. Подвести тяжелый баланс. И уйти от этого невозможно!

Убежденные большевики сначала мужественно выбирали целесообразность, шли на жестокости, самопожертвование. А позже трусливо молчали, голосовали «как все», лицемерно славословили вождя, пытались оправдаться, что «так надо». И отрекались, и предавали, и калялись. И получали сребреники в виде привилегий. И не могли остановиться. «Революция», «классовая борьба» представлялись им вечной индульгенцией. В интересах дела принимали кощунственные решения, привлекали мерзавцев и закрывали глаза на страшные дела, на чудовищные преступления. Которые по всем меркам были отвратительны, как людоедство, как мародерство. Революционеры участвовали в них — порой с отвращением. Кстати, еще герои Отечественной войны 1812 года признавались, что быть мужественным в жизни — порой намного труднее, чем проявить героизм на поле боя... «Оставим мертвым погребать своих мертвых», — думали большевики. «Революции не делают в белых перчатках», — успокаивали

друг друга. «А они нас жалели?» — торжествуя спрашивали у колеблющихся. «Око за око. Зуб за зуб!» — кричали на собраниях, призывая расстреливать случайно выхваченных из своего же населения заложников в отместку за невинное покушение на «Ильича»...

И затем по очереди сами шли под жернова, куда прежде уверенно отправляли обреченных — сначала «врагов», затем «примкнувших» и «слабых», впрочем, «не ведая, что творят». Ф. Ф. Раскольников даже в великом своем открытом письме Сталину, написанном во Франции незадолго до загадочной своей смерти, разоблачая предательство диктатора, все-таки не смог поставить под сомнение саму идею большевизма...

Воспевавшие новый мир деятели, сильно или косвенно причастные к нему, проходили через свой момент истины — не только Н. Бухарин, К. Радек или А. Луначарский, но и М. Горький, В. Маяковский, С. Есенин, Б. Пильняк, В. Киршон, М. Кольцов, В. Мейерхольд, А. Фадеев... По существу, им не могло быть достойного финала. И советская культура все больше напоминает мартиролог, оттеняемый перечнем сталинских и ленинских премий. Общий, неполный список репрессированных деятелей только литературы и искусства превышает 17 тысяч человек!

В революции тоже оказалось много званных, но мало избранных. И жали не там, где сеяли. Последние, рано или поздно, становились первыми и вершили свой суд — столь же беспощадно, как и первые. Тормоза с процесса были сняты в принципе, с самого начала, сообща. Как заразительно смеялись делегаты II съезда РСДРП, когда речь зашла о будущей очевидной расправе над Романовыми... Но этот смех соратников-сообщников был приговором и каждому из них. Людям, смакующим смерть «врага», получающим удовольствие от уничтожения себе подобных, не на что было рассчитывать, когда подошел и их час!

Эта расплата по незримым счетам вовсе не связана напрямую с рясами и иконостасами, со священнослужителями, ритуалами или их возможным лицемерием, с разрушениями и разграблениями храмов. Она вытекает из того феномена, который называется Душой Человека.



Уверенные в том, что, изменив отношения и политическое устройство, они смогут радикально преобразовать общество и человека, подчинить ему силы природы, революционеры всегда терпели конечное поражение, еще и не начав своих деяний. Это напоминает квадратуру круга, то есть задачу, которую исходно невозможно решить. Им не дано было переписать историю, опровергнуть тысячелетнюю мудрость Евангелия и других таких источников. Великая попытка построения «Божьего царства на земле» без самого уважения к человеку, без добра закончилась поражением. Снесенный и восстановленный Храм Христа Спасителя теперь будет напоминать не только о победе в Отечественной войне 1812 г. Так же, как и Спас на Крови в Екатеринбурге на месте дома инженера Ипатьева. «Ты победил, Галилеянин»!

Невольно вспоминаешь слова замечательного философа М. Мамардашвили: «В XX веке со всеми нами случилось то, чего нельзя ни забыть, ни простить». «Мы живем в последствиях колоссальной

исторической патологии... которые и сейчас живут в душах людей», — утверждал православный священник А. Мень, зарубленный в 1990 году неизвестными. И он же говорил: «Все имеет свой скрытый смысл, только часто мы познаем это позже, ретроспективно». Не удивительно, что борьба с «большевизмом» и с «совковостью» теперь либералами нередко ведется с такой же ненавистью, бездуховно и размашисто, как когда-то утверждался революционный строй.

Бросив вызов человеку в собственном сердце, в себе самом, они в конце концов подходили к черте, когда оставалось только признать, что это ошибка по определению. Они терпели крах даже тогда, когда казалось, что триумф неизбежен. Эксперименты с душой получились страшнее расщепления атома. Все «сверх того» действительно оказывалось от «лукавого», как и предупреждал Новый Завет. Но некоторым, к сожалению, уже не оставалось времени и шанса даже на такое понимание!

И не нам забрасывать их камнями...

Навстречу свету

О творчестве художника Михаила Спиридонова

*И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его...*

*(«От Иоанна
святое благовествование», 1,5)*

Как-то, несколько лет назад, в Уфимской галерее «Ижад» проходила коллективная выставка местных художников. В уголке одного из залов висели две картины Михаила Григорьевича Спиридонова: спокойные и раздумчивые, они, тем не менее, властно приковывали к себе взгляд и буквально «держали» весь зал. Особенно поражала картина под странным названием «В ноль часов по Гринвичу»: на ней художник непостижимым и, наверное, только одному ему известным образом... остановил время. Замершие в безмолвном ожидании деревья, рядом — одинокий грустный маленький домик, вдали — призрачная, едва различимая фигура в белом одеянии, а сквозь окружающую тьму пробивается мягкий, загадочный свет. Местность здесь трудно узнаваема, время года — тоже, и это дает простор воображению, заставляя подняться над суетным, земным и задуматься о высоком и вечном. Эту картину, наверное, можно назвать символом всего творчества художника, раскрывающего перед нами таинственный и бескрайний мир человеческого духа и души.

Михаил Спиридонов — из тех удивительных художников, кто, отходя от традиционных канонов отечественного искусства и расширяя географию своих творческих поисков, пропускает через свою душу и сердце достижения мирового

искусства, творчески перерабатывает их в своих произведениях и при этом остается самим собой. Творчеству он неустанно учится на протяжении всего своего жизненного пути, в разные периоды выбирая для себя разных учителей. А еще его учителя — это природа и сама жизнь.

Родился он в 1952 году в Уфе на окраине Черниковки и провел свои детство и юность в «идиллии» бараков, коммуналок и маленьких деревянных садовых домишек. Это место дорого ему до сих пор: здесь жили близкие ему люди, здесь он начал познавать мир и открыл для себя волшебную страну творчества. Он родился художником: был странным ребенком, часто видел смутные, фантастические сны; а когда родители уже разрешали ему гулять одному, он любил просыпаться очень рано, когда дети и даже взрослые еще спали, и бродить по близлежащим пустынным дворикам мимо безмолвных домов и деревьев, вслушиваясь в таинственную тишину и постигая загадочное переходное состояние природы от ночи ко дню. Наверное, уже тогда он начал ощущать себя частичкой бесконечного мироздания и осознавать то сокровенное, трудно выразимое словами, что легло в основу его будущего творчества. Ребенок словно следовал заповеди так любимого им впоследствии Александра Блока:

*Остановись на миг послушать
тишину ночную.*

*Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг...*

В Черниковке была и Уфимская художественная школа № 1 (ныне носящая



имя А.А. Кузнецова), в которой Михаил в юном возрасте получил художественное образование. Эта школа была культурным центром северной части города, учила своих питомцев поиску собственных эстетических идеалов в искусстве. Художник благодарен всем своим учителям этой школы, и особенно Б.И. Замараеву, давшему ему понимание формы, структуры, пластики и цвета в живописи. По окончании средней школы Михаил намеревался продолжить свое художественное образование в училище либо в вузе, но поступить туда не сумел: подвели непрофилирующие предметы. Но он не оставил свою мечту стать живописцем. Официально (с 1970 до 1984 года) М.Спиридонов работал художником-оформителем в разных организациях (в том числе и в Художественном фонде), а в свободное время занимался самообразованием, писал картины. Общался с талантливыми уфимцами. Живописец Леонард Абузаров привил ему любовь к творчеству титанов Возрождения с их идеалами гуманизма и духовности. Большую роль в образовании и творческом становлении Спиридонова сыграл и неординарный, высокообразованный, всесторонне развитый искусствовед А.В. Гарбуз, углубивший его знания по мировому искусству, философии и литературе.

Уже с 1976 года М.Спиридонов начал участвовать в коллективных выставках. Его картина «Оттепель» (1977) была показана на проходившей в конце 70-х годов в Москве республиканской выставке «Советская Россия». Этот философский пейзаж, созвучный творчеству нидерландского живописца Брейгеля, основанный на игре контрастов черного и белого цветов, воспроизводит раннюю весну, изображая людей в виде крошечных темных человечков, копошащихся на фоне величественной и загадочной природы. Эта картина явилась серьезной «заявкой на талант» молодого «непрофессионального» художника. А в 1980 году в Уфе в зале Союза художников БАССР состоялась его первая персональная выставка как своеобразный отчет за первое творческое десятилетие.

В этот период Спиридонов создавал в основном пригородные пейзажи и портреты. «В пригородных пейзажах 70-х годов автор пристально всматривается в окру-

жающую действительность, последовательно избегая, однако, бытописательского подхода к ее явлениям. Работы этой поры изобилуют изображениями деревьев, раскинувших от дождя лесных дорог, небольших речушек, гор и оврагов... Элегическое звучание, темная или, напротив, серебристо-серая колористическая гамма, слегка оживленная легкими всплесками красно-коричневых, зеленых или синих цветов, приемы оттенения, постепенный мягкий переход красок — отличительные признаки этих картин, позволяющие говорить о наметившейся ориентации Спиридонова на лирико-эмоциональную линию западноевропейского пейзажа: запечатлеть природу в ночные часы, часы закатов и рассветов, когда очертания предметов зыбки и туманны, а человек прозревает в тишине таинственные, первостепенные начала жизни, скрытые в суматохе дня («Туман», 1974; «Июньская ночь», 1978; «Дорога в сумерках», 1978; «Шорохи», 1979)...

Уже в работах конца 70-х годов вначале робко («Дорога в сумерках», «Шорохи»), затем все настойчивей («Оттепель», «Путешествие в синюю даль», 1979) звучит мотив мимолетности человеческого бытия в бесконечном мироздании...» (А.В. Гарбуз. «Михаил Спиридонов. Живопись». Каталог. Уфа, 1994).

Спиридонову, как и «одухотворенному реалисту» Абузарову, здесь было важно не копирование природы Урала, а ее «очеловечивание», образ настроения, состояния человека и природы.

В своих портретах того периода художник часто руководствовался принципами великого Леонардо да Винчи, фиксируя внимание не только на конкретной личности изображаемых людей, но и на том мире, который они олицетворяют, на той энергетике, которую они в себе несут. Так, один из его портретов называется «Окраина» (1977): грустное лицо изображенного на фоне пригородного пейзажа пожилого человека, прожившего здесь всю свою жизнь, — это «лицо окраины». Как и в пейзажах Спиридонова той поры, в его портретах временами сказывается «колдовское» воздействие на него луны: например, на его «Весеннем портрете» (1978) изображен молодой человек на фоне ночного загадочного лунного неба.

Первая выставка художника вызвала нарекания «сверху»: слишком нетрадиционными были его работы. Но Спиридонов не спавал, а продолжал упорно работать, отстаивая себя в живописи. Трудное тогда было время: художникам-новаторам приходилось бороться за себя, а то и «уходить в подполье». Не все это выдерживали. В 1985 году, не дожив до сорока лет, ушел из жизни Леонард Абузаров, задавленный семейными трудностями (у него было четверо детей), безденежьем, непризнанием и «зеленым змием». На одной из картин Спиридонова, посвященной памяти друга, на фоне темной поверхности Земли и черного бездонного неба, под тонким серпом луны изображена вдохновенная светящаяся человеческая голова: художники уходят, оставляя на Земле свет своего творчества.

Девиз Михаила Григорьевича — не унывать, а терпеливо работать и работать, как бы печально и горько порой ни было. Творчество, как он считает, это общение с Богом, и оно само по себе и есть утешение в нашем суровом мире.

В 1989 году он вошел в группу «Ин-зер» (организованную А.В. Клементом), возникшую для помощи художникам нетрадиционных направлений. Но с наступлением перестройки и пришедшей за ней свободой самовыражения необходимость в группе отпала, и она быстро прекратила свое существование. В это же время Спиридонов становится «свободным художником». С 80-х годов начинается новый, зрелый период его творчества, сопровождаемый его дальнейшим творческим и духовным ростом. Теперь главной задачей своего творчества художник видит продвижение к свету, обретение гармонии между человеком и окружающим миром, от которой тот так давно ушел, и возвращение его на путь духовности. В своих философских исканиях он поворачивается с Запада на Восток — к христианскому учению, учению Рерихов, буддизму. В буддизме его привлекают, как он объясняет, гуманизм, простота общения с Богом (без посредников), мысль о том, что Бог — во всем, и о необходимости духовного самосовершенствования личности. Помимо увлечения живописью Чюрлениса и Уайета (одного из лучших американских художников-философов

XX века), к нему приходит понимание красоты и мудрости живописи Рублева, Нестерова, Рерихов. Но он вовсе не собирается теперь противопоставлять Восток Западу. Руководствуясь мыслью Николая Рериха о том, что искусство едино и нераздельно и призвано объединить человечество, Михаил Григорьевич из самых разных учений извлекает духовное зерно, а в своих работах все больше и больше старается отвлечься от конкретики нации, вероисповедания, места и времени, сосредоточивая внимание на внутреннем содержании изображаемого.

Его картины становятся все более философскими, лаконичными, безлюдными — он хочет, чтобы люди, смотрящие на его картины, оставались с ними наедине: ведь только в одиночестве можно размышлять. Предметы на них он подает выборочно, словно выхватывая их из времени и пространства и тем самым раздвигая границы реального, и изображаемое становится условным, символическим, открывая свой глубинный смысл. Таков, например, его «барачный цикл», где из картины в картину переходят окружавшие художника в детстве и юности старые низкие черниковские бараки и ангары, деревья, животные на фоне российского бездорожья, луж, канав, заросших садов, разбросанной кругом «пивной тары» («Полдень (Ностальгия)», 1981; «Яблоневый сад», 1986; «Путешествие в отрезке времени», 1987; «Плывущие во времени», 1987; «Красное окно», 1988; «Мальчик», 1989; «Апофеоз», 1990, и другие). Но, странно, этот зыбкий, неприкаянный и неудобный мир не ужасает и не отчаивает нас: есть в нем что-то щемящее, пронзительное, ностальгическое. И вот уже любовно «плывут во времени» бараки, а вместе с ними — прекрасные деревья, чудом выросшие из отравленной химией земли. Это так по-русски — «любить вопреки». А повторяемость домов в картинах — это как один и тот же очень старый сон, который время от времени снится нам на протяжении всей жизни как безмолвное напоминание — мы что-то недопоняли, не прочувствовали, не сделали, — и возвращает нас к нашим истокам. Сам художник здесь ставил своей задачей воссоздать мироощущение детства; он ассоциирует эти работы с фильмом своего любимого кинорежиссера Тар-



ковского «Сталкер»; в них он постоянно возвращается в свое детство подобно тому, как сталкер снова и снова ходил в Зону, чтобы вернуть душе утраченную красоту и гармонию.

«Ностальгия» — так называлась вторая персональная выставка Спиридонова, прошедшая в Уфе в 1990 году, основу которой и составил «барачный цикл». Зрители оценили работы художника: в своих отзывах многие из них написали, что философские картины заставляют думать. С этого времени выставки М.Спиридонова начинают устраиваться практически ежегодно.

Теперь любимыми художественными образами творца становятся многозначные образы пути, света и сада, часто отраженные и в продуманных, глубоких названиях его работ, в которых прямой и переносный смысл сливаются. Образ пути — вообще излюбленный образ в российской и мировой культуре. В ряде картин художник показывает жизненный путь человека, ставшего жертвой обстоятельств и злого рока. «Шествие» (1990) внутренне перекликается с брейгелевскими «Слепыми»: серые, обезличенные, бесплотные фигуры странников, с покорностью судьбе бредущие по снегу навстречу неизвестности. Полотно созвучно стихам английского поэта-философа XIX века Теннисона:

*Идем по жизни мы: подчас
Так трудно нам идти бывает;
И только Бог, наверно, знает,
Что ждет у края жизни нас...*

Сходна по тематике и картина «Путешествие» (1992): на фоне непроглядно-темного дождливого ночного неба под красным зонтом стоят, тесно прижавшись друг к другу, мужчина, женщина и маленький мальчик. В застывших фигурах — смутная тревога неизвестности. Та же тема и в картине под красноречивым названием «Лабиринт» (1982–92). Но не правы те, кто считает Спиридонова «художником трагического миропонимания»: сам он себя таким не ощущает. Скорее, он воспринимает и изображает трудности жизненного пути человека как данность, которую нужно пройти, преодолеть, каким бы он тернистым ни был

(«Начало странствий», 1982), каким бы опасным ни был полет («Предчувствие полета», 1990). И даже в его самых грустных и, на первый взгляд, «безнадежных» картинах всегда присутствует та философия, которая величественнее и мудрее грустного и простого земного сюжета. Художник вспоминает, как после своей очередной выставки он получил письмо от одной из ее посетительниц: женщина писала, что была уже «на краю», но одна из его картин, внешне отнюдь не оптимистическая, примирила ее с жизнью: что-то «срезонировало» в сердце, и она осталась жить. Не в этом ли великая сила и назначение настоящего искусства — спасти людские души?

Своими картинами художник приближает нас к небу. Одна из них носит название «Разговор с небом» (1989). Она аллегорическая; на ней изображен мальчик (дети как существа, еще не отторгнутые природой, вообще частые его персонажи); земной опоры под ногами у него уже нет: стоит он в утлой лодчонке, брошенной в реку жизни; никого нет рядом — одно только пасмурное небо над головой. Душа ребенка истосковалась по великому, и вот, в наивном и отчаянном порыве запрокинув голову, он с мольбой взывает к небесам.

*Душа грустит о небесах:
Она — нездешних нив жилища...*

(С. А. Есенин)

Примерно с середины 80-х годов одним из главных художественных образов Спиридонова становится свет — субстанция всего сущего, суть прекрасного, провозвестник небес. «В отдельных картинах («Плывущие во времени», «Вечерний портрет», 1987; «Двор с голубятней», «Красное окно») свет как бы съедает все детали, сглаживает, обобщает их, не размывая при этом очертания предметов, как это практиковалось импрессионистами, но, напротив, делая их более резкими. То яркий и холодный, то мягкий и теплый, свет или заливают предметы, создавая прозрачную... пленку, или окутывает их, придавая формам еще большую бесплотность и призрачность... Этот свет — пронзительный, вибрирующий, неземной...»

(А.В. Гарбуз: там же). Источник этого света неизвестен: свет идет словно ниоткуда, он — внутренний. В ряде картин этот свет — бесстрастный, «неверный» или тревожный («Полдень (Ностальгия)»; «Смятение», 1987; «Грань реальности», 1996). А одна из картин художника так и называется — «Состояние внутреннего света» (1992): здесь — внутренний свет души человека, который призван освещать все вокруг, независимо от того, какое время и какая погода на дворе. Он мягкий, преображающий, обнадеживающий, и это отрадно — ведь людям так нужна надежда. Ею светятся и работы «Состояние зрелости» (1991), «Устремление» (1993), «Пробуждение в беспредельность» (1993), «Свет радости» (1993), «Вхождение в белое пространство» (1998), и другие. А картина «Вхождение в белое пространство» — это по сути восхождение духа: здесь изображен перекресток дорог как интерпретация креста (она появилась у художника по прочтении им Евангелия); дорога уходит в небо, сливаясь с ослепительно белым всепроникающим и всепримиряющим светом. Как-то одну из выставок художника, проходящую в Пензе, посетило несколько рериховских обществ: между ними до этого имели место отдельные «междоусобицы». Но выставка примирила рериховцев между собой, объединив их и сплотив в понимании высокого творчества художника.

Созвучна многозначной теме света и тема сада. Устремленные ввысь деревья в саду — как связные между небом и землей. От заброшенных, забытых садов с проломанными заборами, от «слепых» окон старых бараков из детства — к окну, распахнутому в сад («Окно в сад», 1997). Отдернутая от окна легкая золотистая занавеска открывает перед нами пронизанный неземным светом божественный сад — философский и религиозный образ, — «дивный сад из души», который «в своей листве богатой весь мир объединит от века» (Теннисон).

Эта картина явилась как бы прологом к состоявшейся в 1999 году выставке Спиридонова «Пространство сада» (по названию одной из его картин). Зритель попадает туда, где растут диковинные деревья и цветы, разноцветно переливаются облака («Преображение», 1994–98), а

небо касается земли («Касание неба и земли», 1994–95), и где воплощена мечта художника о гармонии мироздания. Центральной на этой выставке была картина «Садовник» (1997): на ее переднем плане в предутренней туманной дымке, среди росистой травы — цветущая яблоня, а за нею, закрывая лицо ее цветущей веткой — садовник, являющий собой образ самого Создателя...

Гармония в этих картинах присутствует даже в их композиции и пространстве: они (как и многие другие картины художника) уравновешены, выстроены ритмически. Многие зрители отмечают их удивительную поэтичность и музыкальность: в них словно слышится тихая флейта, а может быть, «музыка сфер». А в картине «Преддверие» (1998) мы, кажется, ощущаем целую торжествующую симфонию красок и звуков. Художник часто работает под любимые стихи или музыку (в основном классическую). У него долго не было мастерской (он поздно ее получил, только в 1996 году, вступив в Союз художников), и он работал дома, а чтобы отвлечься от возни домочадцев и сосредоточиться, включал стихи или музыку, и эта привычка осталась. На его экспозиции часто навещаются поэты, музыканты, композиторы.

Ряд его недавних выставок проходил в музыкальном сопровождении. Когда-то, в 20-е годы XX века, в России существовала уникальная творческая группа «Амаравелла», которая осуществляла синтез музыки, цвета и слова, пытаясь войти в резонанс с ритмами Вселенной еще задолго до первых межзвездных полетов. Позже руководство группы было репрессировано и сослано в город Миасс Челябинской области. А сейчас художник Спиридонов доносит до нас то, что мы недополучили, «проморгав» творчество Черноволенко и Смирнова-Русецкого. А его работы, при всем своем многообразии и многочисленности, исполнены на «ноте сердца», поэтому их так любят люди самых разных специальностей и возрастов (даже вовсе не искушенные в высокой философии дети). Поэтому картины художника имеются в музеях, галереях и частных коллекциях США, Европы и России, в том числе и в фонде Башкирского Государственного художественного музея



им. Нестерова («Ностальгия»; «Смятение»; «Памяти друзей», 1989; «Причастие», 1990; «Притяжение», 1992; «Состояние внутреннего света»; «Пространство ночи», 1995; «В ноль часов по Гринвичу», 2002, и т.д.).

Заслуживают внимания и натюрморты художника, хоть их у него немного. Раньше он их вообще не создавал и даже зарекался это делать, пока не увидел фильм Тарковского «Зеркало», выявляющий философию и скрытый смысл самых обыденных вещей. Особенно известны его натюрморты «Вознесение» (1989), «Причастие», «Чаша» (1993–94), «Цветы» (1996) и «Яблочный спас» (2000–01). Все они лаконичны, изящны и символичны, хотя символизм в них, как и в пейзажах, — не самоцель. Это не просто натюрморты, это натюрморты-состояния (о чем свидетельствуют и названия многих из них), очень часто основанные на многозначности своих мыслеобразов. Так, изображенные в «Причастии» яблоки — это символ живых существ, которым предстоит пройти священное таинство; а чаша с водой — это чаша для причастия. Здесь, как и в ряде других работ, есть интерпретация креста: вертикаль — ваза и ее тень, а горизонталь — яблоки. В «Чаше», помимо яблок и воды, присутствует загадочный белый огонь, вернее, очищающая стихия огня, который, по учению Беме, есть везде и из которого состоит все. На заднем плане натюрморта — нарождающийся прекрасный гигантский цветок. А на натюрморте-пейзаже «Яблочный

спас» яблоки — на столе на фоне полупрозрачной яблони (ствол лишь угадывается, отчетливее видны тонкие веточки с листьями), и все залито теплым светом божественного сада ...

Что и говорить, и без того сложная, «выматывающая» техника художника здесь усложнилась еще больше, достигнув высот мастерства. Здесь, как и во многих других своих работах, он применяет не только разнообразные кисти, но и металлический мастихин, а краски не только накладывает (причем часто многочисленными тонкими слоями), но и втирает. Вообще, его технику трудно разложить по полочкам; он как-то признался, что «техника нашла его сама». Его цветовая палитра постепенно ограничилась, сведясь к основным цветам: красному, синему, желтому, зеленому и белому. Художник пишет «по наитию», поэтому здесь главный его учитель — интуиция.

Последнее время Михаил Григорьевич любит рисовать цветы. На одной из его поздних картин изображен белый, похожий на лотос, цветок: весь пронизанный нежнейшими пульсирующими ритмами, он дышит, благоухает и свободно парит над землей, словно преодолев силу тяжести силою своего духа. И так хочется, чтобы укрепился дух у тех людей, кто разочаровался, изверился в жизни, кто устал стучаться в закрытые окна и двери домов. Пусть они знают, что не все еще потеряно, что отсчет времени только начинается; пусть озарит их лица «свет радости».

Монтень на плетень

О сельском хозяйстве, национальной идее и великих писателях

Мы можем отказаться от телевизора, можем отказаться от телефона и даже от компьютера – но не можем отказаться от необходимости есть три раза в день. И армия не будет никого защищать, если она вовремя не получит завтрак, обед и ужин. И студенты не смогут получать знания, если они утром не съедят то, что им необходимо. И работник не пойдет работать, даже в поле. Проблема сельского хозяйства не только становится год от года все актуальней, но уже и признается таковой: все СМИ обсуждают цены на продукты, премьер-министр России В. В. Путин активно взялся за развитие отечественного Агропрома; в июне текущего года проходит заседание рабочей группы по вступлению России в ВТО.

*В августе 2007 года мне посчастливилось побеседовать с руководителем сектора аграрных и продовольственных проблем Института США и Канады РАН, доктором экономических наук, профессором **Борисом Абрамовичем ЧЕРНЯКОВЫМ**. С тех пор прошел почти год, а воз селхозпроблем только глубже вращается в благодатную российскую землю. Так что, очевидно, читателю будет небезынтересно ознакомиться с точкой зрения одного из крупнейших экономистов-аграрников.*

Светлана Чураева

БУРЕНУШКА – СКОТИНА ИЛИ СВЯЩЕННАЯ КОРОВА?

*Нет, никто на свете
На обмокшем спуске
Пастушонка Петю
Не поймет по-русски.*

С. Есенин

В России сельское хозяйство и его присные – те, кто на него работает, – наиболее крупный сектор в мире. Следовательно, мы не можем его оценивать теми же мерками, какими его оценивают, к примеру, Франция, Англия, Италия, Испания, Япония... Специально выбираю для приме-

ра крупные страны, из тех, кто занимается сельским хозяйством, но при этом не называю Америку. Потому что в США с этим все в порядке: американцы правильно оценивают аграрный сектор. Там он – священная корова. Там каждый младенец помнит, что именно фермеры создали Америку, освоили ее огромные пространства. Все уважаемые люди вышли из фермеров, поэтому у них семейная ферма – это то, что все любят, уважают и поддерживают.

Встречаясь, знакомясь с новым человеком, американец первым делом спросит: есть ли у тебя земля? И если собеседник не может утвердительно ответить на этот вопрос, то он уже не очень интересен. Вот у Шварценеггера нет ранчо, но ему

Б. А. Черняков окончил сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Общий стаж работы в сельском хозяйстве – без малого полвека. Один из крупнейших в России и за рубежом экономистов-аграрников широкого профиля. Основные направления научной деятельности: продовольственная безопасность США и России; государственное регулирование аграрного сектора США; аграрные реформы США и России за последние 150 лет; интенсификация производства в ведущих отраслях сельского хозяйства США и др. По итогам исследований опубликованы 5 авторских монографий, более 30 разделов в коллективных научных монографиях, свыше 80 прочих публикаций. Общий объем публикаций – свыше 200 а.л. Ведет активную научно-консультативную деятельность.



такой вопрос, допустим, не задают, потому что он – знаковый человек. Обратите внимание: у нас деревенское происхождение предпочитают скрывать, слово «деревня» до сих пор произносится снисходительным тоном. А они говорят с гордостью: «Я – ранчер, я – фермер». И демократическая партия спорит с республиканской не по поводу того, как урезать сельское хозяйство, а по поводу того, как бы больше в него добавить.

В России же всегда к сельскому хозяйству относились свысока. По существу, все понимали, что деньги и людские ресурсы черпаем, в общем-то, там. Недаром бытовала поговорка: «Как изъян, так с крестьян». Тем не менее, на протяжении всей истории крестьяне оставались людьми не первого сорта. История страшна: коллективизация, до нее – крепостничество. Но вот две даты – в 1862 году американцы покончили с рабовладельческим строем. В 1861 – на год раньше – освободилось крестьянство в России. Прошло примерно полтора столетия, сейчас американские крестьяне любимы и обласканы сверх всякой меры. А у нас за это время как только не поизгалялись над крестьянином – и до советской власти, и во время, и после.

Почему-то мало кто отдает себе отчет в том, что Россию тоже создали крестьяне. Она до 1913 года на 85% была аграрной страной – то есть все население было сельским. Менее ста лет назад у нас был тоненький-тоненький, почти невидимый – от 0,5 до 1,5% – слой интеллигенции. Остальное – мещане, рабочие. И все, что мы сейчас имеем, создали крестьяне! Иосиф Виссарионович Сталин никакой индустриализации не смог бы провести, если бы сначала не провел коллективизацию. Он все выжал из деревни – станки, трактора, ГЭС, танки... Именно крестьянство выдержало войну 1941–45 годов: оно кормило и поило гигантскую армию. А самое главное – это крестьянские дети гибли на полях сражений. И сейчас 80% нашей армии – люди, вышедшие из сельской местности.

Задержимся на слове «вышедшие»: из села постоянно откачиваются работоспособные, умные, талантливые, предприимчивые кадры. Ушедшие в армию, на заработки, на какие-то отхожие промыслы, на учебу – не возвращаются. А зачем? Чтобы мыкаться с утра до ночи? Чтобы толь-

ко по телевизору смотреть, как люди маются в горячих ваннах, и ходить до ветру? Конечно, возвращаться на село никакого смысла нет, поэтому там существует огромная проблема людских ресурсов.

ГОСПОДДЕРЖКА ИЛИ ГОСПОДПОРКА?

*За тучными коровами
следуют тощие,
за тощими – полное
отсутствие говядины.*

Г. Гейне

Но эта проблема – далеко не единственная и даже не самая страшная. За многие годы российское сельское хозяйство давным-давно сумело доказать, что оно работает в зависимости от того, как к нему относится государство. Во всех развитых странах аграрную продукцию субсидируют. Если мы вступим в ВТО в таком состоянии, как сейчас, то это будет трагическая ситуация, так как с субсидированным товаром бороться нельзя.

Были времена, перед самой перестройкой, когда мы производили колоссальное количество продукции. До сих пор горжусь, когда называю такие цифры: в 1990-м году на долю СССР приходилась четверть – четверть! – мирового производства молока. А мы же не четверть занимали территории, у нас не 25% всех ресурсов планеты, не так ли? Мы не уступали американцам, а превосходили их в производстве яйца на душу населения. Мы уступали им в производстве зерна, однако производили зерна на треть больше, чем все страны Западной Европы. Но они, располагая всего полтонной зерна на человека в год, имели очень хорошие показатели в кормлении людей. А мы, имея очень хорошие показатели, в силу того что у нас не была развита переработка, реализация, транспортировка и так далее, многое теряли. Если бы тогда получилось сломать эту тенденцию, мы бы сейчас жили совсем по-другому. А государство говорило: производить, производить, производить! К сожалению, никто не думал, что все это нужно превращать в продукты.

А в 1989 году страна довела свое сельское хозяйство до ручки. Судите сами: мы

очень много до 90-го года вкладывали минеральных удобрений в землю, то есть возвращали ей те запасы, которые она выносила на поверхность с урожаем. Добавлять перестали, а урожай получаем, значит, мы обедняем землю. Вносили огромное количество денег в культуру технику – в улучшение полей. Мы тратили очень много на орошение, занимались семеноводством в растениеводстве и селекцией в животноводстве. Много вкладывали в научные исследования. А потом все это бросили! В 1999 году спохватились и начали что-то делать. Но у нас к этому времени 75% тракторов и сельхозмашин просто пришло в негодность. Все это сейчас продолжает давить на нас, это же никто еще не компенсировал.

Я был в числе людей, которые по простоте душевной писали записки о необходимости переходного периода в тот момент, когда мы ломали одну систему и начинали строить другую. Но мы всю жизнь сначала до основания уничтожали, а потом пытались воссоздавать. Поскольку опыта не было, и знаний не было, и кадров не было, и денег, то мы просто вывели из оборота почти 30 млн. гектаров земли. Это в 5 раз больше, чем всей сельскохозяйственной земли в Японии!

Но уже можно говорить, что часть земель вошла в оборот обратно. Что это значит? Значит, пошли инвестиции в сельское хозяйство. Если раньше его называли «черной дырой», то сейчас ситуация изменилась – приоритетный национальный проект позволил каждому, кто по-настоящему работает, получить деньги на развитие своего хозяйства.

Если государство не дает сигнала, что сельское хозяйство – это любимое дитя нашего общества, то общество никогда не будет его любить. Аграрный сектор очень долго был пасынком страны. Счастье, что в последние годы все-таки удалось изменить это страшное положение. Самый важный итог этого периода – принят Закон о сельском хозяйстве, он превратился в программу, а в ней уже даны определенные механизмы, касающиеся конкретных направлений, и под них выделены средства. Удалось: во-первых, явно выраженную в 90-е годы стагнацию сменить на некий подъем, во-вторых, ликвидировать огромные прорывы и заполнить их новыми комплексами, развитием свиноводства, великолепного птицеводства, высокой

урожайностью. И даже таким показателем, который давно уже в России не существовал, – экспортом зерна. Теперь мы входим в пятерку стран, экспортирующих зерно. А до этого последний раз экспортировали зерно еще до революции! Хотя тот экспорт, как писал наш выдающийся ученый Прянишников, был функцией голодного существования крестьянства. «Не доедим, но продадим», – приговаривал тогда Вышеградский, министр финансов России.

Да, последние несколько лет мы продаем зерно – это показатель очень хороший. Но в то же время этот факт говорит о том, что мы пока в своем животноводстве не находим сил, чтобы это зерно превратить в собственное мясо, молоко и другие продукты. Хотя такая тенденция есть. Мы умощняем комбикормовые заводы, у нас все в порядке с мукой различного качества, мы научились выращивать подсолнечник и делать масло более высокого качества, чем даже при советской власти, научились выращивать рапс. Научились за эти годы многому из того, что упускали в прошлые годы. Если бы мы начали такую работу в начале перестройки, мы бы не имели тех колоссальных потерь и сейчас жили бы в более цивилизованной стране.

Конечно, положительные сдвиги есть, но без государственного регулирования рынка у крестьянина всегда будет сохраняться ощущение опасности. Потому что любое цивилизованное государство в первую очередь имеет средства для охраны внутреннего рынка и средства влияния на цены этого рынка. Это то, что называется протекционистской политикой. К примеру, в Америке производство сахара убыточно. Если бы туда нам разрешили завозить сахар, мы бы очень хорошо заработали, потому что их песок не выдерживает конкуренции с нашим. Я не говорю про кубинцев, которые могут вообще всех завалить сахаром. Но у американцев очень жесткие тарифы на ввоз сахара, и вы туда ничего не ввезете. Несмотря на то что сахар на внешнем рынке стоит в два раза дешевле, чем на внутреннем, производителям он дает доход. Потому что им его субсидируют! Пресловутые куриные ножки американцы продают таким образом, что на границе они практически ничего не стоят. Потому что вся цена на них вошла уже в цены на белое мясо. И околочка – это отбросы, которые можно отдать



по любой цене. Таких примеров – тьма. В результате мы можем говорить о том, что сейчас наши производители борются не между собой, что должно быть. Они борются с импортными субсидированными продуктами неизвестно какого качества. И только государство может решить эту проблему комплексом мер.

Поэтому вопрос о защите собственно производителя нужно везде поднимать, это один из самых нерешенных вопросов. Для этого существует страна. И государство. И народ, в конце концов. Потому что обеспечение продовольственной безопасности страны – это главное и первое условие существования этой страны. Продовольствие – это основной стратегический товар будущего. Ведь население растет, а количество продовольствия увеличивается в значительно меньшей пропорции. И этот разрыв между потребностью и обеспеченностью будет становиться все больше. Количество голодного населения будет увеличиваться, а это значит, что будут развязываться тактические и стратегические войны, обязательно начнется борьба за кусок хлеба.

Россия – страна, в которой так много земли, так много энергетики, так много пресной воды, необходимой для орошения, в которой все-таки еще сохранились приличные кадры, – должна не только кормить себя, а, я так считаю, еще и такую небольшую часть Земли, как Европа. Ведь если Европа завтра перестанет быть субсидированной в сельском хозяйстве, она пойдет по миру. И никакого экспорта там не будет, а будет голый импорт.

ПУТЬ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК?

*О родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.*

С. Есенин

Сейчас очень много болтают о том, что «...нужно найти национальную идею. Вот мы найдем ее, и тогда будет все замечательно!». Я всегда шучу (потому что у меня есть ответ на этот вопрос): «Прости-

те, у шведов есть национальная идея?». Отвечают: «Не знаем. Но, кажется, шведы вообще обходятся без идеи». Конечно, когда люди живут в стране, входящей в первую пятерку в мире по качеству жизни, им и достаточно того, что у них высокое качество жизни. Они и будут патриотами, они будут постоянными гражданами своей страны, они никогда из нее не уедут, и все лучшее, что в них есть, они вложат в свою страну. Так что я национальную идею определяю очень просто: «Обеспечение высокого уровня жизни населения».

Вот сейчас правительство говорит о многих интересных начинаниях. Говорит о нанотехнологиях – что совершенно облачные высоты, но одновременно говорит и о дорогах, о лучшем управлении, о том, что людям надо дать возможность в любой точке России получать образование, получать работу. И не простую работу, а такую, которая позволит полностью обеспечить семью хорошими продуктами питания, жильем, удобствами. И, конечно, сможет обеспечить образование детям, без чего совершенно невозможно жить. Когда наши спускаются на батискафе на четыре километра в Ледовитый океан, мы радуемся: «Ага, есть еще у нас люди!». Я хочу, чтобы значимые события происходили именно в моей стране. Хочу, чтобы моя внучка жила в моей стране, а не в какой-нибудь другой. И это находится в прямой зависимости от состояния сельского хозяйства.

Дело в том, что сельское хозяйство, на мой взгляд, – это не только производство продовольствия. Я считаю, что именно наша страна имеет более высокую функцию сельского хозяйства, чем любая другая. Мы ведь огромны, велики. Одиннадцать часовых поясов! Бог знает сколько биоклиматических поясов. Мы такие богатые, что дух захватывает. Все-таки Россия много лет приобретала земли. И, надо отметить, крайне редко получала земли военным путем. Как правило, к нам под руку просились люди. Те же грузины сами пришли к Александру I, умоляли, чтобы их взяли к себе, так как неизвестно, что бы еще с ними сделали турки. Россия всегда была собирательницей народов. Неудивительно, что к моменту распада СССР у нас числилось что-то порядка 112 национальностей. Речь идет не о великодержав-

ном шовинизме, ведь не секрет, что хоть мы и коренная нация, но многие нации в России и в постсоветском пространстве живут лучше, чем русские. Моя мысль вот о чем: сельское хозяйство – это единственная отрасль, которой все равно, кто живет на этой земле! Живут там татары – замечательно, башкиры – прекрасно! Если человек любит эту землю и ее обихаживает, значит он – единственный постовой на этой земле. Где бы эта земля ни находилась.

На Амуре первые, кто узнают о пожаре, о наводнении или перебежавших китайцах, это крестьяне. Потому что раньше них никто не встает. Они первые воспринимают удары стихии. Они первыми сообщают о надвигающейся саранче. Если эти люди уйдут со своей земли, кто их заменит?

Так что функции сельского хозяйства, кроме производства продукции, это охранительная, это сберегательная, это – функция производства будущих военных, будущих интеллигентов. И вообще – будущих гениальных людей. Потому что при свежем воздухе, при чистой воде, при нормальной экологии, как правило, все-таки люди не дебилами рождаются. И только государство обязано потом вложить в эту светлую голову с хорошими свежими мозгами – образование. Для того чтобы человек мог воспроизвести свой ум во множестве ценных дел.

Село – источник людских резервов, хранитель многонациональных традиций. Я горжусь, что живу в многонациональной стране.

Вот американцы решили сделать ход конем: у них все – американцы. Министр сельского хозяйства Калифорнии – китаец Кавамура – утверждает: «Я – американец». С акцентом сильным утверждает, но уверенно. Швед в Айове тоже считает себя американцем, и финн, и норвежец, и итальянец. Кого ни спроси, никто не говорит на родном языке. Целое поселение

немцев, у них кирха там стоит, девочки ходят в передничках; спрашиваю: «Есть хоть один человек, говорящий на немецком?». «Нет, – отвечают, – уже нет, последний помер на прошлой неделе». За чем? Все же – американцы. А мы – в России? Мы стараемся, чтобы бурят разговаривал на бурятском, эвенк – на своем эвенкийском наречии, камчадалы говорят по-своему, и тувинцы, и башкиры... И Россия считает, что это правильно. Человек всегда богаче, когда он владеет не одним языком, а хотя бы двумя.

Я много лет занимаюсь творчеством Мишеля Монтеня, пишу о нем книгу и раз в году стараюсь попасть в Ла-Рошель, чтобы побыть в его замке. Монтень родился в 1533 году, умер в 1592-м, я – старше его. Но мы с ним очень схожи. Он, в частности, написал такую вещь: «Великие потрясения разрушают большие государства». Он знал, о чем говорил: сам дважды был мэром города Бордо, попал в Париж в Варфоломеевскую ночь, когда в Сене не было видно воды от обилия трупов. Был брошен в Бастилию; он мог быть уничтожен – он, выдающийся мыслитель! Один Шекспир сделал из Монтеня 600 заимствований! Лев Николаевич Толстой очень любил Монтеня, и это у него он почерпнул прекрасную мысль, что величайшая мудрость жизни состоит в том, чтобы не бояться смерти. Это для меня важнейший тезис, который я проповедую, и сам уже давно не боюсь смерти. Меня часто спрашивают, с какого бока: сельское хозяйство, экономика, агрохимия, социальные вопросы – и вдруг Монтень?

А я отвечаю – Александр Сергеевич Пушкин написал Наталье: «Пришли мне томики господина Монтеня». Он не уточнил, зачем, но я его понимаю. Ведь Пушкин был человек светский, легкий, но и ему нужно было иногда прикоснуться к мудрости веков. Веков! И это именно великий Монтень сказал: «Как важно любить то место, в котором ты живешь!».

(Продолжение темы: мнение еще одного крупного эксперта в области аграрной экономики – в следующем номере)

Краеведческий калейдоскоп

НАРКОМ УСТИНОВ ВРУЧИЛ РЕСПУБЛИКЕ ОРДЕН



На снимке: Д. Ф. Устинов в Уфе.

Приезд в Уфу Дмитрия Федоровича Устинова (родился 30 октября 1908, умер 20 декабря 1984 года) хорошо запомнили трудящиеся Башкирии. Это было в январе 1974 года. Республике вручался орден Дружбы народов, которого она была удостоена за большие заслуги трудящихся Башкирской АССР в укреплении братской дружбы и сотрудничества советских народов, успехи в экономическом, социально-политическом и культурном строительстве и в ознаменовании 50-летия Союза Советских Социалистических Республик.

Орден вручил и укрепил на знамени Башкирской АССР рядом с двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции Д. Ф. Устинов.

— Самоотверженно сражались за Родину вместе с другими народами СССР сыны и дочери вашей республики. Более двухсот тысяч из них награждены орденами и медалями, а свыше 250 удостоены звания Герой Советского Союза. Вся страна свято чтит бессмертный подвиг питомцев комсомола Башкирии гвардии рядового Александра Матросова и гвардии

лейтенанта Миннигали Губайдуллина, закрывших своими телами вражеские амбразуры, — сказал Д. Ф. Устинов, выступая при вручении ордена.

Устинов не был тогда еще Маршалом Советского Союза. Ему не довелось во время Великой Отечественной войны командовать подразделениями действующей армии, разрабатывать стратегические операции глобального масштаба. Во время войны он был наркомом вооружения, возглавляя армию тех, кто стоял у металлургических печей и станков и обеспечивал победу на фронтах. Вот почему имя Д. Ф. Устинова в летописи истории Победы по праву стоит в одном ряду с именами выдающихся военачальников.

После Великой Отечественной войны Дмитрий Федорович работал министром вооружения СССР, министром оборонной промышленности, первым заместителем Председателя Совета Министров СССР.

В Башкирии Дмитрия Федоровича интересовало многое. Он познакомился со столицей республики, совершив поездку по Уфе. Побывал в районе массового жилищного строительства. На Уфимском моторостроительном заводе ознакомился с производством двигателей, беседовал с рабочими, инженерно-техническими работниками. Прошла встреча с партийным и хозяйственным активом машиностроительных предприятий, строительных организаций и учебных заведений.

Вот таким был маршрут Д. Ф. Устинова по Башкирии: Кумертау, Мелеуз, снова Уфа — завод резиново-технических изделий имени М. В. Фрунзе, нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС.

В 1976 году Дмитрий Федорович Устинов стал министром обороны СССР, Маршалом Советского Союза.

До последних дней своей жизни он возглавлял Министерство обороны СССР, многое делал для повышения мощи армии и флота, оснащения их современным оружием и техникой.

Родина высоко оценила выдающиеся заслуги Д. Ф. Устинова. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза, дважды Героя Социалистического Труда. Среди многих наград Дмитрия Федоровича одиннадцать орденов Ленина.

На волжских берегах в семье рабочего начинал свой жизненный путь будущий Маршал Советского Союза. Он до конца своих дней любил волжские просторы. И под стать этим просторам широко открыто людям было сердце Д. Ф. Устинова.

НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ — ДРУГ САЛАВАТА ЮЛАЕВА...

Имя народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Николая Афанасьевича Крючкова (1911—1994) известно и дорого каждому любителю кино. Талантливый актер создал образы современников — простых, мужественных, преданных Родине людей: Сергей Луконин («Парень из нашего города»), лейтенант Горлов («Фронт»), капитан Сафонов («Во имя Родины»), майор Булочкин («Небесный тихоход»).... Кинофильмы эти вышли в основном в годы Великой Отечественной войны.

А знаете ли вы, что Николай Крючков снимался в фильме «Салават Юлаев»? Эта картина была создана накануне войны. Главную роль сыграл Арслан Мубаряков, а Крючков исполнил роль Хлопуши, друга Салавата.

Двадцать лет тому назад с артистом встретился писатель Газим Шафиков и побеседовал с ним. Приведем фрагменты этой беседы:

— Николай Афанасьевич, чем привлек вас роль Хлопуши?

— Мятежностью — вот чем, милый. Кто он, Хлопуша? Беглая и бунтарская душа. Его ловят, пытаются, клеймо на лбу выжигают, да еще какое — «вор», во как! Он все выносит, сбегает из любых тюрем да острогов и снова за свое: бунт! Людей на это подбивает. И вот однажды, по сценарию значит, встречается ему на пути

башкирский джигит по имени Салават. Видит Хлопуша: сообразительный парень, смелый. И дух у него, как у самого Хлопушки, — бунтарский. И стал он не то чтобы покровительствовать этому джигиту, а как бы дружески поучать его мятежному делу. А тот оказался учеником куда как отменным — все быстренько освоил и усвоил.

— Вообще-то, Николай Афанасьевич, в исторической действительности все было несколько иначе...

— Я тебе говорю о том, как было в сценарии, — сердится Крючков. — Дело ведь в том, как все это художественно подать. Так вот, связала их дружба, так сказать, по общей идее. А идея та выражалась в борьбе против царского насилия, за свободу народа.

— Ну, а как произошла ваша первая встреча с Арсланом Мубаряковым, исполнителем роли Салавата Юлаева?

— Как произошла? — Николай Афанасьевич морщит лоб, молчит и смотрит задумчиво в сторону. — Откровенно говоря, детали не помню. Ведь времени смотри сколько прошло: почти полвека! Однако очень хорошо сам он запомнился. Красивый он был. Красивый и здоровый — косая сажень в плечах. И еще скажу: темпераментный очень. На месте устоять не мог, как конь необъезженный. И глаза горели, как огненные угли. Вот какой был джигит! Я помню, даже удивился: где это Протазанов откопал такого батыра?

— Давно, очень давно не видел я этого фильма, — произносит он после долгой паузы. — К сожалению, в Башкирии, где велись основные съемки, мне тогда побывать не удалось. Снимался я с Мубаряковым под Коломной. Там я бежал с каторги. Через реку вплавь переплывался. Но основная работа шла на студии. По-моему, и сцена в каменоломне, где мы с Мубаряковым ворочаем камни, тоже происходила там же. Как-то так все очень хорошо сделали, в смысле декорации, — на экране получилось очень правдоподобно.

— Фильм «Салават Юлаев» до сих пор с большим успехом идет у нас в Башкирии.

— Не мудрено. Это ведь настоящий революционный фильм. Точнее сказать, произведение активного революционного процесса, вот как бы я сказал! Именно так



восприняли его зрители. Думаю, главное в этом фильме — идея дружбы между людьми разных наречий, вероисповеданий, обычаев. Именно восстание Пугачева показало, что такая дружба не только возможна, но и необходима. А Октябрьская революция сделала эту давнюю мечту былью. Вот почему люди так полюбили этот фильм. В успехе фильма велика заслуга Арслана Мубарякова, прекрасно сыгравшего роль Салавата Юлаева. Я рад, что тоже внес, так сказать, свою лепту в его создание.

...Николай Крючков последний раз приезжал в Уфу, когда ему исполнилось 72 года. С успехом выступал перед кинозрителями, вновь вспоминал об участии в фильме «Салават Юлаев».

ГЕРОЙ «ЦУСИМЫ» ЖИЛ В БАШКИРИИ

Мечтой и целью своей жизни писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой считал создание книги «Цусима». Работал он над эпопеей более тридцати лет. Это рассказ о походе эскадры адмирала Рождественского из Либавы (Латвия) во Владивосток, о черном дне в истории русского флота. Преодолев девятнадцать тысяч морских миль, эскадра в ночь на 14 мая 1905 года вошла в Цусимский пролив. Ее перехватили японские корабли, предложили сдаться, а потом открыли огонь. К утру 15 мая русские корабли были потоплены. Несмотря на героизм русских матросов, эскадра перестала существовать.

Алексей Новиков, бывший крестьянин Тамбовской губернии, был матросом на броненосце «Орел», участвовал в морском сражении. Во время похода эскадры он вел записи, после гибели корабля в японском плену продолжал работу, расспрашивал матросов с других судов. И в советское время он разыскивал участников Цусимского сражения, разбросанных по всей стране, вел с ними переписку.

В зимний морозный день пришел письмо из Москвы председателю колхоза «Победа» Туймазинского района Башкирии И. Г. Воробьеву:

«Уважаемый Илья Григорьевич!

С 8 августа я разыскиваю Вас и только теперь из любезного письма т. Аверья-

нова узнал Ваш адрес. Посылаю Вам свое письмо от 8 августа, которое путешествовало по вашим следам. К письму приложены вопросы об «Ушакове», на которые прошу Вас ответить, что вспомните. Особенно меня интересуют Ваши цусимские записки и дневники, которые мне желательно было бы получить от Вас для ознакомления на короткий срок.

Мне было весьма приятно узнать, что Вы теперь, как сообщает Аверьянов, будете работать председателем колхоза, как активный участник социалистического строительства. От души желаю Вам успеха в колхозных делах.

Крепко жму руку моряка-цусимца.

С товарищеским приветом

А. Новиков-Прибой.

Москва, 16 декабря 1935 г.».

Трудной была судьба Ильи Григорьевича Воробьева, прочитавшего это письмо. Родился он в деревне Зайцево Бирского уезда Уфимской губернии. Служил на броненосце «Адмирал Ушаков» до тех пор, пока не ушел корабль в пучину моря около острова Цусима. После возвращения из плена женился в Кронштадте. Невестой стала Мария Ивановна, воспитанница приюта, круглая сирота. О женихе местная газета «Котлин» сообщала в заметке «Редкий праздник в сиротском доме», что он — квартирмейстер I статьи Воробьев, braveйший георгиевский кавалер со славного «Ушакова».

Недолгим было счастье молодоженов. За участие в революционном движении 1905 года Илью Воробьева списали с флота и выслали под надзор полиции в Уфимскую губернию. Работы не было, подался бывалый матрос на «железку», стал кондуктором на пассажирских поездах. Во время первой империалистической войны снова вспомнили о нем, призвали во флот. Служил в Петрограде, был ранен, после Февральской революции возвратился домой.

После Октября возглавил Илья Григорьевич комитет бедноты в слободе, где сейчас микрорайон Затон. Потом воевал в легендарном отряде Александра Чеверева, сражался с деникинцами, был ранен, снова вернулся к семье в Затон. Радости было мало: из восьми ребятишек в живых осталось трое. В 1922 году умерла и жена. И стал тогда Илья Григорьевич хлебо-

бом, в годы коллективизации возглавил колхоз в Туймазинском районе. Здесь и разыскало его письмо А. С. Новикова-Прибоя.

Дневники о походе эскадры, о службе на броненосце «Адмирал Ушаков» сохранились у матроса-цусимовца. Бережно запаковав, Воробьев отправил тетрадки писателю.

Прошло несколько лет. Однажды в колхоз пришла бандероль. В ней была книга, на обложке которой вытеснены слова «Броненосец «Ушаков». И на первой странице написано: «Герою этой книжки Илье Григорьевичу Воробьеву на память. Автор А. Новиков-Прибой. 14 августа 1940 года» (книга эта стала составной частью «Цусимы», за которую автор в 1941 году получил Сталинскую премию).

Воспоминания уфимца широко использованы в книге. В ней несколько раз упоминается Воробьев, мужественный и находчивый матрос, минноартиллерийский содержатель, способный постоять и за себя, и за своих товарищей. О его поведении во время боя рассказывает, например, такой эпизод.

В самый разгар морского сражения на броненосце отказало орудие. Была помята гильза снаряда, и он застрял в стволе. Командир батареи, тупой и чванливый мичман Дитлов, приказал дослать гильзу затвором. Но опытный матрос Илье Воробьев возразил:

— Нельзя так делать, ваше благородие. Или снаряд еще больше заклинит, или несчастье произойдет. На одном корабле при таких обстоятельствах двенадцать человек убило.

Опешил Дитлов, а потом заорал:

— Молчать! Не разговаривать! Исполнять мое приказание!

Не послушался Воробьев. Быстро сбегал в подсобное помещение, достал специальное приспособление типа клещей и через несколько минут вытащил

застывший снаряд. Орудие вновь загрохотало.

Уберег он товарищей от беды. Но не миновать бы ему самому сурового наказания после боя. Да вот броненосец ушел на дно.

За несколько часов до сражения минноартиллерийский содержатель Воробьев докладывал командиру корабля капитану первого ранга В. Н. Миклухо-Маклаю (брату знаменитого путешественника) о наличии снарядов.

— Эх, Воробьев, — сказал командир, — снарядов-то у нас достаточно, а вот орудий мало, да и корабль плохую плавучесть имеет...

Гибелью броненосца и закончилась часовая ночная баталия на море.

Интересно листать страницы «Цусимы», то тут, то там встречая знакомую фамилию Воробьева.

В конце 60-х годов Илье Григорьевич обосновался в Затоне Ленинского района Уфы, потом жил в самом городе. Выступал с воспоминаниями перед школьниками, рабочими, воинами гарнизона.

Елена Ивановна Никуличева, заслуженный работник культуры БАССР, краевед, вспоминала:

— Много лет подряд первого сентября Воробьев приезжал в нашу одиннадцатую школу, привозил яблоки пионерам из своего сада, выступал. Во время поездок школьников в Ленинград мы видели фотографию нашего цусимца в экспозиции Военно-морского музея.

Ветеран-журналист В. Е. Ераносьян рассказал о Воробьеве в одном из очерков своей книги «Подвиги продолжаются», вышедшей в Уфе в 1965 году.

Он отметил интересную черту Ильи Григорьевича. Оказывается, у себя в Затоне цусимовец выращивал виноград, персики, апельсины, лимоны. Но особенно любил розы, а букеты цветов дарил незнакомым матросам.

Не разумом , а сердцем

Влияние шейха Зайнуллы Расулева на духовную атмосферу формирования башкирской интеллигенции

Интеллигенция понятийно и социально не считается порождением западной классической философии, которая по преимуществу была нерелигиозна и предполагала безграничные возможности человеческого ума. Коран выражает глубокий скепсис по поводу возможностей человека рационально познавать мир, тем более Бога: «Даровано вам знания, только немного». Для арабо-мусульманской философии характерны два способа познания: «мудрец», способный соединиться с деятельным разумом через рациональное познание и в умственной деятельности уподобиться Богу, и форма «пророка», обладающего врожденной, наделенной Богом силой воображения «как высшей силой, позволяющей соединиться с деятельным разумом во сне и наяву посредством откровения». Вторая форма является более предпочтительной. Пророк божественное знание постигает не разумом, а сердцем. Арабо-мусульманская философия, меняя акцент с разума на сердце, изменяет и сам ориентир с рационального на нравственный. Великий теолог аль-Газали писал: «Я начал изучать суфийскую науку, читая книги великих суфийских шейхов, и обращался к сущности их учений. И я понял, что к Богу невозможно приблизиться путем интеллектуального размышления и рационального познания, и что путь к Богу возможен только через вдохновение, мистический переход через состояние “ахвал” и нравственное перерождение». Идея нравственного совершенствования как единственного пути решения проблемы спасения человека оказалась плодотворной альтернативой сухому ригоризму религиозного закона, а попытки ее реализации обусловили значительные культурные последствия во многих сферах духовной жизни мусульманских народов.

Мусульманская духовная среда наложила свои особенности на формирование

башкирской интеллигенции. Принятие ислама было цивилизационным выбором, изменившим не только область веры, но и всю духовную жизнь башкир. Он оказался во многом близким той онтологической реальности и духовным исканиям, в пределах которых в то время было организовано бытие народа. Ислам принес образование и письменность, стал основой организации религиозно-правового, семейно-брачного и межличностного быта башкир. Но существование достаточно развитой политеистической системы верований преобразовало его. Новая религия была воспринята башкирами сквозь призму культурно-исторической традиции и отличается гибкостью и веротерпимостью, обусловленной идеей, что подлинный критерий богоугодного поведения есть нравственная жизнь и практика добрых дел, а не формальное соблюдение норм Корана. Сформировался особый тип «башкира-мусульманина» — «слабо верующего», с большими пережитками языческих, магическо-мифологических представлений, усвоившего в основном феноменологическую сторону новой религии.

Наложение ислама на местные религиозно-философские представления и культы определило особенность башкирского мусульманства, имевшего довольно ярко выраженную мистическую сущность. Этому способствовал сам тип башкирского мышления, который Ш. Исянгулов охарактеризовал как «философско-созерцательный». З. Я. Рахматуллина в своем исследовании также пишет о том, что мышление башкира изначально основывается на интуиции, на духовном видении, способности постижения истины путем внутреннего проникновения в суть вещей и явлений. А понятийное в познании было второстепенным и неравнозначным, как нечто схематическое к полной

жизненной истине. Не европейский рационализм, рассудительная аналитическая работа мысли, а «сердечное умозрение», созерцание, эмоционально-чувственное постижение доминировали в миропознании башкир. Не потому ли позиции суфизма были сильны в Башкортостане, что способ миропонимания башкир был близок к его традициям? К тому же быстрое распространение суфизма было обусловлено его способностью к адаптации к местным социокультурным реалиям, в том числе к традициям башкирского родоплеменного полукочевого общества. Поэтому суфийские братства не считались еретическими. Объединение вокруг того или иного ишана осуществлялось не столько по социальной принадлежности, сколько по территориальной, что отражало родоплеменные традиции башкирского общества. Духовное единство мюридов и ишанов было подлинным — доверительные отношения сохранялись на протяжении всей жизни и распространялись на потомков. В башкирской среде известны целые династии ишанов, на которых распространялся авторитет родоначальника династии, на их потомство также передавалось почитание учеников.

Ишаны, имевшие многочисленных мюридов, были в Башкортостане влиятельными религиозными авторитетами. Особенно среди них выделялся Зайнулла Расулев — последний «Великий шейх» ордена Халидийя-Накшбандийя, оказавший огромное влияние не только на простых верующих мусульман, но и на многих выдающихся представителей дореволюционной мусульманской интеллигенции и духовенства. Видные мусульманские деятели Галимжан Баруди и Ризаитдин Фахретдинов, в разные годы занимавшие высокий пост муфтия, руководителя Духовного управления мусульман России, признавали Зайнулла Расулева своим духовным наставником и считали за честь быть его учениками — мюридами. Образ З. Расулева повлиял на духовное формирование Заки Валидова, о чем он пишет в своих «Воспоминаниях». Учителем А.-З. Валидова был его родной дядя с материнской стороны Хабибназар Сатлык, содержащий медресе в деревне Утяк, а он «...в суфизме следовал самому выдающемуся шейху того време-

ни, представителю тунгарского рода башкир Зайнулле-ишану...». В большинстве своем ишаны Башкирии были носителями мусульманских просветительских и идейно-философских традиций, восходящих корнями к ранним арабским и среднеазиатским школам и адаптированных к особенностям уклада башкирского общества. Под их влиянием происходило формирование основной части башкирской интеллигенции. Именно духовно-независимые от царских властей башкирские суфийские шейхи смогли мобилизовать простых башкир в их борьбе за внутреннюю духовную самостоятельность в условиях Российской империи. Стремительный процесс модернизации России, бурное вторжение во все сферы жизни новых технических и научных достижений Запада особенно обостренно воспринимались представителями мусульманских народов. Этот прогрессивный в целом этап в истории башкир сопровождался возникновением настроений пессимизма, отчаяния и состояния фрустрации. В поисках подлинного эмоционально и содержательно насыщенного бытия продвинутая часть мусульман региона обратилась к поиску «нового мусульманина», новым формам практических действий. Это выразилось и в таких идейно-политических действиях, как «джадидизм», движение за модернизацию ислама и реформы в жизни мусульман России, и в осмысленном обращении к таким духовным авторитетам, как шейх Зайнулла Расулев. Большинство правверных мусульман не склонно было безоговорочно принимать идеи джадидистов, чрезмерное увлечение которых «западными» идеями настораживало многих мусульман. В этих условиях естественным было обращение не к старой суфийской верхушке, срощенной с бюрократическими структурами официального духовенства, не к джадидистам, а к «третьей силе», которую представляли на тот момент З. Расулев и его сподвижники. Задача шейха и его мюридов состояла не просто в индивидуальном спасении человеческой свободы через обращение к традиционным рецептам суфизма, то есть посредством напряжения внутренних сил и механического исполнения суфийских обрядов, но и в поиске облика «современного мусульманина», нестан-



дартных форм «перевода» индивидуального опыта на общезначимый язык социальных действий, щадящих чувство религиозного «правоверия» и в то же время адекватных новой реальности.

Жизненный путь будущего ишана был непростым. В годы учебы Зайнулла прославился своими необыкновенными способностями, силой ума и постоянным стремлением к знаниям. Окончив медресе, Зайнулла Расулев стал активно готовиться к обряду инициации в суфии, его цель была в приобщении к тайному мистическому знанию. Зайнулла Расулев дважды совершил обряд вступления в суфийское братство Накшбандийа — первоначально под руководством шейха Абдуллаха Сардалы, а затем под руководством шейха Ахмада Зияуддина Гюмюшханеви во время хаджа в Мекку в 1869 г. в Стамбуле. Вернувшись в качестве шейха-«каmil» (совершенного), он приобрел и много сторонников, и много врагов. Вспыхнувшая зависть со стороны халифов-преемников привела к обвинению его в «чудовищности», выражавшейся в форме испускания экстаических криков мюридов во время исполнения «зикра». Правительство, чтобы уменьшить влияние набравшего силу и популярность ишана, воспользовалось доносами и осудило шейха Зайнуллу: последовали арест, ссылки, продолжавшиеся восемь лет. Вернувшись на родину, он принял приглашение состоятельного Хабибуллы-бая переехать в г. Троицк и обосноваться в качестве имама, учителя и суфийского наставника. Рядом с мечетью З. Расулев устроил медресе, известное как «Расулийа», которое быстро завоевало репутацию одного из лучших учебных заведений. «Расулийа» было медресе смешанного типа, неким мостом между джадидистами и кадимистами. Организация и преподавание учебных дисциплин славилась высоким уровнем образования. Медресе имели богатые библиотеки, пользовались большой популярностью и стали центрами мусульманского просвещения и культуры. А. Бенниксен назвал «Расулию» одним из лучших академических институтов в мире мусульман.

Письменное наследие З. Расулева невелико, но, как известно, творческие потенции суфия реализуются в первую очередь в процессе подготовки мюридов. То,

что мюридов у шейха Зайнуллы было великое множество, является неоспоримым фактом. Самым известным богословским произведением шейха Зайнуллы Расулева считается «Малакат Зейния», написанное 1908 году, в период глубокого кризиса философских моделей суфийской, восточно-мусульманской («бухарской») ориентации. В своих статьях шейх Зайнулла-ишан предстает прежде всего в качестве богослова, ведущего заочную дискуссию с идеями средневекового теолога-ханбалита Ибн Таймийи (1263-1328), призывавшего «очистить» ислам от поздних «вредных нововведений». Он осуждал попытки привнесения в ислам элементов философии, отвергал культ «святых суфийских шейхов» (аулия), ангелов и практику паломничества в Медину, к могиле пророка Мухаммада. Эти идеи фундаменталистского толка были взяты на вооружение «ваххабитами», призывавшими вернуться к «первоначальному исламу» эпохи пророка Мухаммада. Ортодоксальный ислам исходил из того, что Бог абсолютно трансцендентен и никакое слияние с ним не имеет смысла.

Шейх Зайнулла Расулев, как и все суфии, верил в возможность достижения мистического единения с Богом, исходя из концепции имманентности Бога («Все из него» или «Бог везде и во всем»). Он по праву носил звание Великого шейха и «Кутб заман» (Полюс времени). Почетное звание «Кутб заман», по суфийской традиции, означает верховный «святой» суфийской иерархии, непогрешимый «наместник» (халифа) Бога на земле, «святоугодник», на которого вечно устремлен взор Аллаха. Знание «Кутб заман» нисходит непосредственно от Аллаха — его обладатель наделен сверхъестественными способностями, тайным знанием о значении букв арабского алфавита. Для своих последователей шейх Зайнулла-ишан был отсветом божественного в этом мире. Все это свидетельствует о незаурядной личности и неординарности характера его деятельности как религиозно-подвижника и мыслителя.

Х. Алгар указывает, что многие инновации в культуре и общественной жизни мусульман Урала и Поволжья того периода стали возможными благодаря влиянию З. Расулева и даже прямому вмешательству.

Миф о «естественном человеке»

В так называемую эпоху Великих Географических Открытий (которая, собственно, была таковой только для людей Запада, а для других цивилизаций планеты она являлась, скорее, началом эры западной экспансии) сформировался миф о «естественном человеке». Мы намеренно употребляем слово «миф» в его вульгарном и уже устаревшем смысле — заблуждение, несмотря на то, что в современной философии мифа давно уже пришли к другому пониманию этого термина, подразумевающему «священную традицию, первоуродное откровение и пример для подражания»¹. Согласно этому мифу, представители других, неевропейских народов, не пошедших по техническому пути развития (аборигены Австралии, Центральной и Южной Африки, индейцы обеих Америки, коренные народы севера Евразии), — не кто иные, как дикари, лишённые какой-либо цивилизации, культуры, социальных институтов, как то: государственности, семьи, более или менее усложнённой религии, и живущие, подобно животным, в полной гармонии с природой. Более того, эти дикари сохранили якобы первозданное состояние человечества, в котором некогда были и европейцы, так что ничем принципиально они от европейцев не отличаются, и потому их вполне можно «цивилизовать», для этого они лишь должны признаться над собой власть людей Запада. Наглядным примером такого отношения к этим народам является образ Пятницы из знаменитого «Робинзона Крузо» — по легко угадываемому и даже не скрываемому замыслу автора сей дикарь для того и предназначен, чтобы прислуживать «просвещённому европейцу», после того как его отучат от ужасных, варварских привычек вроде людоедства.

Любопытно заметить, что, с одной стороны, ранее, до перехода Европы в ста-

дию модерна, встречаясь с другими цивилизациями, европейцы так к ним не относились (даже знаменитое презрение греков и римлян к варварам имело иной источник — уверенность, что только греки и римляне имеют право по своему происхождению на политическую власть, на блага гражданственности, но при этом варвары воспринимались как такие же жители «железного века», а вовсе не как народы, чудом сохранившие первобытное состояние, оставшиеся в стороне от течения истории, и потому, скажем, римляне не собирались насаждать среди варваров свои порядки и удовлетворялись внешним господством), с другой стороны, и неевропейские народы, пройдя горнило вестернизации, начинают так же относиться к другим, ещё не «облагодетельствованным цивилизацией» народам (показательна разница в восприятии тюрков у русских в период самобытного Московского Царства и в эпоху вестернизированной петербургской Империи).

Но чем больше европейские ученые узнавали о жизни и нравах «примитивных народов», тем им становилось очевиднее, что доктрина «естественного человека» — именно миф. Выяснилось, что всевозможные расхожие мнения об умственной отсталости «дикарей» — всего лишь следствия высокомерия европейцев-колонизаторов и нежелания их разобратся в тонкостях жизни и психологии туземцев. Выдающийся антрополог современности Клод Леви-Строс пишет об этом, например: «Долгое время нам доставляло удовольствие ссылаться на языки, где отсутствуют термины для выражения таких понятий, как дерево или животное... Однако, привлекая на помощь эти факты для подтверждения мнимой неспособности «примитивов» к абстрактному мышлению, с самого начала упускались другие примеры... Так, в чинук, языке се-



веро-запада Северной Америки, абстрактные выражения используются для обозначения свойств, либо качеств живых существ и вещей... Предложение «Злобный мужчина убил бедного ребенка» — передается в чинук посредством: «Злоба мужчины убила бедность ребенка»². «...Впрочем, если бы замечание о так называемых примитивных языках ... пришлось воспринимать в буквальном смысле слова, мы не смогли бы прийти к заключению о недостатке общих идей: слова «дуб», «бук», «береза» и т.д. не менее абстрактные выражения, чем слово «дерево»³.

По замечанию Леви-Строса как раз обилие слов, указывающих на различные нюансы флоры и фауны, говорит о сложной структурированности картины мира носителя данного языка. Леви-Строс убедительно доказывает, что мышление «дикарей» является в строгом смысле слова научным, так как оно способно производить тончайшую классификацию окружающей природы, включая и те виды растений и животных, которые не имеют практического значения для аборигенов⁴.

Конечно, нельзя отрицать тот факт, что «примитивные народы» отстали от европейцев в отношении научно-технического прогресса, но, как показали еще ученые — сторонники цивилизационного подхода в начале XX века, само по себе это не позволяет сделать вывод о некоей их общей отсталости, ведь отставание в одной области может сочетаться с большей самобытностью в другой. Так, лингвист и философ-евразиец Н. С. Трубецкой указывает на то, что структура семьи у аборигенов Австралии и индейцев Северной Америки гораздо сложнее европейской и представляет собой изощренную знаковую систему (это следует признать безотнositельно к тому, как мы оцениваем полигамию с моральной точки зрения)⁵. Другой русский философ-евразиец, П. Н. Савицкий, ссылаясь на архитектурные достижения аборигенов острова Пасхи, говорит о том, что англичане обогнали их в технике, но влияние Англии XX века много уступает архитектуре Пасхи⁶. Мирча Элиаде — знаменитый американский исследователь традиционного общества — отказывается относить религии народов Австралии и Африки к неким «примитивным» и противопоставлять им христиан-

ство и ислам как некие высшие религии. По замечанию Элиаде, религии Австралии по своему мировоззрению, обрядовой стороне, церемониалу не менее сложны, чем традиционный христианский монотеизм — католицизм и православие (и уж, конечно, куда более сложны, чем протестантизм, чрезвычайно упрощенный в отношении обрядовости)⁷. Наконец, сами «дикари» вовсе не воспринимают себя как некие «первобытные» народы в прямом смысле слова, то есть относящиеся к первоначальной эпохе человеческой истории, напротив, они видят в себе, впрочем как и во всех остальных, людей «темного века» (и вообще им не свойственно данное, по меньшей мере странное, мнение, что какой-либо народ может остаться в стороне от «потока времени»). Одно это должно было бы заставить задуматься европейцев, зачастую и до сих пор повторяющих домыслы об «отсталых дикарях», чье развитие затормозилось на «детстве человечества».

Итак, «примитивные народы» — это не представители некоего доцивилизованного состояния, живущие на лоне природы, подобно животным. Это общества с довольно сложной структурой, культурой, религиями. Иначе говоря, это — своеобразные, даже довольно поздние, усталые цивилизации, иные по характеру, но все же не менее искусственные, чем европейская, модернистская, хотя их противостояние природе выражается не в технических инфраструктурах, а в констелляциях магически-ритуальной культуры.

Если же учитывать тот факт, что Европа за свой материальный прогресс расплатилась чудовищным духовным упадком, признание которого стало общим местом и у самих европейских интеллектуалов, возможно, мы должны будем говорить даже не о равноправии европейской и «примитивных» цивилизаций, а о «модернизационном одичании» Запада.

В этом смысле очень показательно предостеречь, что думают о европейцах сами «дикари», то есть представители сохранившихся архаичных традиционных обществ. Тот же К. Леви-Строс, помнится, говорил, что основным принципом новой, гуманистической антропологии должен быть принцип открытости любому, в том числе и западного общества для

антропологических исследований: «Возможно, наша наука вновь обретет свое место, если мы предложим африканским или миланезийским этнографам так же свободно изучать нас, как мы будем изучать их»⁸.

Итак, любому, кто хоть немного знаком со спецификой жизни этих народов, ясно: традиционному человеку европеец представляется как ... взрослый ребенок. Именно таков в традиционном обществе статус человека, не прошедшего возрастной инициации (а никаких институтов подобного рода инициации, за исключением христианской церкви, уже не пользующейся прежним влиянием, и малочисленных тайных обществ, современный Запад не сохранил). То есть средний европеец с этой точки зрения — существо, не прикоснувшееся к трансцендентному, к сердцевине бытия, не понимающее ни смысла мироздания, ни смысла своей собственной жизни, не прошедшее через второе, духовное рождение и недостойное даже носить имя. Ведь «именно при посвящении в первобытных и древних обществах человек становился таким, каким он должен быть — существом, открытым жизни духа, а следовательно, включенным в культуру»⁹.

Наш этнограф-«дикарь» также был бы безмерно удивлен привычкам европейцев употреблять наркотические вещества (табак, алкоголь, сильнодействующие искусственные наркотики) лишь для получения удовольствия, без всякой регламентации и без присмотра, ведь в традиционном обществе наркосодержащие вещества используются сугубо в ритуальных целях специально для этого обученными служителями культа и под руководством духовного наставника. Наконец, «дикарь»-этнограф был бы поистине потрясен, если бы узнал, что европеец не только не стесняется того, что личная сфера его жизни практически никак не регламентируется (давно ушли в прошлое времена, когда люди Запада в массовом порядке соблюдали сексуальные запреты, связанные, например, с христианским постом), но даже и гордится этим и видит в этом некий идеал.

Цивилизация предполагает высокую степень сложности социальной жизни. Чем больше человек возвышается над эле-

ментарными инстинктами и устремлениями, тем более он цивилизован. В этом смысле цивилизация начинается с табу, запрета, ограничения инстинкта. И если мы будем учитывать такую постановку вопроса, то «дикарь» совершенно прав: истинным дикарем является не он — туземец, чья жизнь строго регламентирована и всякий запрет осмыслен и трактуется через духовную культуру, религию, мифологию, нет, истинный дикарь — именно «просвещенный европеец», руководствующийся в жизни лишь эгоистическими инстинктами и капризами, не знающий сверхчеловеческого смысла своей жизни в силу своей оторванности от живой религиозной традиции. И общество, которое создает обмирщенный европеец, гораздо более неустойчиво, близко скорее к хаосу, чем к порядку. Мир модерна постоянно потрясается революциями, кризисами, болезненность для него — почти что норма, тогда как мир Традиции стоит как монолит многие и многие века и тысячелетия (тот факт, что традиционные народы и племена исчезают, вовсе не свидетельствует об их нежизнеспособности, они исчезают только тогда, когда уничтожается их естественная среда; скажем, индейцы-охотники вымирают, если европейцы вырубают лес, где они жили, ведь лес им давал не только пищу, он был их миром, где существовали их боги, их тотемы, с лесом была связана вся жизнь племени; это сравнимо с тем, как если бы в современном городе исчезли электричество, транспорт, водоснабжение и т.д.).

Вместе с тем доктрина традиционализма требует признать, что все общества наших дней являются вырожденными и упадочными по отношению к обществу начала нашего эона, Золотого Века. На наш взгляд, это действительно так, общество аборигенов Океании тоже является в известном смысле современным, оно не законсервировало жизнь и дух прошедших времен, оно тоже по-своему развивается и развивается — в направлении, которое едино для всех в земном мире — к концу истории. Просто общество Запада дальше всех продвинулось в этом вырождении, поскольку совершило качественно новый шаг — сознательно и радикально разорвало со своим традиционным прошлым и попыталось обустроить жизнь на



совершенно иных принципах, нежели те, на которых строилась жизнь всех человеческих цивилизаций с начала времен. Речь идет о модернистской революции, противопоставившей традиционным ценностям ценности индивидуализма, светской рациональности, прогрессизма, эгалитаризма и т.д. Современные либеральные идеологи любят упрекнуть русских в склонности к социальным экспериментам и в отклонении от «столбовой дорожки цивилизации». На самом деле именно Запад первым ступил на путь сомнительного социального эксперимента в эпоху Возрождения и Нового времени, и именно западное, модернистское, капиталистическое общество есть невиданная патология по отношению ко всей прежней человеческой истории — как западной, так и восточной, норма же — общество традиционное.

С чем же связаны происхождение и живучесть мифа о естественном человеке? Мы можем высказать на этот счет некоторое предположение, конечно не претендуя на окончательную истину. Известен следующий психологический феномен: свои собственные недостатки человек экстраполирует на других, так что в ближнем мы наиболее непримиримы к тем свойствам характера, которые есть и у нас. На уровне же общества схожий феномен описывается современной западной философией при помощи понятия «идеология». Идеология — это не объективная самоидентификация общества, это ложное сознание, на нем оставляет неизгла-

димый отпечаток условия самого этого общества. Если уметь правильно читать идеологию, то она больше скажет об обществе, ее породившем, когда будет критиковать другие общества. Приведем в пример любопытный факт: в годы «холодной войны» американская пропаганда характеризовала советскую Россию как общество самого приземленного материализма и прагматизма, вызванного безбожием. А советская пропаганда характеризовала капиталистическую Америку как общество, где в основной массе господствует бедность. Легко заметить, что это не соответствовало действительности: как раз советские люди, в отличие от американцев, при всем своем атеизме были настроены возвышенно и романтически, и как раз в Америке даже низшие слои населения жили в смысле материальном вполне благополучно. Как видим, каждая из сверхдержав в своей пропаганде переносила на другую свои собственные недостатки, да еще и в сильно утрированном виде.

Точно так же и в случае с мифом о естественном человеке. Возможно, европеец эпохи географических открытий, еще живо ощущавший свой разрыв с духовным богатством собственной традиции и Традиции вообще, эту свою новоявленную модернизационную дикость переносил на встретившихся ему аборигенов (кстати, если мы вспомним, как вели себя испанцы и португальцы на территориях новых колоний, то слова об их дикости, ей богу, не покажутся преувеличением)...

¹ М. Элиаде. *Аспекты мифа*. М., 2000, с. 7.

² К. Леви-Строс. *Неприрученная мысль*. / К. Леви-Строс «Первобытное мышление». М., 1994, с. 113.

³ К. Леви-Строс. *Указ. соч.*, с. 114.

⁴ Там же, с. 119.

⁵ См. работу Н. С. Трубецкого «Европа и человечество».

⁶ П. Н. Савицкий. *Континент Евразия*. М., 1997.

⁷ См. его работу «Очерки сравнительного религиоведения». М., 2000.

⁸ К. Леви-Строс. *Указ. соч.*, с. 35.

⁹ М. Элиаде. *Тайные общества: обряды инициации и посвящения*. Киев, 2002, с. 27.

Доктор от Бога

К 85-летию В. А. Скачилова

*Не говори с тоской: он умер,
А с благодарностью: он жил.*

Мое знакомство с Волей Скачиловым произошло в печально известном 1937-м. В пятый класс 26-й неполной средней школы я поступил после окончания татарской начальной школы, располагавшейся в здании Хакимовской мечети, что на улице Социалистической (ныне Мустая Карима). Коренастый крепыш, Володя казался драчуном, но это, скорее всего, была вынужденная бравада, чтобы не впасть в уныние: в детстве он много перенес из-за болезни ноги, в одной руке у него всегда был костыль, в другой — палка. До самой смерти Владимира Анатольевича наедине мы обращались друг к другу панибратски: я звал его Скачей, а он меня — Муратик (больше никто меня так не называл).

Имя Владимира Анатольевича Скачилова, который четверть века возглавлял нашу правительственную больницу, хорошо знакомо тем, кто пользовался услугами этого привилегированного медицинского учреждения. Но кроме того, Владимир Анатольевич был страстным краеведом. Да собственно любовь к родному краю, страстное увлечение краеведением и сблизили нас. Он досконально знал чуть ли не всех деятелей медицины, истории, революции, культуры и искусства нашей республики. Не случайно его успехи в башкирском краеведении были высоко оценены: в 1979 году он стал лауреатом уральской премии имени В. П. Бирюкова. Может, конечно, я преувеличиваю, но для него, мне кажется, признание его заслуг в краеведении было едва ли не важнее прежних достижений в медицине. Во всяком случае, кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом РСФСР и БАССР он стал го-

раздо раньше. Кстати, Бирюковская премия Владимиру Анатольевичу была присуждена за второе издание книги «Люди подвига и долга» (первое вышло в 1973 году) — о врачах Башкирии, о развитии здравоохранения в Уфимской губернии в XIX—XX веках (до и после Октябрьской революции).

Свободно владея исследуемым материалом, В. А. Скачилов с особой симпатией, я бы даже сказал с любовью, пишет о замечательных врачамемуаристах. Анна Ивановна Веретенникова, например, по зову сердца приехала в 70-х годах XIX века в глухой Белебеевский уезд Уфимской губернии. Не считаясь со временем, бытовыми неудобствами, не щадя своего здоровья, она бесплатно лечила всех страждущих, больше того, тратила на это чуть ли не весь свой заработок. Не случайно, беззаветно преданная своей профессии, Анна Ивановна Веретенникова сама в 32 года умерла от чахотки. О своей работе в Уфимской губернии она оставила интересные воспоминания — «Записки земского врача». Этот труд, свидетельствующий о несомненном таланте автора, был в середине прошлого века впервые напечатан в лучшем тогда советском журнале «Новый мир». Незадолго до смерти Владимир Анатольевич Скачилов добился издания «Записок» в Уфе, снабдив их своими комментариями.

В советское время вся власть в республике принадлежала обкому партии. Как руководитель правительственной больницы Владимир Анатольевич был вхож и в высокие обкомовские кабинеты. И, следовательно, был «пробивной» силой: периодически добивался разрешения издать краеведческий сборник. Редактирование материалов было доверено мне. Привлекали еще двух-трех



краеведов и готовили неказистые на вид, небольшие сборники. Удалось издать сборники «По тропам былого» (1980), «Поиски и находки» (1984), «Сохраним выцветшие строки» (1988), через долгих девять лет — великолепно оформленную и богатую по содержанию солидную книжку «Живая память», среди авторов которой были и профессора, и академики. Владимиру Анатольевичу, к великому сожалению, не суждено было порадоваться выходу ее в свет. Слишком много сил и здоровья мы потратили с ним, обивая пороги директорского кабинета издательства. В последующие годы даже мечтать о краеведческом сборнике стало непозволительной роскошью.

Потеряв лучшего друга, надломился и я. Мы не только дружили семьями, но были надежной опорой друг другу при всяческих житейских невзгодах. Приведу лишь несколько примеров. Весной 1982 года во время сеанса электротерапии потеряла сознание моя жена. Владимир Анатольевич немедленно отправил ее в республиканскую больницу, где мою жену буквально вытащили с того света. В том же злосчастном 1982-м, поставив всех опытейших педиатров «на уши», Владимир Анатольевич спас нашего трехмесячного внука, который в больнице на улице Запотоцкого таял на глазах. А в 1990-м году, во время фенольной катастрофы, меня, чуть живого, увез в 8-ю больницу, где талантливые доктора-профессионалы за месяц поставили на ноги. Мог бы продолжить и дальше, но это будет уже скучно...

Доктор от Бога, Владимир Анатольевич обладал главным, на мой взгляд, качеством как целитель: он умел внимательно слушать пациента, и это помогало больному подробно рассказать о своей болезни, что для постановки диагноза, мне кажется, уже половина успеха. И последний пример. Около двадцати лет тому назад по ошибочному диагнозу мне была сделана сложная операция. Понадобилось полгода, чтобы оправиться от навязанной мне болезни. Чуть ли не ежедневно звонил по вечерам другу Скаче. Он не только советовал принять то или иное лекарство, но, подобно умному дипломату, переводил беседу совсем в

другое русло: начинали говорить о проблемах очередного краеведческого сборника, и двадцатиминутная беседа на интересующую нас обоих тему как-то незаметно приглушала болевой синдром, и нередко отпадала необходимость в приеме очередного лекарства. Умение участливо выслушать пациента и дать нужный совет — вот, пожалуй, основная тактика В. А. Скачилова, которая дорогого стоит. Что греха таить, теперь нередко жизнь человека перестает волновать не только власть предрежащих, но и некоторых работников здравоохранения.

...7-го февраля 1996-го года отмечала свои юбилей фольклорист Фануза Надыршина (мы с ней более десяти лет работали вместе в Институте истории, языка и литературы). Вечер прошел мажорно. Короче, в хорошем настроении вернулся домой. Сказали: звонили от Скачиловых. Позвонил и сразу отрезвел: умер Владимир Анатольевич. Буквально за пару недель мы с В. В. Латыповой посетили больного. Он лично передал дорогие ему реликвии в архив. Наедине со мной сказал грустно: «Не думал, что придется так умирать...» Но не пояснил: вошли люди. Думается, он сожалел, что не сможет подержать в руках наш совместный труд — сборник «Живая память».

После бессонной ночи поехал в редакцию «Вечерней Уфы». В отделе писем меня сочувственно встретили милые Лилия Перцева, Тамара Рыбченко-Нефедова (обеих, к глубокому огорчению, уже нет в живых) и Надежда Игнатенко. Вскоре пришла Алла Анатольевна Докучаева, чуть раньше девяти уже был на месте и Явдат Бахтиярович Хусаинов, главный редактор. По моей просьбе именно в тот день на первой полосе газеты поместили небольшую заметку (вроде некролога) — 8-го февраля: «Ушел из жизни Владимир Анатольевич Скачилов. Врач милостью Божьей...».

На похоронах, когда члены семьи раздавали всем пришедшим газету с моим соболезнованием, мне передали, что высокое начальство недовольно тем, что какой-то Рахимкулов опередил появление официального некролога. Возможно, и главному сделали замечание,

но он мне ничего не сказал: благо мы с ним были на «ты» еще с тех времен, когда он работал заместителем главного редактора газеты «Ленинец». Еще тогда Я. Б. Хусаинов охотно печатал мои литературно-краеведческие статьи. А с первых номеров новорожденной «Вечерки» часто печатал мои материалы.

Уже 12 лет как нет моего коллеги по общему увлечению, которое он всегда называл краелюбием. А ведь любовь к родному краю и есть патриотизм в самом высоком значении этого слова.

P.S. Воспоминания В. А. Скачилова «О прожитом, о пережитом» журнал «Бельские просторы» публиковал в 2003 году.

Два поэта

Николай Грахов

«РУССКИЙ СОН» И ДРУГИЕ

Владимир Денисов. Не повторяются наши лица... Стихи, поэма, переводы. Издательство «Китап» имени Зайнаб Бишевой, — Уфа, 2008

Новая книга стихов, недавно увидевшая свет в издательстве «Китап», стала своеобразной итоговой книжкой известного в нашей республике поэта, отметившего свое пятидесятипятилетие. Стихи, поэма и переводы, составившие сборник, написаны в разное время. Привлекает же внимание то, что все они пронизаны духом времени момента их написания, и взявший в руки сборник читатель невольно совершит путешествие по времени нескольких последних десятилетий, как вместе с автором, так и со всей нашей огромной страной, которую в эти последние десятилетия бросало из одной крайности в другую.

Поэт родился и провел молодость в Свердловске. Затем, после окончания службы в армии, прибыл в Москву и окончил Литературный институт им. А. М. Горького. После этого десятилетие работал на Сахалине. Шоферил, работал художником, писал стихи, занимался журналистикой. Уже приехав в Уфу, был и водителем троллейбуса, и журналистом, да и сейчас трудится главным редактором многотиражки. Вся жизнь Владимира протекает среди простых тружеников, поэт не понаслышке знает о заботах и чаяниях нашего народа и вместе с ним мучительно ищет пути восстановления нашей Родины, столь потрепанной в метаниях последних десятилетий... Все это не могло не найти своего места в его творчестве.

Вспоминает ли поэт о пятидесятых годах прошлого теперь уже века, когда он только еще начинал вглядываться в окру-

жающий мир совсем юным мальчишкой, или смотрит на этот мир уже с позиции и знания жизни теперешнего времени – мир этот заполнен «флорой и фауной», строго вглядывающейся в него, героя нашего времени. И далеко не всегда эта «флора и фауна» одобряет мысли и деяния героя, впрочем, как и он сам, будучи поэтом и просто совестливым человеком.

Состав сборника очень разнообразен: в него вошли и ранние, еще несущие на себе печать ученичества, нигде до этого не публиковавшиеся стихи, и стихи, ранее отклоненные издательствами по различным идеологическим соображениям. Много в сборнике зрелых вещей, занявших свое прочное положение в творчестве автора; большое место уделено и стихам последнего времени. Хотелось бы отметить, что «ученических опытов» немного, и все они несут на себе печать уже начавшего тогда проявляться истинного лица поэта.

В частной беседе о творчестве автора давний член СП, литературовед М. Г. Рахимкулов обратил мое внимание на то, что в своем творчестве, в своем профессиональном умении владеть словом Денисов умудряется сочетать и гражданский пафос стихов Владимира Маяковского, и лирическую обаятельность и незащищенность творческой души Сергея Есенина. Это, конечно, очень высокая оценка, но, вновь обратившись к творчеству Владимира Денисова и перечитывая его стихи, я соглашаюсь с ней. Наверное, вездливый любитель поэзии отыщет в творчестве поэта следы влияния более близких нам по времени признанных больших поэтов Николая Рубцова и Юрия Кузнецова. На это можно ответить, что следы эти получили свое развитие уже на другом, переосмысленном самим поэтом уровне, они

выстраданы, оплачены трудом и поэтической судьбой претворившего их в жизнь автора. А это значит, что судьба его великих предшественников продолжается.

Поэзия Владимира Денисова – социальна. Совсем не случайно то, что самая большая вещь, включенная в сборник, – поэма «Русский сон» – имеет подзаголовок: «социальная поэма». С удовольствием перечитываю ее, смакуя некоторые особо удавшиеся и мастерски написанные строфы. Хотелось бы, чтобы на эту поэму обратил особое внимание каждый, взявший в руки эту книгу. Пожалуй, впервые за много лет читателю доведется в этой поэме столкнуться с самим собой, со своими собственными раздумьями о судьбе Родины, ибо вряд ли можно будет найти у нас хотя бы одного человека, который не задавал бы самому себе те же самые вопросы, которые так мучают автора. Куда, к чему идет наша страна? И все тот же извечный вопрос России: кому живется весело, вольготно на Руси? Почему жители нашей богатейшей страны до сих пор живут в нищете и мерзости? Справедливо пишет в предисловии к сборнику уже упоминавшийся здесь известный далеко за пределами нашей республики литературовед Мурат Галимович Рахимкулов о «продолжении некрасовских традиций поиска правды, счастья и лучшей доли на этой

земле человека из народа, простого труженника»...

Мне довелось услышать пару упреков в адрес стихов Денисова со стороны уже других литераторов: ежели так хочется выступить на социальные темы, то пиши статьи и выступай с ними в газетах. Но дело в том, что журналистика и поэзия суть вещи разные, у них разные задачи, разные способы и методы решения этих задач. Поэзия обращается к каждому из нас индивидуально и заставляет каждого становиться не только доверительным собеседником, но и соучастником великого осмысления нашего существования в этом бренном мире. Мне верится, что поэзии Владимира Денисова это удастся вполне.

Все же не удержусь и процитирую хотя бы начальную строфу стихотворения Денисова, вынесенного поэтом на обложку книги:

*Не повторятся наши лица:
Деревья, тучи и вода –
Все в этом мире повторится,
А наши лица – никогда...*

Очень хотелось бы, чтобы с неповторимым поэтическим лицом автора встретилось как можно больше благодарных читателей...

Игорь Фролов

РЫЖИЙ, НО НЕ КОНОПАТЫЙ **Поэт в жизни и после нее**

Я помню появление свердловского поэта Бориса Рыжего на большой печатной сцене – честно скажу, тогда не понял масштабы шума вокруг имени. Читал, когда попадались стихи. Да, поэт, да, Есенин из промышленного квартала, – ну и что? Каждому поколению нужен свой Есенин, свой Мандельштам... Хотя последний вряд ли так сильно нужен, а вот первый является с завидной периодичностью. Это такая фигура, в которой пересекаются интеллигенция и народ – если хотите, сознательное с бессознательным (уровни общественного разума), – и всем любо. Да еще славню, что недолго, но ярко живет такой поэт, – можно побыть совре-

менником, а потом и помемуарить. Борис Рыжий – явление такого рода. Молодой, из провинции, талантлив, замечен, вознесен и на пике славы, в возрасте Лермонтова, покончил со всем сам.

Если всмотреться, то можно увидеть – Рыжий был не столько Есениным, сколько советским по стилю поэтом, просто время позволило эту тематику выплеснуть. Рубцову не повезло с временами, которые, как известно, не выбирают, – а то бы и он развернулся по полной.

Я имею в виду тему, которая так восторгает нашу элитную поэтическую интеллигенцию и роднит ее с народом. Вот только народ пьет, чтобы скрасить свое



бессмысленное время от работы до работы, а интеллигенция — она, как мы знаем, пьет от страдания, от невыносимости бытия засуху. У нее ведь нет иных методов пострадать, если она не на лесоповале. Чтобы писать стихи, нужно познать рай и ад, а как их в нормальной жизни познаешь, да когда жена, да ребенок, будь они неладны, свободы нет, работать надо, а вокруг одни ублюдки...

*Господи, это я
мая второго дня.
— Кто эти идиоты?
Это мои друзья.*

А давайте, раз уж подвернулись, отвлечемся на них, на друзей. Был у уральского Есенина и свой Мариенгоф. Это же ему Рыжий писал:

*...белою ночью под окнами Блока,
друг дорогой, вспоминать о тебе!*

Конечно, друг дорогой выдал свои воспоминания после смерти Б. Р. Интересно, «Знамя» опубликовало литературно никакие, но полные тщеславия записки, оттого что это о Рыжем, или потому что автор их — самостоятельная ценность? Меня это всегда в таких случаях интересует.

Там автор много чего понаписал, но пока выдернем вот это:

«Но не было дня, слышишь, Боря, не было за эти чертовы четыре года ни одного дня, чтобы я не вспомнил о тебе. Сажу меж юношей безумных, еду ли ночью по улице темной, дергаюсь ли, увидев свое отражение в окне, в вагоне метро, где провожу два часа в день, а стало быть почти четверо суток в месяц или месяц в год. Стою ли в очереди в “Билле” вечером, набрав к ужину того-сего в юркую сетчатую корзину на колесиках (увеличивает продажи в супермаркетах самообслуживания на пятьдесят процентов), я думаю о тебе».

Корзинка на колесиках увеличивает продажи. Как и известный лэйбл, наклеенный на неизвестный товар.

Помимо этой приторно-притворной любви к мертвому другу (апостольская классика), начитанный прочитает (спасибо, недавно Прилепин напомнил): «Милый Толя. Если б ты знал, как вооб-

ще грустно, то не думал бы, что я забыл тебя, и не сомневался... в моей любви к тебе. Каждый день, каждый час, и ложась спать, и вставая, я говорю: сейчас Мариенгоф в магазине, сейчас пришел домой... и т. д., и т. д.»

Так кто тут Есенин, а кто Мариенгоф? Странные гипертекстовые совпадения. Или всего лишь совпадения, что тоже бывает сплошь и рядом. Ну да ладно, мы еще вернемся к поцелуйному другу...

...А пока читаю стихи. Да, хороший советский поэт — судя по евклидовой геометрии стиха, его понятной и простой линейности. Что касается содержания, то и тут не ново — одно из решений все того же страдательного уравнения. Подставляем начальные и граничные условия — свердловская промзона, водка, детство, дворы — и получаем как решение:

*Пойду в общагу ПТУ,
гусар, повеса из повес.
Меня обуют на мосту
три ухаха из ППС.
И я услышу поутру,
очнувшись головой на свае:
трамваи едут по нутру,
под мостом дребезжат трамваи.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.*

(Две крайних строчки вдруг коснулись какой-то не той зоны мозга, зазвучал голос Пригова...)

Это одно из первых опубликованных. Оно еще не прямо страдательно, а опосредованно, — это есенинские «красные сапожки» (или косоворотка — не помню уже), в которых провинциальный поэт Рыжий вступил в поэтический «свет» страны. Тот «свет» как раз познал хаос 90-х, распад и раздраз, и тут вдруг — как вовремя! — явился парень из глубинки, «с Уралу», из первородного ужаса, из гнезда народной бездуховности, вопреки которой живет угнетаемая народом, стиснутая этим народом творческая интеллигенция, живет, страдает и творит, презирая и боясь. И этот рожденный в эсэсэсэре вдруг оказывается тонким изящным портным, чудом шьющим из грязной мешковины уральских буден что-то трепещущее и тонкое. Свердловская шпана, боксер, шрамоносец, хулиган — самородок! Его устами

говорит скорбная расейская поэзия, а он и не ведает, что творит, что творит...

Кстати, если вам уже кажется, что я ругаю поэта Рыжего, — то совсем даже нет. Я еще и сам не знаю, о чем я. Наверное, в первую очередь о методологии мифа вообще. А во вторую — о поэте как жертве Аполлона.

Да, дети Арбата или Литейного всегда любили талантливых урок — ну или фальшивых урок, — всегда с удовольствием подхватывали блатные и матерные. Естественно, большая часть этого творчества — имитация, сувенирные такие ножички-перышки. Интеллигент, попавший в среду, делает из нее искусство.

Вот и тут, если заглянуть в глазок мифа, увидим нормального книжного мальчика, сына горного инженера (а потом папа стал академиком, если не врут источники), в семье которого жила литература; увидим Бориса — студента Горной академии, потом аспиранта, потом автора нескольких научных работ. Читая письма к Ларисе Миллер, видим тонкого интеллигента, совершенно «своего», книжного, эстета.

Но этот эстет писал:

*Вот здесь я жил давным-давно —
смотрел кино, пинал говно
и пьяный выходил в окно.
В окошко пьяный выходил,
бурил, матом говорил
и правился себе и жил.
Жил-был и правился себе
с окурком «БАМа» на губе.*

А что до боксера (чемпион города в «юношах»), то это был умный (может, и папин) ход — перчатки вместо шаблонной скрипки.

*...Вспоминается мне этот маленький двор,
длинноносый мальчишка,
что хнычет, чуть тронешь,
и на финочке Вашей красивый узор:
— Подарю тебе скоро (не вышло!),
жиденьши.*

Дядя Вася как крестный отец русскоязычных поэтов — значит, и всей великой русской поэзии...

Потом, когда скрипку обменяли на перчатки, — кто бы, спрашивается, захо-

тел повторить это «жиденьши» (звучит здесь как детеныш человеческий в «Маугли» и эхом продолжается дальше, к сыну человеческому, который естественно возникнет и у Рыжего, как возникал у всех поэтов; сколько поэтов, столько мессий), — кто захочет повторить, тот получит в торце хуком справа или слева. Есть об этом в воспоминаниях любимого друга.

Итак, если коротко и условно, то стал детеныш человеческий вожаком стаи. Таков миф о лирическом герое, который (миф) естественным образом переходит на автора. Особенно когда автор живет как истинный, нет, истый (Казарин) поэт — вот он уже и не спортсмен и не ученый — он свободен, он пьет и дебоширит, потому что, как и положено поэту, страдает. Это страдание в России даже не надо обосновывать и доказательно объяснять. За тебя все сделают. Ну, к примеру, Андрей Высоков (предельно честен): «Поэзия — это не «состояние души» в расхожем понимании, не ее те или другие свойства, но совершенная души обнаженность, незащищенность... Всем страшно жить, стареть, всем одиноко, всем больно любить и больно терять любовь и близких, больно равнодушно встречаться глазами и расставаться, завязывать шнурки и глупо хохотать над анекдотом. Все с ужасом молча смотрят в грязное троллейбусное окно, с ужасом пьют на службе кофе... Но все свыклись с этим, сжились, научились смотреть на это как на естественный и неизбежный ход событий».

Хочется ответить сразу, но кроме контркультурных слов ничего на языке не вертится. Да, поэты ходят пятками по лезвию ножа. А мы, привыкшие, естественно, в сапогах. Я сейчас прокомментирую, вот только успокоюсь немного.

Для успокоения процитирую тоже поэта, но умного, — Юрия Казарина. Хотя он и говорит почти про то же самое: «У поэта родовая травма — душевная, или врожденная душевная травма: такое состояние является нормой для него». Но он в статье о народном поэте Борисе Рыжем странным образом выводит, что поэт еще не является человеком: «Категория Всеведения поэта, о которой в начале XX века вспомнил Александр Блок, может легко и незаметно трансформироваться в категорию Вседозволенности, так как поэт,



учась быть человеком, все-таки постоянно находится в процессе углубления и расширения языкового стресса, который принято называть поэтической одаренностью или поэтическим талантом». Конечно, недочеловечность поэта (я еще не человек, я только учусь) — оговорка, но я за нее зацеплюсь...

Статьи Казарина о Рыжем наполнены почти нескрываемым вторым смыслом, — временами он становится первым. Видно, что отношения двух поэтов — старшего и младшего — были напряженными. Я бы сравнил их с отношениями офицера поэзии и ее солдата-самовольщика, с тягой первого к строю, а второго — к ленивой и бессмысленной вольнице. Оба в моем сравнении лишены минусов, присущих этим армейским категориям, — только плюсы. Две половинки поэзии — аполлоническая и дионисийская, разнесенные в конфигурационном пространстве поэзии. Любил ли Аполлон Диониса? Нет, точнее так: любил ли Аполлон Марсия?

Это сравнение не значит, что К. содрал кожу с Р. Но... Жаль, нет у меня под рукой книги Юрия Казарина со стихотворением, посвященным Б. Р., которое заканчивается символом «Пластмассовый стаканчик на городском снегу» (если правильно помню — а в Сети что-то не обнаруживается). У Казарина есть намеки, что Рыжий исчерпал свою хулиганско-городскую поэтику, а к новой не вышел. В этом символе (одноразовый стаканчик с бурными каплями портвейна русской поэзии), как мне кажется, сказано все, что думает офицер о солдате, который в конечном итоге вообще дезертировал...

Да, чуть не забыл о комментарии к послы об ужасе повседневного существования в этом лучшем из миров, к которому привыкают обычные люди, но никак не Поэт. Тут-то и пригодится открытие Казарина о поэтической недочеловечности (опять же имею в виду «настоящих», у которых нахлынут горлом и убьют). Нет, мы (которые нормальные) не привыкаем к ужасам. Мы, кроме ужасов, видим в жизни ее хорошую, светлую сторону, мы вращаемся вокруг этой круглой жизни по замкнутой орбите, пролетая мимо зависших над ее темной стороной истых поэтов. Над светлой стороной тоже есть свои стационарные спутники — вечно ве-

селые и оптимистичные больные. Первые, в отличие от вторых, очень сложно и тонко устроены. Это две половинки нормального человека — чистая феминность (пессимизм) и чистая маскулинность.

Развивая мысль, возвращаясь к Казарину — он неисчерпаем (и один из двух моих самых любимых поэтов, чтобы не подумали, что я стебаюсь). Он сказал по поводу Рыжего: «Как-то поэт Геннадий Русаков произнес тогда еще не совсем понятную мне, а сегодня абсолютно ясную фразу: “Поэзия — дело мужское, кровавое...”». Конечно, Казарин как мужчина и как поэт подписывается под таким определением миссии. Можно мне как прозаiku с душой, обутый в сапоги, понизить и опустить, — особенно с учетом открытой феминности истой поэзии? И сказать обратное: поэзия — дело женское, кровавое. В смысле строк Светы Хвостенко «Кровью созревающей брызну, перельется жизнь через края». Эта угнетенность и неумение радоваться собственной среднестатистической женщине в определенные дни и обозначается аббревиатурой ПМС. Здесь пролив собственной крови есть освобождение от страдания. Стихи вообще сущность циклическая, высокочастотная — колебательный контур крови и души, управляемый все той же Луной. При чем здесь мужские дела — типа войны или хоккея...

Я, конечно, перебарщиваю ради красного словца и от раздражения. А если честно — что думаю я о Поэте, который есть обнаженный нерв общества? Мое мнение, конечно, не играет, но тем не менее. Просто я таких наблюдал близко, принимал участие и пр. И они говорили, роняя пьяную слону: о знал бы ты, сколько во мне силы, и она все копится, и если что-то не сделать, она взорвет меня... А вот после запоя слаб, как после бани, и надо восстанавливаться, дурная сила ушла, зато стихи сейчас будут... Но это и убивает. О как тяжело в этом мире, где ты всем должен, обязан, а я — Поэт!..

Пока Поэт (которого я нежно люблю) колобродит, я скажу очередную гадость. Эту болезнь лечит только работа. Физический труд — лучшее лекарство от больной души. На самом деле все эти показные страдания — они все снаружи — грим страдальца — для того, чтобы беднягу

жалели и разрешали ему плевать на всех и вся. И знаю, что честен Рыжий в признании:

*Только в песнях страдал и любил.
И права, вероятно, Ирина —
чьи-то книги читал, много пил
и не видел неделями сына.*

Поэт такого типа (опять общие расхождения, а не пофамильные) и правда не человек еще. Не взрослый человек. Душа его застряла в детстве и не хочет из него, теплого, вылезать. А тело все матерееет и матерееет, вызывая женскую тоску утекающего кровью времени. И когда этот разрыв становится критическим, наступает понимание — у талантливых и честных перед собой:

*А теперь кто дантист, кто говно
и владелец нескромного клуба.
Идиоты. А мне все равно.
Обнимаю, целую вас в губы.
И иду, как по Дублину Джойс,
сморданный ветер вдыхаю до боли.
I am loved. That is why I rejoice.
I remember my childhood only.*

Все перевели, чему он радуется? «Я помню лишь свое детство». А они — то бишь мы (ведь ряд профессий можно протянуть до честного ассенизатора) — идиоты, устремленные в будущее, к смерти. Это нормально, это компенсация, потому что на самом деле не мы, а он чувствует себя идиотом в общей системе координат. И можно всех обогнать, если пуститься вспять...

И еще:

*Мальчишкой в серой кепочке остаться,
самим собой, короче говоря.
Меж правдою и вымыслом слоняться
по облетевшим листьям сентября.*

Самим собой — это детство, почти чистый еще лист, на котором воображение пишет симпатическими чернилами то самое «меж вымыслом и правдой». Все лучшее — до того, как начал адаптироваться к окружающей жизни, вращаться в нее, как дерево в чугунную ограду. Адаптировался, врос, но так и не привык. Одел свою детскую душу взрослым мифом, который, как оказалось, не греет.

Да и правду ли он говорил окружающим его идиотам? Ведь идиотам можно и врать. Опять же, лирический герой — не автор, да? И миф может быть только придуманным мифом.

Кстати, а что там писал честный и преданный друг? А друг зачем-то решил разрушить миф, тобою созданный. И вообще, друг на то и друг, чтобы быть честным, чтобы показать не миф, а простого, слабого человека. Такого же, как ты и я. Это же несправедливо — вместе, понимаешь, боролись на фронтах поэзии, а вот ему Героя, а я неизвестен. Тем более что равен по таланту (а то и — реплика в сторону — выше!). Поэтому надо написать:

«Звездной болезнью ты заболел серьезно, чего там. Хотел и любил командовать. Поэзия — это армия, эту милитаристскую теорию Слуцкого мы знали как отче наш. Проступили отцовские замашки — холодность в общении с проштрафившимися литераторами-подчиненными, повисающие паузы в разговоре, который ты не считал нужным поддерживать, и прочее в том же духе. Чтобы была настоящая слава, говорил ты, нужен человек тридцать идиотов, которые будут ходить по салонам и орать твои стихи. Да вот закавыка — в Екатеринбурге не набрать столько, очень уж тонок культурный слой, очень уж беден. Значит, надо ехать в Москву, ничего не поделаешь.

...И вообще, сколько можно, блин, закатывать дурацкие истерики. «Я гений, я Моцарт!» Мы-то тоже не пальцем деланы, между прочим, и руку нам тоже жали уважаемые поэты».

Вона оказывается как! Да это прямо фамильная самоуверенность. Рыжий — якобы конвертированное Рудый. А один Рудый Панько тоже кричал в молодости: «Я совершу!». И совершил...

Орать по салонам — это 20-е годы прошлого века. Нынешние идиоты орут в печати. Теперь все, кто поддерживал Рыжего, кто рекомендовал, печатал его и о нем, — все они, загибая пальцы, должны считать до тридцати...

А то, что вам руку жали известные поэты, так талант при рукопожатии не передается. Это врожденная болезнь.

Теперь насчет мифа о вожжаке стаи: «Однажды один персонаж подвалил и спросил огоньку. Мы шли из редакции



«Урала» к тебе мимо рынка, так было ближе. Ты протянул ему сигарету. Черт прикуривал намеренно долго и все спрашивал, кто мы да откуда. Давай прикуривай короче, оборвал ты. Он отвалил — тебя колотило. Глаза выдают, с досадой усмехнулся ты. Слишком добрые».

А вдруг и это не вся правда? Вдруг этот черт еще и побил двух друзей-поэтов?

А еще, по словам друга, ты боялся заразы, все время мыл руки «после каждой дверной ручки». Хорошо еще без маски ходил, думаю я, как твой коллега по знаку Зодиака «белый» Майкл Джексон. Осенние знаки вообще брезгливы и пугливы, любят носить маски...

Да что там поцелуй друга, если сам автор не скрыл:

*Мой герой ускользает во тьму,
вслед за ним устремляются трое.
Я придумал его, потому
что поэту не в кайф без героя.
Я его сочинил от усталости,
что ли, еще от желанья
быть услышанным, что ли, читателю
в кайф, грехам в оправдание.
Он бездельничал, «Русскую» пил,
он шмонался по паркам туманным.
Я за чтением зренье садил
да коверкал язык иностранным.
Мне бы как-нибудь дошкандыбать
до посмертной серебряной ренты,
а ему, дармоеду, плевать
на аплодисменты.
Это, бей его, ребя! Душа
без посредников сможет отныне
кое с кем объясниться в пустыне
лишь посредством карандаша.
Воротник поднимаю пальто,
закурив предварительно: время
твое вышло, мочи его, ребя,
он — никто.*

И не только собственный миф распался. Был миф об Олимпе, куда его так тянуло. И он взлетел на него. И вместо богов, которые по-родительски возлюбят «приемного сына русской поэзии», удовлетворят его тоску по своей детскости, по раю, он увидел там тех же промзоновских персонажей:

*До пупа сорвав обноски,
с нар полезли фраера,
на спине Иосиф Бродский*

*напортачен у бугра.
Начинаются разборки
за понятия, за наколки.
Разрываю сальный ворот:
душу мне не береди.
Профиль Слуцкого наколол
на седеющей груди.*

И какая разница, кто бугор — Евгений, «учитель» Иосифа, или Александр, все жгущий несгораемое «Письмо в оазис». Олимпийский миф рухнул с грохотом камнепада.

И что делать? Может быть, так:

*Зеленый змий мне преградил дорогу
к таким непоборимым высотам,
что я твержу порою: слава богу,
что я не там.
Он рек мне, змий, на солнце очи шуря:
вот ты поэт, а я зеленый змей,
закуривай, присядь со мною, керя,
водяру пей;
там наверху вертлявые драконы
пускают дым, беснуются — скоты,
иди в свои промышленные зоны,
давай на «ты».
Ступай, он рек, вали и жги глаголом
сердца людей, простых Марусь и Вася,
раз в месяц наливаясь алкоголем,
неделю квась.
Так он сказал, и вот я здесь, ребята,
в дурацком парке радуюсь цветам
и девушкам, а им того и надо,
что я не там.*

Но разве кто-то опроверг закон, открытый Дж. Лондоном, подтвержденный его М. Иденом? Назад пути нет, а впереди — совсем не то, куда ты стремился. Идиоты и там и там. И сам ты, оказывается, сам себя не устраиваешь. Не получается «ты царь, ты бог, живи один». И тогда:

*Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.*

Был бы я критиком, я бы написал что-нибудь типа: поэт умер оттого, что

продал и предал единственное любимое — свои детство и юность, свое предчувствие счастья и весь сор, окружающий и поддерживающий это ощущение, сор жизни, из которого и росли его стихи. Но это опять был бы миф.

Да и все тот же друг прозрачно намекает, что причина смерти — совсем не поэтического свойства. Р. Т. подставил О. Д., Б. Р. в ответ набил или почти набил Р. Т. лицо, Р. Т. остался один на один с проблемами, выбросился или был выброшен из окна. Б. Р. написал стихи памяти Р. Т., а через несколько месяцев и сам...

Остался только О. Д., который, сидя в Англии, рассказал, как все было. «И я скажу незнающему свету, как все произошло...» Рассказчик...

Я бы законодательно запретил писать воспоминания друзьям, женам и детям. Они, конечно, пишут правду, но составляя ударения и запятые в этой правде так, что...

...А в принципе — неважно. Какая разница, какой миф рождается после? Ведь даже собственная честность поэта мебиусно перекручена:

*Расставляю все точки над "ё":
мне в огне полыхать за враньё,
но в раю уготовано место
вам — за веру в призванье моё.*

Остается (мы скажем так же хитро) верить, что каждому — по вере его...

P. S.

И тут я опомнился. Оглядевшись в недоумении — где я, как меня сюда занесло? — вспомнил: хотел же написать всего несколько строк о Борисе Рыжем. Вернее, о моем отношении к его поэзии.

Можно придумывать разные определения — вроде «истерическая лирика», — искать декаданс души и всякие культурно-политические контексты. Но я просто читал стихи Бориса, читал подряд, совершенно без предвзятости. Я знаю, что у «моих» поэтов всегда споткнусь о «мое» стихотворение — когда вдруг озноб по коже, те самые мурашки.

Здесь не случилось ни разу. Хотя все время было предчувствие — вот-вот, сейчас... Отдельные строчки, строфы — но в целом так и не слилось. Как будто я, голодный зверь чтения, грыз вкусно пахнущую, но голую кость.

Возможно, я слишком жизнерадостен и груб в восприятии, чтобы, слушая длинное вотумруяумру, испытать катарсис. Пьеро — даже если он играет городского хулигана — не мой персонаж.

P. P. S.

А как редактор (должность, требующая божественной объективности) скажу: Рыжий — хороший поэт. Прожил бы дольше, вполне возможно, научился бы больше. Просто на месте его редакторов я бы не печатал многое из того, что напечатано. Внешний отбор влияет на отбор внутренних. Впрочем, это уже другая тема.

Страсти по Лисистрате

К вопросу о гендерном равенстве

Первый стихийно возникший союз женщин описал еще Аристофан в комедии «Лисистрата». По замыслу великого грека, афинянки, измученные жестокой и длительной войной, закрылись в акрополе, завладели казной и объявили мужчинам бойкот: никаких любовных утех и домашней стряпни — до объявления мира. И то, чего не смогли добиться силой оружия, деньгами и властью мужчины, — добились женщины. С тех пор прошло 2,5 тысячи лет: олимпийские боги благополучно стали мифологией, выяснилось, что Земля круглая, а империи не вечны, — в общем, мир изменился. Вместе с ним изменилась и роль женщины: сегодня она не только жена и мать, но и равноправный гражданин, и грамотный квалифицированный специалист.

Казалось, цивилизация подарила женщинам все: от конституционных прав до противозачаточных таблеток. Но счастлива ли женщина в этом мире? И насколько равноправие «де-юре» соответствует равноправию «де-факто»? Об этих и других вопросах мы разговаривали с председателем Союза женщин Башкортостана **Рашидой Искандаровной Султановой**.

ДОСЬЕ НА СОВРЕМЕННУЮ ЛИСИСТРАТУ

Ее родители уже и не мечтали о дочери, четырнадцать сыновей подряд — и вдруг как благословение небес — девочка. Дочь назвали основательно — Рашида, что в переводе с арабского означает «идущая правильным путем». А правильный путь не самый легкий. Но звезды одарили нашу героиню таким зарядом энергии и оптимизма, что жизненной силы сполна хватает и на окружающих.

Рашиде Искандаровне было суждено заниматься общественной работой. Яр-

кая, равнодушная к чужим проблемам — и в то же время, своя, родная. К таким тянутся люди, с такими всегда интересно и надежно. Она была настоящим комсомольским вожаком. И работала не ради номенклатурных благ, а потому что по-другому просто не могла. В конце 80-х, когда все развалилось, секретарь Кировского райкома партии осталась без работы, а дел только прибавилось. Создала благотворительный фонд «Мархамат» и на собранные деньги устраивала летний отдых детей из многодетных семей, проводила праздники, поддерживала тех, кому было совсем невмоготу. «До сих пор перед глазами счастливые лица детей, которых смогли вывезти на турбазу “Арский камень”, большинство из них никогда не выезжали летом за пределы шумного и пыльного мегаполиса. А тут раздолье для игр, река — от смеха и лучистых глаз детворы становилось легко и светло самой, понимала, что еще могу быть чем-то полезной, что опыт организационной работы не прошел даром. А еще вспоминаю глаза двенадцатилетней девчушки, мы ей подарили куклу на Новый год — первую в ее жизни», — делится Рашида Искандаровна.

Из калейдоскопа таких малых дел и складывалась тогда жизнь нашей героини, росла решимость и вера в себя. И когда Султанову выдвинули в депутаты Госсовета, отказываться не стала и победила заслуженно, ее рекламой были люди, которым она помогла, а таких оказалось немало. В том, что в республике сегодня работает около 20 проектов, направленных на охрану семьи, материнства и детства, есть и немалая заслуга Султановой.

Занимаясь законотворчеством, Рашида Искандаровна уже одиннадцать лет возглавляет Союз женщин Башкортостана. Под ее руководством эта общественная

организация стала одной из самых влиятельных в республике. О работе башкирского отделения Союза женщин знают по всей России. Союз женщин Башкортостана на первом откликнулся на трагедию в Беслане, собрав деньги и вещи, письма поддержки и соболезнования, наша делегация оказалась первой среди общественных организаций, приехавших в Осетию, чтобы поддержать своих сестер. Помогали организовывать похороны погибших, ухаживали в больницах за ранеными и плакали вместе с матерями, потому что горе было общим. «Вы вернули нас к жизни», — писали потом осетинские женщины.

К жизни Рашиде Султановой приходится возвращать многих, в Союз женщин каждый день приходят письма с просьбой о помощи и поддержке, а вместо адреса часто просто надпись «в комитет по защите женщин».

В общем, ни дать ни взять современная Лисистрата, только не литературная, а настоящая, ежедневно решающая десятки вопросов, знающая о проблемах современниц не понаслышке и ежедневно работающая над тем, чтобы Союз женщин был настоящей влиятельной организацией.

СИЛА ЖЕНСКОГО СОЮЗА, ИЛИ К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ РАВЕНСТВЕ

По морю плывет Черепаха, на ее спине сидит Змея. Черепаха думает: «Сброшу — укусит». Змея размышляет: «Укушу — сбросит». Так выпьем же за женскую дружбу, помогающую преодолевать любые препятствия!

Этот тост произнесла как-то в шутку моя приятельница. Но в каждой шутке, как известно, только доля шутки. Все остальное — правда. Да, женщины — существа не стадные. У каждой свое мнение, свои пристрастия и антипатии. Женщинам сложнее сплотиться в единую команду, и времени на дружбу катастрофически не хватает. Домашние хлопоты, воспитание детей — вот и весь досуг. Но если женщины все-таки решают объединиться, значит, баста, терпению пришел конец.

«Вернем наших мужей с фронта!» — это уже не клич древнегреческой Лисис-

траты, а лозунг, с которого началось современное женское движение Башкортостана.

Листая протоколы первого съезда женщин Востока, проходившего в 1920 году в Стерлитамаке, невольно замечаешь, что круг вопросов, волновавших древних афинянок, женщин 20-х годов, остался злободневным и для нас.

«Удивляться нечему, — улыбается Рашида Искандаровна. — Роль и предназначение женщины как хранительницы очага, матери — вечные. Поэтому и проблемы, беспокоящие нас, остаются неизменными. А для того, чтобы их успешно решать, необходимо, чтобы мы были наравне с мужчинами представлены в органах власти. Пока на уровень принятия решений женщин допускают неохотно, а словосочетание “гендерное равенство” для большинства россиян звучит как тарабарщина. Конечно, все знают, что равноправие мужчин и женщин закреплено Конституцией, но ни для кого не секрет, что до реального равенства еще очень далеко. Девочке достаточно выйти за пределы школы или института, чтобы понять — этот мир отнюдь не женский. И беспристрастная статистика это подтверждает».

Известно, что женщины живут дольше мужчин, и намного хуже. В среднем по России зарплата женщин на четверть меньше, чем у мужчин. «Как только в отрасль приходят финансы, — сетует Рашида Искандаровна, — идет вытеснение женщин, так произошло в банковском деле, в сферах страхования и связи. Подавляющее большинство прекрасной половины человечества сегодня работает в малооплачиваемой бюджетной сфере: образовании, культуре, медицине и т.д.»

Гендерные различия в оплате труда связаны не только с отраслевыми особенностями, но и с прямым нарушением принципа равной оплаты за равный труд. Фраза, брошенная в сердцах директором одной из коммерческих фирм, которому указали на несправедливость оплаты: «Мужу неудобно платить мало — ему семью кормить нужно», отражает распространенное у нас мнение, что именно муж формирует бюджет семьи, а жена зарабатывает на шпильки. При этом вовсе не учитывается тот факт, что треть российс-



ких женщин воспитывает детей в одиночку, а шпильками подрастающее поколение не оденешь и тем более не накормишь, — поэтому хроническое безденежье и бедность удел многих неполных семей.

Именно материнство, столь провозглашаемое на словах, на деле закрывает перед женщинами двери на престижные хорошо оплачиваемые должности. Работодатели не желают связываться с молодыми женщинами, которые неизбежно уйдут в декретный отпуск или будут брать больничные по уходу за ребенком.

«В сложившейся ситуации отчасти виноваты мы сами, — считает председатель Союза женщин Башкортостана. — В России нет ни одного громкого дела, когда работница отстаивала бы свои права в суде. Поэтому одно из направлений женсоветов — это юридическая помощь и консультация женщин». По убеждению Рашиды Искандаровны: «Правовое общество — это общество, в котором граждане знают свои права и готовы за них бороться».

Женщине, решившей покорять карьерные вершины, приходится прилагать двойные усилия, по сравнению с конкурирующими «штанами». Почему? Просто в силу традиций и патриархальности общества. Ну не любят у нас женщин, шагающих в ногу с мужчинами, стоит вспомнить, сколько раздражения и неприятия вызывала Раиса Горбачева, которая была не «при», а рядом.

Социокультурный стереотип мешает женщинам покорять карьерные вершины; сегодня в России среди руководителей организаций и топ-менеджеров женщин только 6%. И это при условии, что дамы более квалифицированы. Так, женщин-специалистов высшей квалификации чуть ли не вдвое больше, чем мужчин.

Особенно наглядно гендерное неравенство проявляется в структурах власти. В Государственной Думе пятого созыва женщин-депутатов всего 12%, а в Госсоветах некоторых российских областей женщин нет совсем.

В Думе уже несколько лет лежит проект закона о равном представительстве мужчин и женщин во власти, но его не принимают. Как не приняли и предложение давать смешанные партийные спис-

ки: до сих пор кандидаты-мужчины перечисляются в начале, а девочки уже потом, и их шансы быть избранными уменьшаются.

Между тем, по мнению экспертов ООН, для того чтобы женщины могли оказывать реальное воздействие на политику, включая защиту собственных интересов, их численность в структурах власти должна быть не менее 40%. Если представительство дам не достигает 15% — неизбежны серьезные диспропорции и несбалансированная политика. Похоже, российское общество, 54% которого составляют женщины, не доросло до осознания равноправия между мужчинами и женщинами.

«Хотя, — отмечает Рашида Искандаровна, — ситуация меняется. Крупные предприниматели и руководители берут в заместители женщин. Женщины более ответственные и внимательны, хорошо выполняют работу, требующую тщательности и скрупулезности. Тем более женщина-заместитель никогда не будет подсиживать своего начальника, в то время как любой мужчина не прочь и себя увидеть в генералах».

На местах, там, где нужно решать конкретные хозяйственные вопросы, избиратели охотнее голосуют за кандидатов-женщин. В сельских районных советах представительство прекрасной половины уже около 30%.

Тем не менее, Союзу женщин предстоит немало потрудиться, чтобы изменить ситуацию и на законодательном, и на бытовом уровне. Ведь самое серьезное ущемление прав прекрасной половины происходит в семье.

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

За десять лет войны в Афгане мы потеряли 15 тысяч солдат. За один только 2007 год 15 тысяч российских женщин были убиты своими мужьями. Жестокая, бессмысленная бойня идет в мирных на первый взгляд домах.

Бурное выяснение отношений между супругами до сих пор воспринимается у нас как норма. «Милые бранятся — только тешатся» — расхожая поговорка, отражающая попустительское отношение общества к домашнему насилию. И только

бесстрастный язык цифр озаряет тот беспредел, который творится в семьях.

По статистике, каждая вторая российская женщина подвергалась насилию со стороны мужа, и каждая четвертая девочка подвергалась сексуальным домогательствам отца или отчима в родных стенах.

«Наша семья не прозрачна, — с горечью констатирует Рашида Искандаровна. — Из поколения в поколение в сознание женщин вбивается правило “не выносить сор из избы”, по сути, потворствовать насилию, допускать хамское отношение к себе».

За годы работы председателем Союза Рашида Искандаровна столкнулась с тем, что женщины стыдятся рассказывать о побоях и унижениях, боясь натолкнуться на непонимание и осуждение. «Зачастую, — говорит она, — вся поддержка общественности сводится к увещаниям “бьет — значит любит”, и женщина в очередной раз прощает и верит в обещания “раскаявшегося” супруга».

Между тем семейные психологи подтверждают тот факт, что мужчина, хоть раз поднявший руку на женщину, рано или поздно ударит вновь. Более того, дети, выросшие в атмосфере насилия, переносят этот опыт уже в свои семьи. «Получается, что мы сами воспитываем жестоких мужей и деспотичных отцов», — сетует Рашида Искандаровна. По ее мнению, пагубную эстафету насилия может прервать только сама женщина, не прощая жестокости и лицемерия. Вынести можно многое — лишения, болезни, измену, но терпеть рядом мужчину, который относится к тебе как к «грязи», не стоит, хотя бы ради своих детей.

«Часто, разбирая семейные проблемы, можно услышать от распясавшегося супруга, что даже в Коране сказано: женщина не человек, — рассказывает Рашида Искандаровна. — Так лучше нужно читать Коран!» Ислам утверждает, что все люди — мужчины и женщины — сотворены из одной души, а настоящий мусульманин не может не помнить высказывание, что «рай находится у ног матери».

Рашида Искандаровна убеждена, что, пока не будет достигнут мир в семье, не будет и благополучия в обществе. Осознание этого факта и неприятие насилия как

формы выяснения отношений в семье необходимы, чтобы прекратить необъявленную войну, от которой страдает все общество.

— Может быть, оправданно стремление некоторых женщин в одиночку рожать и воспитывать детей, не связывая себя с мужчиной? — задаю я провокационный вопрос.

— Ни в коем случае! — протестует Рашида Искандаровна. — Дело даже не в непосильной материальной нагрузке, которую берут на себя матери-одиночки. Воспитание детей должно быть гармоничным. Семья — лучшее достижение цивилизации. Разрушение ее основ ведет к серьезным последствиям. С этим уже столкнулась Западная Европа, где достаточно большой процент неполных семей. Перекося в воспитании, женское заискивание в этой сфере ведет к нарушению половой идентификации, особенно у мальчиков. Растущая численность людей с нетрадиционной половой ориентацией — лишь один из множества подводных камней, скрывающихся за разрушением традиционной семьи. Семья как птица, у нее должно быть два крыла, иначе разобьется и не вырастит птенцов. А прекратить волну домашнего насилия можно только усилиями всего общества. Большинство ссор возникает по мелочам, из-за неумения и нежелания уступать, слушать друг друга.

Пока на низком уровне находится психологическая помощь населению, мало хороших специалистов, женсоветы работают для изменения сложившейся ситуации, оказывают обращающимся женщинам психологическую поддержку и консультацию. Рашида Искандаровна рассказала о решении, которое нашли в Учалинском районе. Там на свадьбе молодым назначают «кураторов» — уважаемую, благополучную семью, не состоящую в родстве ни с женихом, ни с невестой. «Кураторы» помогают молодым «бескровно» решать споры и проблемы, которые неизбежно возникают в первые годы семейной жизни.

Конечно, институт семьи нуждается в дополнительной поддержке и защите государства. Проблем у современной российской ячейки общества — хоть отбавляй. И, пожалуй, самая серьезная из



них — диспропорция численности мужчин и женщин.

ПРАВО НА МУЖЧИНУ

В далекие первобытные времена, когда женщина была хранительницей очага, у нее было право на мужчину, добытчика и защитника. Сегодня женщина сама себе и добытчик, и защитник. А где же мужчины?

За последние сто лет в России сложилась катастрофическая демографическая ситуация. Согласно последней переписи, на 114 женщин приходится 100 мужчин, и это при том, что на 100 девочек рождается 106 мальчиков, но уже к двадцати годам их соотношение уравнивается, а к сорока женщин становится больше.

Согласно простой логике, численный перевес должен гарантировать преимущества. На деле именно дамы оказываются в зоне риска. Перспектива вдовства и одиночества для российских женщин делается все более вероятной и драматичной.

— Когда мы проанализировали демографическую ситуацию, которая складывается в стране, картина получалась безрадостная, — размышляет Рашида Искандаровна. — Еще лет пятьдесят, и Россия превратится в страну старух. И наша организация выступила с акцией «Берегите мужчин!». Лет тридцать назад одна московская газета уже выдвигала этот лозунг, и многие восприняли его иронично. Но сейчас уже не до смеха. Рыночные отношения и свобода выявили слабость сильного пола. Мужчины «вошли в штопор» и расслоились: кто-то, вовремя сориентировавшись, пошел зарабатывать деньги и делить власть. Большая же часть растерялась и за неимением каких-либо перспектив пьет, колется, сидит в тюрьмах, по-дурному погибает на дорогах или лезет в петлю... В результате в России на одного здорового репродуктивного мужчину приходится четыре женщины. О какой крепкой семье в такой демографической ситуации может идти речь?!

Более того, и с имеющимися мужчинами не все в порядке, у каждого второго — проблемы в репродуктивной сфере. Сегодня уже никто не будет оспаривать тот факт, что в половине случаев бездетности семьи «виноват» мужчина. Именно по-

этому один из серьезных проектов Союза женщин Башкортостана направлен на оздоровление мужчин.

В рамках кампании «Берегите мужчин!» Союз добился многого. Заслуга Рашиды Искандаровны и ее сподвижниц в том, что они помогли законодательно закрепить создание андрологической службы для мальчиков. Раньше андролог осматривал юношей только перед призывом в армию, в том возрасте, когда многие проблемы были настолько запущены, что о восстановлении репродуктивной функции не было и речи. Теперь, начиная с 3-летнего возраста, мальчиков ведет специалист-андролог. «Наконец-то мы пришли к осознанию того, что репродуктивное здоровье нации — это не только охрана материнства и детства, но и забота о мужчинах. И возможно, через несколько десятилетий российские девушки перестанут уезжать из страны в поисках суженого. И право на мужчину будет восстановлено», — говорит Рашида Искандаровна.

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

— А пока, — призывает современная Лисистрата, — мы должны поддержать наших подрастерявших мужей. Вот сейчас каждый должен приватизировать землю, а мужики опять пасуют, сомневаются. И мы через женсоветы обращаемся к женщинам: будьте хозяйками не только в доме, но и на своей земле, подставьте плечо своим мужчинам, иначе наша земля уйдет в чужие руки, а мы опять будем наемной рабочей силой. Земля должна принадлежать нам и нашим детям. Так что государство нуждается в женском уме, смекалке, расторопности.

Для того чтобы менять мир вокруг себя, необязательно быть депутатом Госсовета. Женщина всегда стремится организовать свое пространство гармонично и рационально. Не случайно в далекие времена авторитет женщины был значим, а ее слово — решающим.

И сегодня в деревнях Абзелиловского района создаются советы пожилых женщин — «ак инейдер». Рашида Искандаровна с гордостью показывает мне фотографии бабушек, которым по плечу оказалось то, чего не смогли добиться государ-

ственные мужи и правоохранительные органы, — полностью искоренить пьянство в своих деревнях. Благодаря мудрости, авторитету и решительности современных Лисистрат жизнь в этих селах потихоньку налаживается, народ строится, рождает детей, восстанавливает традиционные пользующиеся спросом народные промыслы. Теперь Рашида Искандаровна работает над тем, чтобы объединились и женщины городов.

— Сколько пенсионерок сидят дома и не могут найти себе применение! Было бы замечательно, если бы в каждом дворе

был создан свой «ак инейдер». Разруха, как мы помним, начинается с дома, в котором живешь, и если в подъезде чисто, если на улицах могут безбоязненно играть дети, то и в государстве будет порядок.

— Так что же, снова матриархат? — спрашиваю я.

Рашида Искандаровна смеется:

— Ни матриархат, ни патриархат не приведут общество к стабильности. Мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина — женщиной. Две равные составляющие целостного мира. И никак иначе.

Мальчик и дельфин

Легендетта

Кадисский залив уже давно слыл тихим уголком Испании. Бесконечные войны, морские сражения, кровь и страдания — все кануло в Лету. Листая страницы истории, можно было, конечно, услышать залпы корабельных пушек, звон клинков и крики бесстрашных матросов...

Но...

Бессмертный Ветер-Дракон все унес — в незнакомую даль.

Он вернул в этот край тишину и — печаль прибоя.

Якорь свободы и штиль красоты.

Маленький городок Альверда располагается на побережье, между Кадисом и Сьерра-Де-Кампо. В Альверде все подчиняется — как везде — Времени. Именно его неторопливая поступь определяет жизнь города. Первые лучи солнца оживляют дома, улочки и рыночную площадь. Открываются ставни, отправляются в путь повозки, начинают копошиться полусонные лавочники.

На рыбацких судах вспыхивают ярким пламенем белые паруса.

Десятилетний Диего — сын лавочника, торгующего рыбой. Пока мать и отец дремали, мальчик обычно выходил на крыльцо и встречал лучи солнца. Он бежал — бежал по тропинкам к этим золотым нитям. К морю.

Он садился на песок и ждал. Ждать приходилось недолго. Очень скоро наступали бесценные мгновения — корабли расправляли свои крылья-паруса и улетали к горизонту...

С Диего беседовало утро. С ним разговаривало солнце. С ним перешептывалось море.

Все дни, заполненные белыми парусами, все дни, превратившиеся в бесконечный праздник, — все дни Диего сберег в своей душе.

Новое утро было тревожным.

Мальчик вышел из дома. Солнце потускнело. Просыпалось небо.

Диего побежал, услышав зов:

— Диего, я умираю.

Голос моря проник в его сердце. Пальмы кланялись ветру. Ветер проник в тишину.

Чувствуя пульс прибоя, мальчик мчался к берегу. Ветер стал дыханием — предсмертным дыханием мира.

— Диего, я умираю.

Облака-паруса растворились в синей бездне. Сердце горело, сжимаясь.

Песчаный берег стал пустыней.

А море — всегда бывшее другом — почернело.

Молчаливая исповедь моря. И — ветер. Беспокойный ветер растревожил этот мир. Верный друг моряков, вечный странник — он пылал в молодом утреннем небе.

Одинокая пальма на берегу склонила голову. Знак. Диего пошел в ту сторону, куда указывал ветер.

Это был верный путь. Через некоторое время Диего увидел новый знак. Отпечаток ладони на золотом песке. Диего опустился на колени и приложил свою ладонь к отпечатку. Пять пальцев — пять путей.

— Помоги мне, Диего.

Мальчик побежал, и ветер мчался рядом с ним. Лазурное небо и темное море стали двумя гранями жизни, двумя сторонами мгновения...

На желтом песке, среди пустоты, на дне кромешной бесконечности лежал дельфин. Он дышал, глотая порывы ветра.

— Диего, я умираю.

Говорящий дельфин.

Сегодня море было беспощадным. Оно отторгнуло свое дитя, выплеснуло его на берег, принеся его в жертву безразличному утру. Диего подошел к дельфину и присел возле него.

— Как тебя зовут?

Дельфин почти ослеп. Он видел ангела — в туманной дымке. Мог ли спасти его мальчик — маленький ангел?

— Меня зовут Нэсс.

Диего приложил ладонь к голове дельфина. На него смотрел глаз.

Глаз дельфина был оком Вселенной! Диего погрузился в бездну. Он услышал шепот прибоя и увидел флот из сотен кораблей. Услышал громкую речь на незнакомом для него языке. Увидел дворцы из красного, черного и белого камня — огромные свечи, пронзавшие белые облака. Увидел седобородого старца, уединившегося в келье черной тишины, и белый его балахон, расшитый нитями вспыхивающих молний.

Он увидел лодки, парящие в небе! Огромные камни, несомые ветром, собирались в мозаику! Ветер, играющий тяжелыми глыбами, воздвигал гигантский храм. Построенный храм бросал вызов — небу, звездам, всему миру!

— Диего, я уже умер?

— Нет, Нэсс. Я с тобой. И я не брошу тебя.

Диего посмотрел на море. Только беспощадное море могло спасти дельфина.

— Нэсс, скоро начнется прилив...

— Мне не дожить до прилива.

Диего заплакал — так тихо, что никто на свете не услышал этих слез:

— Так как же мне тебя спасти?

— Я должен вспомнить... старое заклинание.

— Вспоминай, Нэсс, пожалуйста, вспоминай!

— Не плачь, мой друг. Ты услышал мой голос. Ты — единственный, кто услышал. Единственный, кто пришел на помощь.

Диего вытер слезы.

— Вспоминай... И, Нэсс, позволь мне спросить. Разве дельфины умеют говорить?

— О... Диего, это очень древняя история. Такая давняя, что она уже скорее сказка. Я расскажу. Когда люди только начинали свой путь на этой земле, все было иным. Звезды на небе располагались не так, как теперь. Не было многих гор, морей, рек и озер. Тогда существовала большая и могущественная страна. В последние века люди называют ее Атлантидой, но это неверно. Имя этой страны священо — Огенон... Ты не поверишь мне, мой мальчик: пятнадцать тысяч лет назад я был человеком — человеком, живущим в море. Мое настоящее имя — Оаннес, я жил в Древнем Огеноне. Когда я был молод, мои учителя дали мне напиток... После этого я спал три дня и три ночи. В бездне черного сна мне явилось солнце,

оно заговорило со мной, наполнило мою душу бессмертным светом, несокрушимым пламенем, созидającym огнем. Два слова, которыми солнце прожгло меня насквозь, стали моим вечным клеймом: ДАРУЙ ЗНАНИЕ.

С тех пор Океан стал моим домом. Одиночество заполняло каждое мгновение моей жизни. Дар превратился в проклятие. Но в некоторые дни я чувствовал себя Богом.

Знание... Я даровал знание сотням племен, миллионам людей. Все ночи я проводил в тиши морских пучин, а с первыми лучами солнца выходил на берег и искал поселения. Люди встречали меня восторженными криками... Однажды я вышел из вод Эритрейского моря и, ведомый лучами небесного огня, оказался в краях того народа, который ныне называют шумерами.

Они нарекли меня Сыном Воды. Они просили чудес. Я воспламенял любой предмет — одним лишь взглядом. Я излечивал любую хворь — взмахом ладони. Мне покорялся ветер. Гроза обходила стороной мою тень. Я научил этих людей письму и излечил их от всех болезней. Показал, как превращать камни в податливое тесто...

Все дни я проводил с этим народом, с наступлением сумерек уходя в море. Я мечтал вернуться в Огенон, на родину, но владыки запретили мне это. И десятки лет я был вынужден скитаться по всему свету...

Диего был поражен рассказом Нэсса. Он закрыл глаза и пытался представить все то, что ему поведал мудрый дельфин.

— А потом, Нэсс? Что произошло потом?

Дельфин, тяжело дыша, продолжил свою историю:

— А потом случилась страшная беда. Я в те годы жил вот в этих водах, у берегов твоей родной Испании, Диего. Невдалеке отсюда существовал обширный остров — Тартесс. И я общался с местным племенем.

Однажды вечером небо над Тартессом покрылось тяжелыми хищными тучами. Это была стая огромных воронов, на своих крыльях они несли отголоски страшной бури. Ветер наполнил почерневшие паруса пеплом, пылью, смрадом, стонами и криками... Ветер донес до острова эхо Смерти.

И вскоре я увидел корабли, десятки, сотни кораблей. Они входили в гавани Тартесса. На берег спустился один из старших вождей прибывших, Иракош. Он приветствовал меня и со слезами на глазах промолвил: «Всех нас постигло ужасное несчастье. Наш народ прогневал Мать Землю. Океан и небеса объединились, чтобы покарать нашу Священную Родину. Огенона больше нет, мой сын. Сегодня в одночасье заговорили сразу все вулканы, доселе мирно дремавшие сотни лет. Из их недр вырвался безжалостный огонь. Все горело, превращаясь в прах... А после океан поглотил все наши земли...»

Море шумно вдохнуло и выдохнуло. Дельфин прикрыл глаза.

— Давай я сбегаю и кого-нибудь позову. Тебе помогут...

— Не надо, мой юный друг. Я уже почти вспомнил заклинание.

— И как же оно звучит? — спросил Диего.

— «Вечный наш Вождь, помоги мне, явись...»

Нэсс замолчал. Диего чувствовал, как бьется его сердце. Большое и светлое сердце дельфина стучалось в ладонь мальчика, отзываясь в душе Диего печальным набатом черного колокола...

В бездонной чаше синего неба плескались седые чайки. Где-то там, в вышине, зарождался новый день...

— Нэсс, пожалуйста, расскажи мне еще. Что случилось после наводнения?

— Вождь Иракош, его приближенные и все, кто спасся от потопа, основали колонию на Тартессе. Теперь они уже не отвергали меня. А я... Я встретил пре-

красную девушку, полюбил ее. У нас родились дети. Ты, наверное, не поверишь. Я прожил 278 лет.

— А потом... ты умер?

— Да, состарился и умер. В далекий путь меня провожало все селение. Последнее, что я увидел перед смертью, — черный саван небосвода, а на нем — горящие свечи звезд... Прошло очень много лет. Я проснулся на дне океана и увидел, что стал дельфином.

— Нэсс, заклинание... Произнеси его, а я... донесу тебя к морю.

Диего верил своим словам. Его руки уже были между песком и телом дельфина. И Нэсс вспомнил!

— Вечный наш Вождь, помоги мне, явись! Пусть град из пучин поднимается ввысь!

Весь мир замер. Чайки растворились в синем небе. Море перестало дышать.

Диего поднял дельфина и понес его к воде! Громким голосом он повторял эти слова:

— Вечный наш Вождь, помоги мне, явись! Пусть град из пучин поднимается ввысь!

Но мир не верил в чудеса. Нэсс оказался слишком тяжелой ношей. Сила древнего заклинания окончилась в нескольких шагах от моря. Диего упал на колени и опять заплакал.

— Прости меня, Нэсс!

— Не плачь. Я не могу видеть твои слезы.

И вдруг...

Из глубин моря поднималось солнце.

— Нэсс, что это?

Дельфин не ответил. Он просто верил в свое спасение.

На самом горизонте вспыхнул огонь. Чудесный маяк — в тишине. Слезы Диего упали в ладонь ветра, и он унес их в море.

Огонь приближался. Большой золотой шар парил над тихими волнами.

Новое солнце повисло над морем. Диего увидел силуэт... человека! Человек шел по воде. Он был в длинном белом балахоне и в правой руке держал посох. Его взгляд покорял бессмертным светом звезд, струившимся из глаз цвета утреннего неба.

— Иракош! — воскликнул дельфин.

Седобородый старец шагал по песку.

— Это ты взывал о помощи, мальчик?

Словно околдованный пристальным взором чародея, Диего забормотал:

— Я пришел на берег и увидел его... Он звал меня... Его зовут Нэсс, а меня Диего.

Старый волшебник присел возле дельфина.

— Так это ты, Оаннес? В это трудно поверить. Сколько веков прошло... Ты превратился в дельфина.

— Как видишь, мой мудрый вождь.

— Я помогу тебе. Ты всегда был мне дорог — в те далекие годы, когда все дороги вели в Огенон. Ты дорог мне и сейчас.

Иракош поднялся и встал лицом к морю. Старец вытянул посох вперед и начал водить им из стороны в сторону. Он чертил на небе незримые фигуры, выписывал на море магические слова.

Он что-то шептал. Шепот этот был похож на шелест ветра, затаившегося в кронах древнего леса. Этот шепот звучал как шорох дождя, крадущегося в глубоком ущелье...



Начался прилив.

Море словно ожило, проснулось, почувствовало свою силу. Оно медленно приближалось к Нэссу и Диего.

Иракош стоял уже по колено в воде. Произнес все заклинания, замолчал. Сжимая посох, он смотрел вдаль — туда, где полоса моря превращалась в стену небес. Он чего-то ждал.

Вода дошла до дельфина.

— Благодарю тебя, мой Вечный Вождь. Ты спас меня, — произнес Нэсс.

— Благодарю Диего, Нэсс. У него доброе сердце...

Волшебник не договорил. Опять появились чайки, они заплясали в синем мареве начинающегося жаркого дня. Глядя на безумную пляску всполошившихся птиц, Диего не видел другого...

Почти у самого горизонта море вспенилось. Через некоторое время до берега докатилась первая волна. Нэсс плавал в своей родной стихии, он нырял и снова выныривал. Его переполняла радость, и он резвился в зашумевшем море.

— Нэсс, что это? Мне страшно... — Диего был и вправду напуган.

— Не бойся, малыш, — промолвил владыка погибшего Огенона. — Заклинание, которое вы с Нэссом произнесли, воплощается в брennom мире. Просто смотри.

Диего смотрел — и не верил своим глазам. Из глубин залива поднимался сказочный мир. Воскресшее пророчество, сбывшееся предсказание. Лучезарное знамение...

— Это — Эвилан. Город, который одиннадцать тысяч лет назад построили мы, жители затонувшего Огенона. Это столица древнего Тартесса.

Нэсс выписывал круги в волнах прибоя. Он был вне себя от счастья.

Перед горизонтом прямо на глазах вырастали здания многочисленных храмов, возведенных из красного, черного и белого камня. К небу возносились башни, увенчанные острыми шпилями. Но больше всего впечатлял огромный куполообразный дворец, он напоминал перевернутую чашу невероятных размеров.

— Диего, это — храм Посейдона, — с благоговением в голосе промолвил Иракош.

Справа от Диего слышались голоса. Это были рыбаки. Ошеломленные, они стояли на берегу. Один из них — самый крикливый — указывал пальцем на горизонт, где красовался великолепный мираж, ставший реальностью.

Рыбаки о чем-то спорили.

Диего подошел к старому кудеснику. Иракош положил ладонь на плечо мальчика.

— Кажется, сегодня ловля рыбы отменяется, — проговорил Вождь, улыбаясь и глядя на мужчин, которые по-прежнему будоражили новый сказочный мир своими резкими возбужденными голосами.

— Да, они сейчас побегут в город, будут стучаться в каждый дом и...

— И рассказывать небылицы, — закончил Иракош фразу Диего.

Они оба засмеялись.

Старик и мальчик еще долго смотрели, как на синем знамени небес сияет в лучах щедрого испанского солнца удивительный край, как в мироздание стремительно врывается ожившая легенда, поднявшаяся со дна тысячелетий...



Фарзана Губайдуллина

КОСЫ

Мамины косы — как в речке волна.
Их перед сном расплетает она.

Волосы стану расчесывать маме,
Пахнут они луговыми цветами!

Есть у мальчишек дурные привычки:
Дергают часто меня за косички.

Сколько угодно терпеть я могу.
Длинных косичек не остригу!

БЕЛАЯ ШАПКА

Чтоб не мерзнуть, для Рашита
Шапка белая пошита.
Почему же не спешит

* Перевод с башкирского Веры Капустиной



Надевать ее Рашит?
Говорит:
— Девчачий цвет!
— Так наденешь шапку?
— Нет!

Но мороз — ведь он не тетка!
Он заставит бить чечетку.
Ухо трет рукой Рашит.
Что же наш джигит решит?

Шапку сам пошел надел,
Смотрит: каждый столбик — бел!
И деревья, и ограды
Белым шапкам зимним рады!

СКАКАЛКА

За скакалку я взялась —
И скакалка завелась.
Я скачу, скачу, скачу,
Уступать ей не хочу!

А скакалка — все шустрой!
И твердит:
— Быстрее, быстрее!
Раз и два! Раз и два!
Поспеваю я едва!

АХ, УПРЯМАЯ КОЗА!

Вечереет, дело ближе к ночи,
А коза домой идти не хочет.

Не желает ночевать она в сарае.
Будто бы милей в сто раз гора ей!

И кричит, и вырваться старается,
И ногами в землю упирается.

Чтобы заманить козу к сараю,
Со стола остатки собираю.

Но коза хватает хлеба корку
И опять торопится под горку.

Что за интерес ей спать на склоне?
Это вредный нрав козу из дома гонит!

ПЛАТЬЕ В ГОЛУБОЙ ГОРОШЕК

Платье новое надела, —
Позавидует любой:
Вот подол в оборках белых,
Вот горошек голубой.

Возмущается гусак:
— Ей — горошек? Как же так?
Подлетел и сразу в бой:
— Дай горошек голубой!

Не на шутку, видно, зол:
Тянет платье за подол.
Льются слезы:
— Глупый гусь!
Как с тобой я поделюсь?

ОБЛАКА, ОБЛАКА...

Как овечки, облака —
Белоснежные бока.
То ли солнце вас пасет?
То ли ветер вдаль несет?



Пара резвых рысаков
Пронеслась без седоков.
Чьи же вы, лихие кони?
Кто запряг и кто вас гонит?

Мост с горы спустился днем.
Семь дорог цветных на нем!
Кем же мост сооружен?
Где тот мастер? Кто же он?

Хроника «Бельских просторов»

Официальная летопись журнала «Бельские просторы» – это его номера, опубликованное творчество его авторов. Но, как обычно бывает в истории, не все идет в печать – многие важные события остаются неизвестными широкой общественности. Так, в первом полугодии 2008-го наш коллектив не только работал над рукописями и общался с авторами, но и активно начал консолидировать вокруг республиканского русскоязычного «толстяка» культурную среду Башкортостана и России.

* * *

30 января «Бельские просторы» впервые организовали форум творческой интеллигенции, так и названный: «Культурная среда». Начинание было приурочено к вручению нашей ежегодной премии. Вручение следующей премии – за 2008 год – совпадает с торжествами по поводу 10-летия журнала. К этому времени будет определен и лучший литературный переводчик Башкортостана – победитель первого в РБ конкурса поэтического перевода (см. №6, 2008). Если уж говорить о том, что делается впервые, то нельзя не упомянуть и первый в республике круглый стол, посвященный переводу, – событие весьма актуальное для нашей многонациональной республики.

* * *

Также впервые за все десять лет существования журнала в Союзе писателей РБ прошло его подробное обсуждение. С обзорами выступили народный поэт Башкортостана председатель СП РБ Р. Т. Бикбаев, лауреат Государственной премии им. С. Юлаева замечательный поэт К. А. Аралбаев, руководитель русской секции

СП В. В. Денисов, глава секции перевода СП А. Г. Хусаинов, заместитель главного редактора газеты «Истоки» Д. Б. Лапицкий, консультант СП поэтесса и переводчик Л. Керчина и сами сотрудники редакции. Отрадно, что в целом журнал получил положительную оценку, коллеги-профессионалы высказывали свое одобрение и внесли немало конструктивных предложений.

Любопытно, что журнал обсуждается теперь не только в официальных учреждениях, но и – регулярно – на собраниях известного литобъединения УФЛИ, на телеэкране – в гостях у интеллектуальной передачи «Книжный дом», на радио «Спутник-FM». И, конечно, – в школах, в вузах, библиотеках...

* * *

Впервые в своей истории руководство журнала встретилось с представителями Всемирного Курултая башкир: беседа прошла в помещении исполкома Курултая под председательством заместителя председателя исполнительного комитета Кадима Абдулгалимовича Аралбаева. Основная миссия Курултая как организационного центра башкирской нации – всемерно содействовать консолидации, социальному и духовному развитию башкир – во многом совпадает с миссией журнала «Бельские просторы», который призван выводить на огромное пространство русскоязычной литературы переводы лучших башкирских авторов. Был наметен ряд интересных совместных проектов.

* * *

Впервые вышел номер журнала, литературный блок которого, озаглавленный

Культурная среда



«Созвучие сердец», целиком представлен переводами произведений авторов, пишущих на башкирском языке.

Регулярные поездки по самым разным районам республики, многочисленные встречи, участие в ярких культурных событиях Башкортостана, — чтобы рассказать обо всем, нужно было бы выпустить отдельный — внеочередной — номер.

В поле культурной среды журнала оказываются как чиновники высокого ранга, так и школьники, учителя, бизнесмены, библиотекари, ученые и художники, музыканты и журналисты, — всех не перечислить. Культурная среда процветает и, надеюсь, принесет свои плоды. Наиболее желанными из которых будут яркие сильные публикации на страницах журнала «Бельские просторы».

Литература. Культура. Имена.

* * *



1 августа 110 лет со дня рождения писателя **Валентина Астрова** (1898–1993). Валентин Николаевич – автор автобиографической трилогии «Огни впереди» (1958), «Круча» (1961), «Уходящее поколение» (1990). Был редактором газет «Известия Смоленского Совета», «Рабочий путь», членом редколлегии журнала «Большевик» и газеты «Правда», входил в группу «молодых бухаринцев». В 1933–1937 годах находился в тюрьмах, лагерях и ссылке, воевал, после войны, в 1949 году, вновь осужден на 25 лет лагерей, освобожден и реабилитирован в 1956 году.

* * *

3 августа 115 лет со дня рождения русского дирижера, композитора, педагога **Александра Гаука** (1893–1963). В 1936–1941 гг. Александр Васильевич был основателем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра СССР, в 1953–1961 гг. – Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. С 1948 года – профессор Московской консерватории. В 1954 году был удостоен звания «Народный артист РСФСР» (1954). Гастролировал в Японии, Мексике, Венгрии, Румынии, ГДР. А. Гаук – автор нескольких симфонических произведений, двух концертов (для арфы и для фортепиано с оркестром), инструментальных пьес, романсов. Восстановил (по оркестровым голосам, хранившимся в библиотеке Ленинградской консерватории) уничтоженную автором

Первую симфонию С. В. Рахманинова, создал инструментальные переложения фортепианного цикла «Времена года» и двух циклов романсов П. И. Чайковского (1942).

* * *

4 августа 175 лет со дня рождения литературоведа, фольклориста и общественного деятеля **Ореста Миллера** (1833–1889). Орест Федорович был сторонником мифологической школы литературоведения. Автор сочинений «Славянство и Европа» (1877), статей об А. Н. Островском, Ф. М. Достоевском, И. А. Гончарове, А. Толстом, книги «Глеб Ив. Успенский. Опыт объяснительного изложения его сочинений» (1889).

* * *



5 августа 195 лет со дня рождения норвежского поэта, филолога, лексикографа **Ивара Осена** (1813–1896). Его сочинения «Норвежская грамматика» и «Норвежский словарь» были отмечены учеными по всему миру. В 1852 году Осен был избран членом Общества наук. У себя на родине приобрел широкую известность благодаря стихотворениям на норвежском языке. В своих филологических изысканиях стремился к возможному очищению норвежского языка от примеси датского и пытался воссоздать при помощи местных наречий новонорвежский литературный язык.



* * *

6 августа 370 лет со дня рождения французского философа-идеалиста, одного из главных представителей окказионализма **Никола Мальбранш** (1638—1715). Он утверждал, что мир существует в Боге. Его основное сочинение «Разыскания истины» (1674—1675). Среди других работ Мальбранша — «Трактат о природе и благодати» (1680), «Беседы о метафизике и религии» (1688), «Размышления христианина о морали» (1683). В настоящее время он считается одним из самых тонких метафизиков, предшественником Д. - Юма в критике понятия причинности, Лейбница в теории предустановленной гармонии, Беркли в учении об идеях как единственном объекте восприятия и современных психологических теорий в концепции бессознательного.

* * *



6 августа 210 лет со дня рождения поэта, переводчика, журналиста, критика и издателя, близкого друга А. С. Пушкина **Антон Дельвига** (1798—1831). В 1825—1831 гг. издавал альманах «Северные цветы», в 1830—1831 гг. — «Литературную газету», первое издание, полностью посвященное литературно-культурной жизни России. Прославился стихотворениями в стиле «русской песни» и «греческих идиллий». Автор знаменитого романа «Соловей» и песни «Не осенний мелкий дождичек».

* * *

6 августа 140 лет со дня рождения французского писателя **Поля Клоделя** (1868—1955). Автор драм «Золотая голова» (1901), «Благовещение» (1912), книги очерков «Познание Востока» (1900). Клодель разработал новую манеру письма, библейскую по духу и следующую, как утверждал он сам, естественному ритму человеческого сердца и дыхания. Среди шедевров его лирики «Пять больших од»

(1910) и «Кантата для трех голосов» (1931). Как дипломат представлял Францию во многих странах, в том числе в Китае, Японии, США.

* * *

15 августа 100 лет со дня рождения писателя, литературоведа, мастера устного рассказа, народного артиста СССР **Ираклия Андроникова** (наст. фамилия Андроникашвили) (1908—1990). Его основные труды посвящены исследованиям творчества М. Ю. Лермонтова. Автор книг «Жизнь Лермонтова», «Лермонтов. Исследования, статьи, рассказы», «Лермонтов в Грузии в 1837 году». В 1954 году впервые выступил на Центральном телевидении с циклом рассказов. Передачи назывались «Ираклий Андроников рассказывает». Было снято несколько фильмов, в которых он читал свои устные рассказы: «Страницы большого искусства», «Портреты неизвестных», «Слово Андроникова». За книгу «Лермонтов. Исследования и находки» в 1967 году автору была присуждена Государственная премия СССР.

* * *

16 августа 145 лет со дня рождения французского органиста, композитора и дирижера **Габриэля Пьерне** (1863—1937). Пьерне оставил целый ряд камерных и симфонических произведений, а также несколько опер и балетов. Автор пьес для фортепиано, канцонетты для кларнета и фортепиано, балетов «Сапфировое кольцо», «Золотой бутон», комической оперы «Дочь Табарена» и др.

* * *

16 августа 50 лет со дня рождения певицы **Мадонны** (наст. имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе). Журнал «Форбс» объявил Мадонну «самой красивой деловой женщиной Америки», она входит в сотню крупнейших коллекционеров предметов искусства в США. Записываемые ею песни неизменно занимают самые вы-

ские места в рейтингах и хит-парадах. Пробовала она свои силы и как актриса, снималась в фильмах «Отчаянные поиски Сюзанн», «Эвита».

* * *



21 августа 95 лет со дня рождения драматурга **Виктора Розова** (1913–2004). Самые известные пьесы В. С. Розова: «Ее друзья», «В добрый час», «В поисках радости», «В день свадьбы», «Традиционный сбор», «Гнездо глухаря», «Кабанчик» и, конечно, «Вечно живые», с которых начинался театр «Современник». По его сценариям сняты кинофильмы «Летят журавли», «Шумный день», «С вечера до полудня». В. С. Розов – лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ, академик Российской академии словесности.

* * *

23 августа 130 лет со дня рождения русского лингвиста, специалиста по русскому языку **Александра Пешковского** (1878–1933). С 1921 г. – профессор московских вузов (МГУ и Высшего литературно-художественного института). Большинство работ Пешковского посвящено грамматике русского языка. Главный труд – «Русский синтаксис в научном освещении». Эта книга, написанная в чрезвычайно доступной форме, и сейчас остается одним из наиболее детальных и содержательных исследований русского синтаксиса и русской грамматики в целом.

* * *

23 августа 100 лет со дня рождения французского поэта и драматурга **Артюра Адамова** (1908–1970). Ранние стихи писал в манере сюрреализма. В духе авангардистского театра им написаны пьесы «Пародия», «Вторжение». Автор книги размышлений о драматургии и театре

«Здесь и сейчас», книги воспоминаний «Человек и дитя».

* * *



24 августа 150 лет со дня рождения российского и польского этнографа-сибироведа, писателя, публициста, участника польского освободительного движения **Вацлава Серошевского** (1858–1945). Автор монографии о якутах, рассказов и повестей этнографического содержания о народах Дальнего Востока, романов «Беневский» и «Океан». По мотивам романа Серошевского «Предел скорби» поставлен фильм Алексея Балабанова «Река». В 1910–1914 годах был председателем Польского художественного товарищества, в 1933–1939 годах был президентом Польской Академии литературы. В 1918 году был назначен на пост министра информации и пропаганды во Временном правительстве Дашинского. В 1935–1938 годах – член сената Польши.

* * *



27 августа 105 лет со дня рождения первого в России режиссера-женщины, театрального деятеля, народной артистки СССР **Нatalьи Сац** (1903–1993). В 1921–1936 годах была директором и художественным руководителем Московского театра для детей; организатор и художественный руководитель Государственного детского музыкального театра (теперь носит ее имя), автор пьес, либретто детских опер и балетов, книг о детском театре.

* * *

29 августа 105 лет со дня рождения российского филолога-скандинависта, доктора филологических наук, профессо-



ра ЛГУ, почетного доктора Стокгольмского университета **Михаила Стеблина-Каменского** (1903–1981). Михаил Иванович – автор около полутора сотен работ. Его лингвистические работы включают исторические грамматики скандинавских языков (сборник статей «Спорное в языкознании»). Его грамматика древнеисландского языка (1955) считается одной из лучших по точности и детальности описания фактов словоизменительной морфологии и морфонологии.

Благодаря деятельности М. И. Стеблина-Каменского русскоязычный читатель познакомился с крупнейшими памятниками древнеисландской литературы: крупнейшими родовыми сагами, поэзией скальдов, «Старшей» и «Младшей Эддой», королевскими сагами.

* * *

30 августа 90 лет со дня рождения народного артиста России **Михаила Рожкова**. Михаил Федотович – лауреат I Всероссийского конкурса мастеров эс-



т-радного искусства, академик Международной театральной академии. Л. Утесов назвал Рожкова «гением балалайки». Балалайку М. Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти фильмах, среди них «Василий Андреев», «Война и мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие...», «Простая история» и др.

* * *

31 августа 100 лет со дня рождения американского прозаика и драматурга Уильяма Сарояна (1908–1981). Уильям Сароян – один из выдающихся писателей XX века, имя которого стоит в одном ряду с именами Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Э. Колдуэлла, Дж. Стейнбека, Дж. Апдайка. Автор романов «Человеческая комедия», «Приключения Весли Джексона», «Мама, я тебя люблю», «Мальчики и девочки», рассказов, эссе, публицистических статей.

Подготовила Анна Ливич

Календарь*

Праздничные и памятные даты Республики Башкортостан на 2008 год

АВГУСТ

1 августа 85 лет со дня рождения Худайбердиной Тамары Шагитовны, артистки балета, педагога, солистки Башкирского государственного театра оперы и балета в 1941–1964 гг., народной артистки РБ, заслуженной артистки РСФСР, БАСССР (1923–1998).

2 августа День Воздушно-десантных войск.

3 августа День железнодорожника;

День подписания Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» (1994).

4 августа 65 лет со дня издания распоряжения Совнаркома СССР «О реорганизации эвакуированной в г. Уфу части Московского нефтяного института им. академика И.М. Губкина в составе 1-го и 2-го курсов в Уфимский филиал указанного института», с 1948 – Уфимский нефтяной институт, с 1993 – Уфимский государственный нефтяной технический университет (1943).

5 августа 90 лет Фаткуллину Губаю Салимовичу, Герою Социалистического Труда (1918);

85 лет со дня рождения Саттарова Фаузи Миннимулловича, артиста балета, балетмейстера, педагога Башкирского государственного театра оперы и балета в 1950–1964 гг., заслуженного артиста РСФСР, народного артиста БАСССР (1923–1996).

6 августа День Хиросимы. Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия;

День Железнодорожных войск.

8 августа Международный день коренных народов.

9 августа День воинской славы России. День первой в российской истории

морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714);

День физкультурника;

95 лет со дня рождения Султанова Шарифа Хабибулловича, Героя Социалистического Труда (1913–1999).

10 августа День строителя;

День пчеловода Республики Башкортостан;

80 лет Гатауллину Наилу Гайнатовичу, хирургу, заведующему кафедрой Башкирского государственного медицинского университета в 1966–1993 гг., академику АН РБ, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, БАСССР, заслуженному врачу РБ, отличнику здравоохранения РБ (1928);

80 лет со дня рождения Ишбулатова Нагима Хажгалиевича, языковеда, заведующего кафедрой Башкирского государственного университета в 1968–1988 гг., доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАСССР (1928–2006).

11 августа 70 лет Барыкину Николаю Петровичу, инженеру-металлургу, доктору технических наук, профессору, заслуженному изобретателю БАСССР (1938).

12 августа День Военно-воздушных сил;

70 лет Наркевичу Ивану Иосифовичу, полному кавалеру ордена Трудовой Славы (1938).

14 августа 150 лет со дня прибытия в г. Уфу по реке Белой пароходов «Грозный» и «Быстрый», открытие судоходства по р. Белой (1858);

95 лет со дня рождения Биктимирова Салмана Галиахметовича, Героя Советского Союза (1913–1971);

85 лет со дня рождения Кочеткова Степана Михайловича, Героя Советского Союза (1923–1984);

85 лет Насретдиновой Зайтуне Агзамовне, артистке балета, педагогу-репети-

тору, солистке Башкирского государственного театра оперы и балета в 1941–1965 гг., народной артистке СССР, БАССР, заслуженной артистке РСФСР, БАССР (1923).

15 августа 120 лет со времени открытия в г. Уфе Главных мастерских Самаро-Златоустовской железной дороги, с 1930 г. – Уфимский паровозоремонтный завод, с 1968 г. – Уфимский тепловозоремонтный завод (1888);

90 лет со дня рождения Авдошкина Семена Егоровича, Героя Советского Союза (1918–1962);

85 лет Мурзагалимову Газису Габидулловичу, Герою Советского Союза (1923);

80 лет со дня рождения Абдуллина Сулеймана Аюповича, певца, солиста и руководителя концертной бригады Башкирской филармонии в 1948–1974 гг., заслуженного артиста БАССР (1928–2002).

16 августа 65 лет Байдавлетову Рафаэлю Ибрагимовичу, государственному деятелю, Премьер-министру Правительства Республики Башкортостан, заслуженному работнику Единой энергетической системы России, заслуженному энергетiku РБ, почетному работнику топливно-энергетического комплекса РФ (1943).

17 августа День Воздушного Флота России.

18 августа 65 лет со дня утверждения Совнаркомом БАССР проекта памятника Салавату Юлаеву, созданного скульптором С. Д. Тавасиевым (1943).

20 августа 110 лет со дня рождения Давлетова Ахмет-Сагадата Гареевича, хирурга, заведующего кафедрой Башкирского государственного медицинского института в 1952–1970 гг., доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, заслуженного врача РСФСР, БАССР (1898–1974);

85 лет Горбушиной Нафисе Муллаяновне, Герою Социалистического Труда (1923);

75 лет Мажитову Ниязу Абдулхаквичу, археологу, академику, вице-президенту АН РБ, доктору исторических наук, профессору, первому председателю исполкома Всемирного Курултая башкир, председателю Ассамблеи народов РБ, заслуженному деятелю науки РБ (1933);

70 лет со дня образования Башкирского государственного театра оперы и балета (1938).

22 августа День Государственного флага Российской Федерации;

100 лет со дня рождения Сыртланова Рима Султановича, актера Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури в 1928–1972 гг., народного артиста БАССР, заслуженного артиста РСФСР, БАССР (1908–1979).

23 августа День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).

25 августа 85 лет со дня рождения Мельникова Бориса Васильевича, Героя Советского Союза (1923–1951).

27 августа День кино;

110 лет со дня рождения Крашенинникова Федора Павловича, актера Республиканского русского драматического театра в 1937–1963 гг., заслуженного артиста РСФСР, народного артиста БАССР (1898–1979);

75 лет со дня рождения Сагитова Мухтара Муффазаловича, фольклориста, научного сотрудника ИИЯЛ БФ АН СССР в 1964–1986 гг., кандидата филологических наук, лауреата Республиканской премии имени С. Юлаева (1933–1986).

28 августа 100 лет со дня открытия Башкирского медицинского колледжа (1908).

30 августа 120 лет со дня рождения Тюлькина Александра Эрастовича, живописца, преподавателя Башкирского государственного техникума искусств в 1926–1950 гг., члена Союза художников СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, БАССР, народного художника БАССР, одного из основоположников изобразительного искусства Башкортостана (1888–1980);

31 августа День шахтера;

100 лет со дня рождения Кункина Михаила Федоровича, машиниста экскаватора, слесаря производственного объединения «Башкируголь» в 1947–1968 гг., кавалера ордена Ленина, почетного гражданина г. Кумертау (1908–1977).

** Календарь любезно предоставлен редакции журнала «Бельские просторы» Управлением по делам архивов при Правительстве Республики Башкортостан.*